

А. А. Кизеветтер

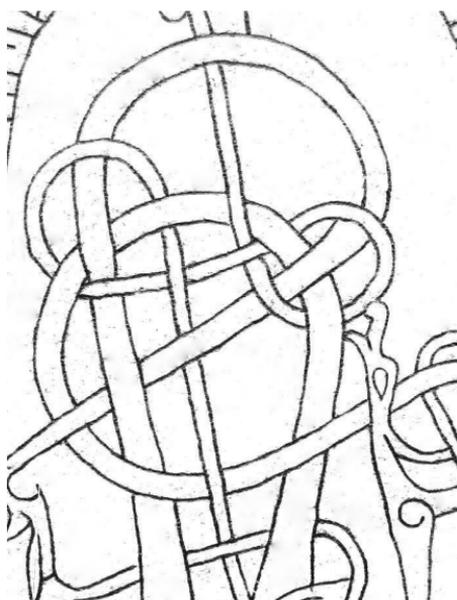
На рубеже двух столетий
(Воспоминания 1881-1914)

материалы по истории позднеимперской России
том 21

Издательство Упыря Лихого
2025

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Oféigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Уппланде, созданном Упырем Лихим

Александр Александрович Кизеветтер
На рубеже двух столетий (Воспоминания 1881-1914)

Издательство Упыря Лихого

2025

Настоящая книга повторяет оригинальное издание 1929 года, издательство Орби, Прага.

Оглавление

Глава I. Студенческие воспоминания.....	2
Глава II. Диктатура сердца. Славянофильский компромисс ..	63
Глава III. Период контрреформ.....	90
Глава IV. Затишье.....	109
Глава V. Оживление	136
Глава VI. Канун кризиса.....	238
Глава VII. Крушение самодержавия.....	275
Глава VIII. В конституционной России	318

Глава I. Студенческие воспоминания

I

В 1884 г. (сорок пять лет тому назад) я окончил Оренбургскую гимназию и направился в Москву для поступления на историко-филологический факультет Московского университета. Ближайшим университетским городом к Оренбургу была Казань, и большинство воспитанников Оренбургской гимназии по окончании гимназического курса поступало в Казанский университет. Но меня неудержимо влекла к себе Москва. Уже в средних классах гимназии я принял твердое решение посвятить себя изучению русской истории, и к Москве меня притягивало, словно магнит, имя Ключевского, тогда только что прогремевшее в связи с его блестящим докторским диспутом, на котором он защищал диссертацию: «Боярская Дума Древней Руси». Появившиеся в газетах подробные описания этого диспута (в «Голосе» о диспуте написал целый фельетон М.М.Ковалевский) я читал с замиранием сердца и, словно арестант в каземате, отсчитывал месяцы, недели и дни в ожидании того вождельного момента, когда можно будет наконец выпорхнуть из оренбургского степного захолустья в эту заманчивую Москву, которая рисовалась мне в моих мечтах лучезарным центром кипучей умственной работы.

И вот мечта превратилась в действительность. В середине лета 1884 г. я очутился в Москве, на Мясницкой, в номерах «Швейцария». На первых порах Мясницкая меня ошеломила. Мне показалось, что я попал в какое-то вавилонское столпотворение. Непрерывный грохот экипажей, бесчисленное количество торопливо снующих по разным направлениям людей, столбы, обклеенные саженными плакатами со всевозможными объявлениями, резкие звонки омнибусов — все это дурманило меня, привыкшего к сонной тишине провинциального медвежьего угла. И сердце билось радостно. Какой-то новый, неведомый мир, полный движения и красок, готов был раскрыться перед моими взорами. Было такое чувство, словно я из тихого загончика выбежал на легком челноке в необозримое открытое море, и уже было предчувствие, что это море сулит мне и радости и бури.

Разумеется, я прежде всего сбегал в университет и подал прошение о зачислении меня в студенты историко-филологического факультета. До начала учебных занятий оставалось еще около двух месяцев, и я мог без всякой помехи предаться на некоторое время изучению этой многошумной и многокрасочной Москвы, которая зачаровала меня сразу и на всю жизнь.

Тогдашняя Москва, столь ошеломившая на первых порах юного провинциала своей громадностью, своим шумом и кипением, в сущности, в значительнейшей мере оправдывала столь часто прилагавшееся к ней название «большой деревни». Я попал в Москву и стал москвичом как раз накануне некоего перелома в ее внутренней жизни. Уже на моих глазах, в самом конце 80-х годов и затем в 90-х годах минувшего столетия Москва стала быстро изощрять свое европейское обличье. Сначала стали вырастать то там, то тут небоскребы, многоэтажные дома с массою квартир, а на Девичьем поле, словно по мановению волшебного жезла, раскинулся целый городок превосходно устроенных университетских клиник (все на пожертвования крупного московского купечества), потом пришли телефоны, автомобили и трамваи. В середине 80-х годов всего этого и в помине не было. Девичье поле было тогда действительным подлинным полем, не стиснутым каменной броней и не уставленным роскошными клиническими дворцами, а было оно покрыто высокой зеленой травой, которая тянулась сплошным ковром от конца Пречистенки и Плющихи до самого Девичьего монастыря, что стоит на берегу Москвы-реки лицом к лицу к Воробьевым горам.

Появление автомобиля на улицах Москвы привело бы тогда москвича в такой же недоуменный трепет, в какой приводило древнерусского летописца появление кометы на небе, а вместо стремительных электрических трамваев по улицам Москвы с невозмутимой медлительностью ползали как черепахи так называемые «конки» — omnibusы конной тяги, в которых внутреннее место стоило пять копеек, а за три копейки можно было взобраться по винтовой лесенке на крышу вагончика и сидеть там на скамейке под открытым небом. Конка, влекомая парюю лошадок, двигалась так медленно, что пассажиры входили и сходили на ходу, именно входили и сходили, с

полными спокойствием, а не вскакивали и не соскакивали. И поистине удивительно, что и при таком черепашем ходе вагоны конки ухитрялись весьма часто сходить с рельсов, и тогда начиналась нескончаемая канитель: пассажиры очищали вагон и вместе с кондуктором и кучером долгими и терпеливыми усилиями вталкивали непослушный вагон на рельсы. Уже окончив университетский курс и став учителем гимназии, я изведal в полной мере школу терпения во время поездок на этих конках на уроки. Такая масса времени уходила на эти поездки, что я, работая тогда над подготовкой к экзамену на магистра, положил себе некоторые вопросы программы подготовить исключительно в вагонах конки и выполнил это решение.

Многоэтажные дома в тогдашней Москве являлись исключением. Целые улицы и особенно переулки представляли собою сплошные линии одноэтажных и самое большое двухэтажных особняков — настоящих барских усадеб, — которые перемежались деревянными хибарками и лавчонками. Такие здания, как генерал-губернаторский дом или гостиница «Дрезден», оказавшиеся впоследствии такими скромными среди новых «небоскребов», представлялись в то время внушительными сооружениями.

Первобытному характеру внешней обстановки соответствовала тогда и первобытность внутреннего склада общественной жизни. В середине 80-х годов в Москве можно было еще наблюдать в полной жизненной крепости остатки старинных форм барской жизни. В особняках на Поварской и Малой Никитской и в громадном лабиринте переулков и переулочков, связывавших Поварскую, М.Никитскую, Арбат и Пречистенку, ютился совсем особый мирок, в котором, несмотря на все глубокие социальные метаморфозы, развернувшиеся со времени падения крепостного права, свято сохранялись различные обычаи дворянской старины. Геральдические львы на воротах большого двора, в глубине которого располагался барский особняк с разными надворными службами, — как бы заранее предупреждали своим видом всякого приходящего, что, переступив порог этого дома, он сразу шагнет на несколько десятков лет назад в, казалось бы, отжитое прошлое. Там найдет он большие залы с старинными диванами и креслами, с громадными люстрами, с хорами, на которых

помещается оркестр во время балов; большие библиотеки, наполненные нарядными изданиями XVIII века; многочисленную прислугу — пережиток старинной дворни; величавых старух, по-королевски восседающих в пышных креслах в окружении своры комнатных собачек; визитеров во фраках и мундирах, являющихся аккуратно по всем праздничным дням приложиться к пергаментной руке такой величавой старухи.

Проходя по этим переулкам между Поварской и Пречистенкой, усеянным маленькими церковками, иногда с весьма странно звучащими, но чисто историческими названиями (чего стоит хотя бы: «Никола на курьих ножках»), вы могли весьма нередко встретить запряженную парой колымагу с двумя ливрейными лакеями на запятках. Нужды нет, что обитавшее в этих переулках дворянство было уже все в прошлом. Оно тем не менее отнюдь не думало сдавать свою позицию перед напором обновляющейся жизни и вовсе не смотрело на себя лишь как на музейное украшение исторического города. Оно подавало свой голос и в великолепной колонной зале Дворянского собрания, и, может быть с еще большим весом, в разных гостиных и салонах. И этот голос имел свой резонанс, вносил свою ощутимую струю в общественную жизнь тогдашней Москвы. Обладатели барских особняков выдержали свою линию, фрондируя против либеральных петербургских реформ, а с середины 80-х годов они как раз стали чувствовать себя все бодрее и увереннее, ибо и с берегов Невы окончательно потянуло иным ветром, оживлявшим в них заманчивые надежды.

Бок о бок с старозаветным дворянством стояло в тогдашней Москве и старозаветное купечество. Подобно Поварской и Пречистенке, и Замоскворечье еще довольно твердо держалось своего материка. «Титов Титычей» можно еще было наблюдать живьем и опять-таки не в положении каких-нибудь окаменелостей, застывших, словно муха в янтаре, а в положении живой социальной силы, налагавшей свой отпечаток на строение текущей действительности. Это уже после, на моих глазах, вместе с телефонами и автомобилями вышел на сцену новый купец, «джентльмен», меценат, политический фрондер, библиофил, декадент. В середине 80-х годов этот обще-

ственный тип только еще выплывался, только еще назревал в каких-то потаенных складках жизненной ткани. А на виду стояли могикане Замоскворечья в стиле комедий Островского. На дирижирующую роль в общественной жизни они не претендовали, по старинке вели свои торгово-промышленные предприятия, ни о какой политической фронде даже в самой глубине своего духа не помышляли и ограничивали свои отношения к носителям власти тем, что беспрекословно открывали неограниченный кредит патриархально воеводствовавшему на Москве генерал-губернатору кн. Долгорукову.

Это старозаветное купечество и в высших и в низших своих слоях было тогда глубоко консервативно. Яркое выражение получал этот консерватизм в отношениях Охотного ряда к его территориальному соседу — университету. Охотный ряд, крупнейший московский рынок, и университет — это были тогда Рим и Карфаген. Уже много позднее, как раз когда представители крупного модернизированного купечества стали заводить у себя политические салоны и мечтать о конституции, необходимой для экономического прогресса, охотнорядцы начали сочувствовать студенческим демонстрациям, или, как их называли тогда, «студенческим историям», и, кажется, главным источником этих симпатий охотнорядцев к «студенческим историям» служило чрезвычайное озлобление охотнорядских торговцев на притеснения и вымогательства полиции.

Но в середине 80-х годов охотнорядцы еще неукоснительно пребывали в уверенности, что «господа» бунтуют против начальства за то, что царь отменил крепостное право. И как только вспыхивали студенческие волнения, охотнорядцы рвались в бой и засучивали рукава. Когда я приехал на жительство в Москву, студенческие мансарды были еще полны живых воспоминаний о незадолго перед тем происшедшей «битве под «Дрезденом». Состояла она в том, что близ гостиницы «Дрезден» охотнорядцы произвели грандиозное побоище студентов, выступивших с политической демонстрацией.

В этот дворянско-купеческий старозаветный жизненный уклад клином врезалась передовая интеллигентная Москва. Она блестела яркими именами. Ее престиж стоял весьма высоко. Но социальная сфера, на которую этот престиж распространялся, была не широка, и

формы общественной жизни, в которых выражалось его воздействие, не отличались большим многообразием. Наступала тихая полоса. Подпольная политическая борьба, достигшая к концу 70-х годов столь потрясающих эффектов, после 1 марта 1881 г. стремительно пошла на убыль. К середине 80-х годов от нее почти уже не оставалось следа. Последние остатки кружков народовольческого типа, были только что ликвидированы. Пропагандистская деятельность революционно настроенной молодежи среди фабричных рабочих еще не начиналась. Вход пошло толстовство с его лозунгом непротравления. Охранка ломала голову над тем, как бы оживить иссякавшее подполье, столь необходимое для оправдания необходимости всяких «охранных» учреждений. Но будущие матадоры полицейской провокации только еще пробовали помаленьку свои силы. Когда я был уже на третьем курсе и увлекался хождением по лавочкам букинистов, отыскивая разные старинные исторические книжки, на Воздвиженке, на самом углу перед Никитским бульваром, появилась книжная лавочка, где можно было очень дешево приобретать книжки, в особенности из разряда запрещенных. Продавал их молодой человек, охотно вступающий с покупателями-студентами в продолжительные разговоры. Но вскоре по студенчеству пошла молва, что этой лавочки нужно остерегаться, ибо было уже несколько случаев, наводивших на тревожные размышления: у студента, купившего в этой лавочке запрещенную книжку, ночью внезапно производился полицейский обыск, книжка отбиралась, а обладатель ее попадал в узилище. Студенты, разумеется, отпрянули от коварной западни. Называли тогда и фамилию любезного лавочника, которого и мне приходилось видеть за прилавком. Тогда эта фамилия ничего не говорила. Впоследствии она прогремела. То был Зубатов, которого мне таким образом пришлось узнать при самом начале его карьеры.

Разгромив подполье, правительство 80-х годов стремилось сжать в тиски и легальную оппозицию, которая проявлялась в земских учреждениях, отчасти в городском самоуправлении и в печати.

Когда я прибыл в Москву, я застал там еще оживленные толки о нашумевшем инциденте в жизни Московской городской думы. Прогрессивная часть городской думы ухитрилась провести на пост

московского городского головы знаменитого профессора Б.Н.Чичерина. Но Чичерин пробыл на этом посту очень недолго. Он произнес речь, в которой выразил ту мысль, что успехи подпольной крамолы возможны только вследствие полной неорганизованности легальной части общества и, таким образом, в широком развитии общественной самодеятельности и самоуправления лежит залог мирного преуспевания страны. Казалось бы, высказанные в этой речи мысли дышали полной благонадежностью. Но правительственная власть боялась тогда как огня развития общественной самодеятельности, даже подполье казалось ей не столь страшным, ибо с подпольем она уже наловчилась бороться, и Чичерин по высочайшему повелению должен был оставить должность городского головы, едва успев вступить в исполнение своих обязанностей. Этот случай показал воочию, что самые умеренные и невинные проявления политической мысли в работе общественного самоуправления будут пресекаться самым решительным образом. И Московская городская дума надолго ушла целиком в «малые дела» текущего хозяйства.

Естественным рупором политической мысли оставалась печать. Что представляла она собою в тогдашней Москве? В «Московских ведомостях» гремел Катков, только что — с появлением на посту министра внутренних дел гр. Димитрия Толстого — почувствовавший за собою полную силу и ставший злопахотельным публицистическим трубадуром начавшейся эры «контрреформ». Иван Аксаков печатал в «Руси» красноречивые статьи, к которых вел старую славянофильскую линию, и, хотя и являлся прямым противником Каткова в общих взглядах на общественное самоуправление, но в целом ряде конкретных вопросов, в сущности, подавал руку Каткову из боязни, что прогрессивные общественные стремления приведут к столь ненавистой славянофилам конституции. Затем подкаретным подголоском «Московских ведомостей» выступал «Московский листок», прообраз московской малой, уличной прессы, но прообраз самый первобытный, от которого веяло еще допотопным духом Фаддея Булгарина. Издавался этот листок Пастуховым, человеком невежественным, топорно-неотесанным, не имевшим никакого понятия о литературном ремесле. И хотя на страницах этого листка и пожинал тогда свои первые, дебютные лавры знаменитый впослед-

ствии Дорошевич, но настоящей фельетонной бравурности, литературной пикантности, едкого задора, — чем живет и дышит малая пресса, — в «Московском листке» и в помине не было. Тем не менее он имел чрезвычайный успех среди лавочников, мелких чиновников и мелкой артистической братии. «Не в шитье была там сила». Успех создавался тем, что «Листок» наполнялся личными пасквилями, в которых объекты пасквильного нападения изображались такими прозрачными чертами, что обыватели того или иного околотка без труда узнавали своего местного героя и упивались скандальными разоблачениями. А «Листок», попав в цель, все усиливал атаку и поддавал перцу, пока... жертва поднятой травли не догадывалась внести в кассу газетки приличную сумму, и тогда бомбардировка мгновенно прекращалась.

Литературные приемы Пастухова хорошо обрисовываются следующим образчиком. Однажды он вздумал посетить цирк, существовавший тогда на Воздвиженке. Как нарочно, в цирке в этот вечер не оказалось ни одного свободного места. Не получив доступа на представление, Пастухов пришел в ярость и заявил, что напишет рецензию на представление и не побывав в цирке. И действительно, рецензия появилась. Она была кратка и выразительна. «В цирке на Воздвиженке, — сказано было там, — треснула крыша и грозит обвалиться». Этого было достаточно, чтобы на следующий день в кассе цирка не было продано ни одного билета. Несколько дней подряд цирк пустовал и терпел огромные убытки. Нечего делать, пришлось идти с повинной и внести в кассу «Московского листка» изрядную сумму. Тогда появилось в «Листке» сообщение, что крыша в цирке исправлена заново и все обстоит вполне благополучно.

В этой атмосфере реакционного злопыхательства, славянофильского прекраснотушия и пастуховского газетного мародерства зная честного и независимого печатного слова высоко подняли «Русские ведомости», как раз в то время попавшие в руки тесно сплоченной группы прогрессивных профессоров с В.М.Соболевским во главе.

Эта «профессорская газета» сыграла, как известно, крупную роль в формировании прогрессивного общественного мнения в России. Она выносила на своих плечах служение независимому публи-

цистическому слову среди самых неблагоприятных условий. Она шла «против течения», указывая на грядущие опасности от восторжествовавшего в то время реакционного курса. Ей приходилось совершать это трудное дело с чистотой голубя и мудростью змия. Читатели, ценившие уравновешенное, осмотнительное, но неподкупное и строго последовательное отстаивание прогрессивных идеалов на страницах этой газеты, и не подозревали всю степень того упорства и самоотвержения, с которыми руководителям этой газеты приходилось проводить свою утлую ладью среди подводных камней, загромаждавших ее фарватер. Порой на газету пеняли за чрезмерную осторожность. Но эти упреки объяснялись тем, что со стороны нельзя было и вообразить, до чего доходило иногда негласное административное давление на печатное слово.

Может быть, наиболее ярко выразилась тогда безудержность торжествующей реакции в запрещении в какой бы то ни было форме чествовать день отмены крепостного права! Теперь это может показаться невероятным, но то был подлинный факт: власть эпохи «контрреформ» додумалась до того, что день 19 февраля был объявлен опальным и желание отметить годовщину великой реформы принималось за проявление высшей меры политической неблагонадежности. Даже об отмене крепостного права приходилось писать с оглядкой на цензурные перуны. Не достаточно ли этого примера, чтобы понять, какая сила выдержки требовалась тогда для ведения независимого публицистического органа. Через посредство Джаншиева в «Русские ведомости» в те времена Кони доставил несколько очерков с воспоминаниями, исполненными преклонения перед эпохой великих реформ. Эти очерки Кони решил тогда дать «Русским ведомостям» не иначе, как под строжайшим *incognito*, без обозначения своего имени. Столь опасна была тогда эта тема. И, печатая эти очерки, «Русские ведомости» шли на сознательный риск.

Кстати, о Джаншиеве. Он выпустил книгу «Эпоха великих реформ». Книга имела большой успех и выдержала ряд изданий, все увеличиваясь в объеме. Многие главы этой книги первоначально печатались в «Русских ведомостях». Теперь эта книга может показаться довольно слабой в историческом отношении, в ней преоблада-

ет публицистическая лирика в тоне восторженного панегирика эпохе реформ. Но для оценки значения этой книги надо именно иметь в виду время, когда она издавалась. Книга была ответом на предпринятое тогда властью бессмысленное гонение на всякие попытки помянуть добром реформы 60-х годов, начиная с отмены крепостного права. Издание этой книги было актом гражданского мужества.

Указанное течение в правящих сферах не было мимолетным капризом. Нет, оно шло все *crescendo* в течение целого десятилетия. По воцарении Николая II совет Московского университета обсуждал текст приветственного адреса новому государю. Там была фраза, выражавшая надежду, что новый государь пойдет по стопам своего отца. Профессор Эррисман предложил добавить два слова: «и деда». Это предложение было встречено смущенным молчанием и осталось без одобрения, а после заседания профессора, не решившиеся гласно поддержать столь «крамольное» предложение, потихоньку жали Эррисману руки и приветствовали его гражданскую смелость. Вот для каких скромных оказательств в то время требовался уже запас гражданского мужества. Зато Эррисман и не усидел в Москве. Не по этому именно поводу, но по всей совокупности своего независимого поведения он должен был покинуть кафедру в Москве и прожил остаток своих дней в Цюрихе.

Когда подошло двадцатипятилетие со времени отмены крепостного права, московский генерал-губернатор потребовал от редакторов всех московских газет, чтобы в этот день в номере не было сказано ни слова про опальную реформу. Все газеты подчинились этому требованию, кроме «Русских ведомостей», которые не сочли возможным пойти на такое неприличие.

Номер «Русских ведомостей» в этот день совсем не вышел. Эта молчаливая демонстрация достигла цели, все заметили и оценили ее, а начальство поставило это газете на счет. Вскоре «Русским ведомостям» пришлось прибегнуть к аналогичному приему. Умер Катков. Беспристрастная оценка деятельности этого официозного публициста была сопряжена с большим риском. И, не желая покривить душой, «Русские ведомости», сообщив читателям о смерти Каткова, не поместили никакой некрологической статьи. Однако молчать было

тогда подчас столь же опасно, как и говорить. Вскоре была запрещена розничная продажа «Русских ведомостей», и начальник главного управления по делам печати Феокистов объяснил принятие этой меры следующим образом: «Скверная газета, скверно говорит, скверно и молчит»¹.

Между тем пресса была тогда почти единственной ареной, где можно было, хотя и при помощи эзоповского языка и с большими ограничениями, гласно обсуждать общегосударственные вопросы. Вообще формы общественных выступлений были в тогдашней Москве не очень многообразны. Публичная лекция профессора, например, была тогда такою редкостью, что о ней говорили и писали как о незаурядном происшествии. А когда по случаю голода 1891 г. комитет грамотности устроил целую серию публичных лекций разных профессоров в пользу голодающих, это было уже настоящее событие. Как все изменилось потом за 15–20 лет, когда чуть ли не ежедневно в разных концах Москвы стали устраиваться публичные лекции, читавшиеся и профессорами, и писателями, и людьми, никогда не занимавшимися ни наукой, ни литературой. Дело дошло наконец до того, что появилась афиша о публичной лекции, которую «прочтет человек, ходящий по Москве зимою босиком». На первую лекцию этого босоногого человека пришло несколько слушателей. Не знаю, о чем он говорил. Была объявлена и вторая лекция его, но на этот раз никто слушать не пришел. Очевидно, все признали отсутствие обуви на ногах еще недостаточным для того, чтобы созывать публику себя слушать.

Если публичные лекции были редкостью в середине 80-х годов, то о публичных митингах, разумеется, не приходилось и помышлять. Суррогатом их являлись до некоторой степени иные заседания Юридического общества при Московском университете и в особенности банкеты, устраивавшиеся в Татьянин день, в день 19 февраля или по случаю юбилеев разных лиц.

1 См. историю "Русских ведомостей" в интересной книге В.А.Розенберга "Из истории русской печати". Прага, 1924 г.

Юридическое общество было ученым обществом. Но по органической связи юриспруденции с вопросами общественной жизни доклады и дебаты, происходившие там, сплошь да рядом получали политический характер. Под флагом научного заседания еще можно было затрагивать некоторые политические темы, о которых нельзя было бы и никнуть при иной обстановке. Конечно, и здесь приходилось держать себя в руках, памятовать, что «ходить бывает склизко по камешкам иным», налегать более на отвлеченности, нежели на вопросы практической политики. Да и в этих рамках не все могли позволять себе роскошь устного высказывания. В.А.Гольцев, отсидевший некоторое время под арестом за неблагонамеренный образ мыслей, был освобожден с условием, что он не будет ничего говорить на заседаниях Юридического общества, в чем он и должен был дать подписку. И вот, когда на одном заседании этого Общества во время прений по какому-то докладу М.М.Ковалевский стал разносить одну статью Гольцева, присутствовавший Гольцев встал и подал Ковалевскому записку, а Ковалевский, взглянув на записку, поперхнулся и на полуслове прервал свою речь. Гольцев написал: «Вы можете сколько угодно разносить меня, я не в состоянии вам ответить, ибо с меня взята подписка не выступать в Юридическом обществе ни с какими речами».

И все же капля долбила камень. Юридическое общество, несомненно, сыграло в то время немалую роль в деле популяризации конституционных идей в русском обществе. Даже по одной внешней обстановке своих заседаний оно могло служить своего рода школой гражданского воспитания. Недаром председательствовал там С.А. Муромцев, которому через двадцать лет довелось стать председателем первого русского парламента. Думаю, что вихрь последующих событий не затуманил в памяти россиян величавый образ председателя первой Государственной думы и то впечатление, которое он производил на всех своим председательствованием. Помню, как одни крестьянский депутат первой Государственной думы, любуясь председательствованием Муромцева, сказал с умиленной улыбкой: «Точно обедню служит».

Совершенное знание парламентских порядков и обычаев, величавое самообладание, строгая корректность всякого слова и жеста и торжественная серьезность, от которой веяло высоким уважением к самой идее народного представительства, — все это производило такое впечатление, как будто Муромцев весь свой век провел в стенах парламента. А ведь роль председателя парламента досталась ему под самый конец жизни. Но он не был застигнут ею врасплох. Он с юности любил представительные учреждения; введение их в России было его заветной мечтой, в осуществление которой он верил, несмотря ни на что, и готовился к этому вожделенному моменту. В его юношеском дневнике нашлась изумительная пророческая запись: «В таком-то году я окончу университет; потом сделаюсь профессором; потом буду лишен кафедры за политическую неблагонадежность и через несколько лет буду председателем первого русского парламента». И все сбылось по писаному.

В 80-х и 90-х годах минувшего столетия Муромцев вел заседания Юридического общества в небольшой круглой зале университетского правления с точно такой же торжественной выдержкой, которой он впоследствии пленял всех в громадной зале Таврического дворца. Живо помню, какое сильное впечатление произвело на меня то заседание, на которое я впервые попал в Юридическое общество студентом первого курса. За столом сидели Ковалевский, Янжул, Чупров, Гальцев, Зверев, Гамбаров и др. На председательском кресле возвышалась красивая фигура Муромцева. Блестя очками, он озирает собрание. Докладывая текущие дела, он при чтении всякой бумаги вставал и начинал неизменно одной и той же фразой: «Имею честь доложить Обществу». Произносил он эту фразу артистически, тоном, в котором равномерно выражалось председательское достоинство и почтение к Обществу, которое он возглавлял. Без преувеличения скажу, что звук этой фразы в его устах доставил мне тогда такое же наслаждение, как самая восхитительная ария тогдашнего кумира москвичей, певца Хохлова. Слушая эти слова, наблюдая его манеру, я не то что рассудком сознавал, а инстинктом ощущал, в чем состоит отличие общественного деятеля, несущего общественную работу, и обывателя, ведущего свои частные дела. И то, как Муромцев произносил вышеприведенную сакраментальную свою фразу, и то, как он

руководил прениями и формулировал их итоги, и то, как он вежливо и твердо остановил Янжула, гулким басом начавшего было разговаривать с соседом во время чтения доклада, — как-то безотчетно и в то же время отчетливо раскрыло мне многое в смысле общественной дисциплины, в понимании существа общественной работы. Это был предметный урок, давший мне гораздо больше, нежели могли бы дать подобные умозрительные разъяснения. Возвращаясь домой с этого заседания, я как-то сразу почувствовал, что во мне прибавилось общественной зрелости.

Юбилейные банкеты служили тогда той отдушной, в которую москвичи выпускали принудительно сдерживаемые цивические настроения. Здесь громом аплодисментов покрывались речи популярных застольных ораторов, которые действительно нередко воспаряли на высоты истинного красноречия. Необходимой принадлежностью каждой такой речи являлся некоторый оппозиционный душок, достаточно прозрачный, чтобы вызвать в слушателях приятное возбуждение, и в то же время достаточно умеренный, дабы пир не окончился бедою. Отправляясь на такой банкет, можно было заранее предвкушать удовольствие от едкой и пикантной речи Гольцева, наполненной острыми шпильками по адресу вершителей русских судеб; от воодушевленной импровизации Чупрова, овеванной мягкой доброжелательностью и высоко настроенным чувством; от пылких воспоминаний о далеких временах Грановского и Герцена, которые лились из уст убеленного сединами, но не стареющего душой Митрофана Павловича Щепкина. И удовольствие слушателей достигало высшей точки, если ко всему этому прибавлялась ювелирно-художественная речь Ключевского, сверкающая поражающими сближениями и отточенными афоризмами и облекавшая в изумительно красивую форму тонкие струйки мефистофельского яда.

Эти банкеты доставляли участникам их хороший психический моцион, после которого, однако, наступал своего рода канценяммер в виде сознания, что словами не сокрушишь стен Иерихона.

В общем, на всех слоях мыслящей интеллигентной Москвы тяготело ощущение тяжелой придавленности, какой-то никчемности существования, суженности жизненного горизонта. Это обостряло

«пленной мысли раздражение», которое взрослые умели запрягивать вглубь души и которое у молодежи время от времени прорывалось в упомянутых уже выше «студенческих историях». Эти истории только и нарушали тогда тишь да гладь общественной жизни. Но более подробная речь о них еще впереди.

Я пытался набросать общую картину московской жизни того времени в самых крупных чертах ее, чтобы дать хотя некоторое представление о той жизненной атмосфере, среди которой Московский университет развертывал тогда свою учено-учебную работу. Войдем же теперь под кровлю Московского университета.

II

После капитальных перестроек, произведенных в первое десятилетие XX в., так называемый новый университет² преобразился по своей внешности до полной неузнаваемости. Из него вышло помещение, к которому действительно можно приложить название «храма науки». Эффектная лестница с широкими отлогими ступенями ведет вас прямо во второй этаж, в красивые, просторные коридоры с изящными колоннами. Превосходные аудитории, расположенные амфитеатром, дают возможность с полным привольем разместить многочисленные курсы, читаемые разными профессорами. Много воздуха и света. Все нарядно, широко, импозантно³.

Сравнительно с этим великолепием то здание, которое существовало до перестройки и в котором мне пришлось проходить

- 2 Университет на Моховой разделен на два больших владения, разделенных Б. Никитской улицей. Владение, расположенное к стороне Охотного ряда, называлось старым университетом, а владение к стороне Манежа, где стоит памятник Ломоносову, — новым университетом.
- 3 Жутко подумать, что случилось со всем этим великолепием после того, как с 17-го года аудитории были захвачены под разные митинги, а затем университетские коридоры стали наполняться какими-то бесконечными хвостами, дождавшимися раздачи различных продуктов.

университетский курс в 80-х годах минувшего столетия, по внешности производило впечатление не храма науки, а скорее громадной казармы. Но эта казарма таила в себе особые чары. Ведь тут от каждого уголка веяло славными историческими воспоминаниями. Вот — та самая кафедра, с которой некогда читал свои вдохновенные лекции Грановский; вот небольшая полутемная аудитория, уютившаяся где-то в глубине нижнего коридорчика, — на вид она совсем невзрачна, но — это та самая аудитория, в которой Соловьев читал лекции группе студентов последнего курса, специализировавшихся на русской истории, и где на первой скамейке сидел студент Ключевский, бисерным почерком записывавший для всей группы лекции своего учителя. Вот — в большой «словесной» аудитории длинные скамьи, на которых некогда сидели Константин Аксаков и Герцен. Эти скамьи исчерчены и изрезаны рисунками и надписями. К сожалению, вплоть до перестройки университета никто не предпринял исследования этих надписей. А ведь могли обнаружить среди них такие, которые оказались бы лакомым кусочком для исследователей истории нашей культуры!

И вот, ввиду всего этого, несмотря на казарменную внешность обстановки, я вступал в университет с подлинно религиозным чувством, как в храм, исполненный святыни. Впрочем, не одними лишь воспоминаниями о минувшем славен был этот университет. В нем продолжала бить ключом богатая, яркая, творческая умственная жизнь. На всех факультетах было по несколько таких профессоров, имена которых были известны всей России и произносились с глубоким уважением, порою с восхищением. Только взглянуть на них было уже заманчиво. А прослушать их курсы, стать их учеником было прямо счастьем.

В один из осенних дней 1884 г. я отправился в университет, где перед началом занятий первокурсники всех факультетов должны были выслушать вступительную речь ректора. Войдя в главное крыльцо, я сразу попал в обширное помещение, имевшее вид огромных сеней. Прямо перед входною дверью была большая площадка, уставленная белыми колоннами. Вся она была уже густо наполнена первокурсниками, явившимися сюда во всевозможных одеяниях,

сюртуках, пиджаках, рубашках самого разнообразного покроя (студенческой формы еще не существовало, она появилась на следующий год вместе с новым университетским уставом, но, как и самый этот устав, стала обязательной только для следующих за нами курсов; мы же, студенты приема 1884 г., так и проходили весь университетский курс по старым правилам, новый устав, так сказать, шел за нами по пятам). Эта площадка, уходя вглубь, переходила потом в большую полутемную комнату, уставленную многочисленными вешалками; тут мы раздевались и вешали свое верхнее платье. А у самой входной двери от поименованной площадки шли направо и налево две двери; дверь направо вела в так называемый «гербарий». Это была простая комната, в которой не заключалось ничего, относящегося к ботанике; очевидно, название «гербарий» осталось от каких-то прежних времен, когда факультетские помещения имели иное расположение. Теперь же в этой комнате помещалась библиотека семинариев классического отделения и происходили семинарские занятия. Дверь налево была всегда распахнута, она вела в профессорскую прихожую. Здесь находилась резиденция главного университетского швейцара. То был высокий старик в мундирном кафтане. Кабы не этот кафтан, его самого можно было бы принять по виду за профессора, чему способствовали и тщательно расчесанная борода, и особенно громадные очки, украшавшие его нос и как бы господствовавшие своим сверканием над всей студенческой толпой, которая толкалась перед профессорской прихожей. Время от времени эта толпа расступалась, и оставленной посередине ее узенькой щелью пробирались к своим вешалкам профессора; раздевшись, они проходили сквозь прихожую в дальнейшую дверь, которая тотчас плотно захлопывалась за ними. Там за этой дверью находилась комната для профессоров, своего рода университетский Олимп, недостижимый для студентов.

От 9-ти до 4-х часов, каждый раз, когда большая стрелка часов становилась на 12-ти, рослая фигура швейцара, сверкавшая очками, показывалась на пороге профессорской прихожей и несколько дребезжащий голос прорезывал воздух возгласом: «Никанор, зво-о-о-ни!» И в ответ на этот возглас раздавался резкий удар довольно большого колокола. Это Никанор, низенький и пузатенький солдат с багровым носиком, подавал своим колоколом сигнал, по которому

затем по всем коридорам громадного здания начинали дребезжать малые звонки, возвещавшие конец лекции и перерыв до начала следующей.

Аудитории были расположены в нескольких этажах. Из сеней и раздевательной вы попадали в небольшой коридорчик, в конце которого были две аудитории: «малая словесная» и «словесная внизу»; таковы были их традиционные наименования, хотя обе они помещались в одном этаже, прямо друг против друга. По сравнительно малой вместимости этих аудиторий в них читались либо для оканчивающих, либо необязательные, более специальные курсы, либо велись семинарские занятия. Посередине коридорчика была дверь, пройдя которую вы попадали в громадную квадратную комнату с свободным пролетом через все этажи вплоть до чердака. Здесь также стояли студенческие вешалки, а по стенам, точно по громадным горным утесам, лепились сбоку, нависая над бездной, уходящие ввысь чугунные лестницы. Они-то и вели в аудитории верхних этажей. Во втором этаже находилась «большая словесная аудитория», можно сказать, — центральный фокус всей жизни историко-филологического факультета. Здесь читали лекции все те профессора, которые притягивали наибольшее количество слушателей; здесь происходили некоторые диспуты, здесь читались пробные и вступительные лекции новых профессоров и доцентов и т.п. Бывали здесь и студенческие сходки, хотя более крупные сходки в бурные дни «студенческих историй» собирались в других местах: либо на университетском дворе, либо в анатомическом театре, либо в актовом зале, который находился в здании «старого» университета. На третьем этаже помещались аудитории юридического факультета. Туда мы, историки, забегали послушать наиболее популярных профессор-юристов: М.Ковалевского, Зверева, Муромцева, да экономиста Чупрова — кумира всего студенчества без различия факультетов.

В большую словесную аудиторию были созваны первокурсники всех факультетов для первого знакомства с ректором перед началом занятий. Аудитория эта была относительно обширна, но все же она была мала для таких лекторов, как Ключевский или Тихонравов, к которым набивались слушатели со всех факультетов. Тогда все

скамейки были переполнены и все пространство между скамейками и кафедрой и по бокам кафедры битком было набито стоящими студентами, которые стояли плечом к плечу, сплошной массой, так что популярному лектору не так-то легко было пробраться к кафедре.

Такую же картину представляла собою «большая словесная» и в тот день, когда мы были собраны выслушать речь ректора. Везде стояла, что называется, «непротолченная труба» народа. Толпа пестрая, многоцветная благодаря отсутствию форменной одежды. Она стеклась сюда со всех углов русской земли. Во-первых, сам Московский учебный округ был очень обширен, он вбирал в себя все центральные губернии. Во-вторых, Московский университет обладал мощной притягательной силой для абитуриентов других учебных округов. Я сам, как уже сказал выше, явился в Москву, минуя Казань, из пограничного с Азией Оренбурга; были здесь и сибиряки, и горцы Кавказа, и уроженцы западного края и т.д. Поистине Московский университет являлся всероссийским микрокосмом, продолжал собирательную миссию преемников Калиты, только уже не в политической, а в культурной области. Заметил я тогда в этой толпе молодого человека с огненно-рыжей шевелюрой. То был будущий известный писатель-эрудит, считающийся поэтом, а на самом деле являющийся ученым эссеистом в прозе и стихах — Вячеслав Иванов.

Наконец толпа затихла, и на кафедре перед нами выросла высокая и сухая фигура ректора. То был профессор римского права Николай Павлович Боголепов, позднее ставший попечителем Московского учебного округа, а еще позднее, не на радость ни себе, ни русской школе, занявший пост министра народного просвещения и сраженный в 1901 г. пулей Карповича. Он стоял тогда перед нами высокий, сухой, какой-то застывший (его довольно метко прозвали Каменным гостем), смотря прямо перед собой остановившимися глазами. Поставив на кафедру блестящий цилиндр, он начал речь медленным, размеренным голосом, без повышений и понижений, говорил, точно воз вез. Речь была торжественная и вялая. Сказал, между прочим, что Московский университет гордится тем, что ни разу не был закрыт вследствие беспорядков, и убеждал воздерживаться от всяких эксцессов политического характера. В заключение

посоветовал аккуратно посещать и записывать лекции, не полагаясь на литографические издания их. Речь ректора не произвела на слушателей впечатления, не вызвала никакого подъема духа. Это была благонамеренная проза, не задевавшая никакой сердечной струны.

На следующий день нас ожидало более импозантное зрелище. Занятия начались лекцией профессора богословия протоиерея Успенского собора Сергиевского. Опять большая словесная аудитория была битком набита студентами. Богословие читалось одновременно для всех факультетов, и стечение слушателей на первые три-четыре лекции было громадно. Затем аудитория быстро поредела и временами являла собою уже настоящую пустыню. Сергиевский и в церковном богослужении, и на университетской кафедре любил внешние эффекты. Его появление на кафедре составляло настоящее театральное действие. Он шествовал плавно, высокий, стройный, с худощавым, но красивым лицом, обрамленным прядями седых волос, в щегольской темно-фиолетовой рясе и в ослепительно белых манжетах, похожий скорее на величественного кардинала, нежели на православного батюшку, а перед ним двигался швейцар, несший в руках большое мягкое кресло. Получалось что-то вроде процессии. Швейцар подходил к кафедре, снимал с нее простой венский стул, которым довольствовались все прочие лекторы, и торжественно водворял на место принесенное кресло. Сергиевский плавно шествовал к кафедре с таким расчетом, чтобы приблизиться к ней как раз в тот момент, когда была закончена установка кресла. Медленно поднимался он на ступени кафедры и наконец предстал перед нами во весь свой рост, величественный и важный. Затем, не садясь, при общей тишине он отвешивал медленно три поясных поклона, один — прямо перед собою, другой — направо и третий — налево. Только после этого он водружался на свое кресло и тихим, несколько таинственным голосом начинал лекцию. Он любил высокопарные выражения, бьющие на эффект. Две фразы из его курса пользовались особенной известностью: «Поставим паровоз веры на рельсы философии, и первая наша станция будет Бог». Так говорил он в начале курса. А подходя к догмату св. Троицы, он говорил: «Теперь я буду говорить не для того, чтобы что-нибудь сказать, но дабы не умолчать». Несмотря, однако, на эту высокопарность, он был умный человек, отдавал себе ясный

отчет в том, что большинство его слушателей не чувствует влечения к богословским наукам, и предъявлял к аудитории самые умеренные требования. На экзаменах он доводил свою снисходительность до последнего предела, не признавал иных отметок, кроме пятерки, и только уже в особенно вопиющих случаях позволял себе поставить экзаменуемому пять с минусом. Он был не лишен язвительного юмора. Услыхав от одного студента на экзамене неожиданно для себя ответ, обличавший серьезную богословскую подготовку, он, удивленно всматриваясь в студента, вежливо спросил его: «Не атеист ли вы?» И когда студент в свою очередь выразил удивление такому вопросу, Сергиевский спокойно объяснил, что обыкновенно светские люди изучают богословие так подробно с целью выступления против миссионеров на богословских диспутах. Чутко улавливал он и попытки некоторых ловких милостивых государей, пытавшихся блеснуть перед ним проявлением ханжества. Таких попыток он отнюдь не поощрял и иногда обрывал их не без остроумия. Когда студент в университете обращался к нему со словами «отец протоиерей» или «батюшка», он проходил мимо, не откликаясь, как будто обращение относилось вовсе не к нему. Откликался только на обращение «господин профессор». Когда же один студент очень уже надоел ему, называя его «батюшка», он наконец вежливым тоном сказал: «Господин студент, я совсем не имел чести знать вашей матушки».

С этого дня перед нами постепенно стали выступать наши университетские учителя и началось наше приобщение к университетской науке.

Но прежде чем перейти к рассказу о наших университетских учителях, я брошу взгляд на главные черты в жизни тогдашнего студенчества.

Студенческая масса в то время, как и всегда, подразделялась главным образом на три группы — на политиков, на будущих обывателей и на будущих ученых. Я примкнул к третьей группе, прежде всего потому, что ощущал в себе непреодолимую страсть к научным занятиям, а затем также и потому, что в тогдашних политических движениях среди студенчества не усматривал большого толка. С

первого же курса я ушел с головой в книги и делил все свое время между аудиторией и публичной библиотекой Румянцевского музея. Это времяпрепровождение разнообразилось только время от времени вылазками на галерку Малого театра, где в то время за тридцать копеек можно было переживать минуты величайшего эстетического наслаждения от игры Ермоловой, Федотовой, Медведевой, Никулиной, Садовских, Ленского, Южина. Да вот когда еще приезжали в Москву такие гастролеры, как Росси, Дузе, Барнай, Поссарт, Коклен, — я исчезал недели за полторы из библиотечного зала Румянцевского музея и предавался театральному запое. Но уезжали гастролеры, и театральный запой опять сменялся книжным. Случалось, что иные товарищи по курсу с улыбкой сожаления пророчили мне будущность книжного червя, глухого и слепого к явлениям общественной жизни, неспособного увлечься общественными интересами. Я в ответ ухмылялся и думал про себя собственные думы. Вышеупомянутое пророчество не оправдалось, а мой книжный запой во времена студенчества принес мне немалую пользу для моей последующей общественной деятельности.

Я сказал, что не видел в тогдашних политических движениях в студенческой среде большого толка. И в самом деле, «студенческие истории», тогда время от времени разыгрывавшиеся, казались чем-то серьезным и возбуждали какие-то надежды и ожидания только потому, что на всем остальном поле общественной жизни царил полный штиль.

Вторая половина 80-х годов минувшего столетия была временем чрезвычайного обмеления общественных интересов. Все расселись по своим углам. Одни, по выражению Салтыкова, начали «годить», другие и «годить» перестали и, ни о чем не загадывая, ушли с головой в однообразную канитель «малых дел». Потапенко, в настоящее время развивающий не по разуму холопское усердие перед большевистскими властелинами, выступил тогда даже с программным романом под названием «Не герой», где ставил на пьедестал человека, отвергивающегося от всяких широких горизонтов и живущего помаленьку и потихоньку с лозунгом: «день да ночь — сутки прочь». В атмосфере такой пришибленности «студенческие истории»

казались своего рода громом в ясном небе. Но гром этот ничего не менял в положении вещей, и если бы эти «истории» не раздувались охранкой, для которой они являлись манной небесной, давая пищу для ее деятельности и оправдывая ее существование, то они легко могли бы быть пресекаемы в самом зародыше.

Дело в том, что в этих студенческих «движениях» в то время еще не было никакой организованности. Существовали студенческие землячества, но правильно избранного объединяющего органа еще не было. И вообще не было никаких общестуденческих организаций. «Студенческие истории» начинались всегда почином никому не ведомой самочинной кучки и уже по одному этому сами по себе не могли бы рассчитывать на сколько-нибудь внушительный успех, если бы им не приходили на помощь внеуниверситетские элементы. «История» начиналась во имя каких-нибудь требований, касавшихся студенческого быта. Но утвердительно можно сказать, что истинная подкладка всегда была политическая и замысел «историй» исходил от какого-нибудь внеуниверситетского кружка. Университет избирался опорной точкой для демонстрации, ибо ни на какую иную среду нельзя было тогда рассчитывать в этом отношении. Затем все разыгрывалось как по нотам. Никому не ведомая самочинная группа вывешивала воззвание с приглашением на общестуденческую сходку. Общестуденческая сходка была тогда лишена всякой планомерной организации: это было хаотическое вече, где не было никакого выборного представительства, никаких предварительных сговоров, никаких установленных правил для ведения заседания и постановления решения. Просто в назначенное место приваливала нестройная толпа студентов, группа, созвавшая сходку, излагала цель сходки и предлагала заготовленную резолюцию с теми или другими требованиями к начальству. Начинались прения. Ввиду случайного состава собравшейся студенческой толпы, прения, разумеется, шли в высшей степени беспорядочно. Говорили кто в лес, кто по дрова. Инициативная группа и не умела, и не хотела руководить прениями, она просто выжидала, когда толпа, наскучив сумбурным словоизвержением, начнет расходиться. Тогда без правильного голосования, бесформенным гулом ближайшей к инициаторам всего дела кучки наскоро проводилась заготовленная ранее резолюция. Сходка кончалась. Но к

этому времени университет оказывался оцепленным полицией, конными жандармами и казаками. По городу распространялась весть, что студенты опять бунтуют. К университету собирались любопытствующие. Грозный вид вооруженной кавалерии производил на зевак такое впечатление, что происходит что-то зловещее и крупное. Охотрядцы рвались в бой. А те обыватели, которые были настроены оппозиционно по отношению к начальству, смотрели на осажденных студентов как на доблестных героев. Между тем полиция начинала хватать расходившихся со сходки студентов, а казаки пускали в ход нагайки. Окруженных студентов полиция с торжеством отводила в Манеж — огромное здание, находящееся как раз насупротив университета, по своим размерам могущее вобрать в себя чуть не половину всего студенчества и представляющее своего рода чудо архитектурного искусства: протягивающаяся на громадное пространство крыша этого манежа поддерживается только одними стенами, без единой колонны или какой-либо иной внутренней опоры.

Процессия перевода окруженных полицией студентов с университетского двора в Манеж еще более усиливала впечатление от «студенческой истории» как от какого-то крупного революционного события. И уличная толпа, глазевшая на эту процессию, и сами студенты невольно проникались таким убеждением. А власти не только не старались парализовать это убеждение, но, напротив того, делали все для его дальнейшего обострения и углубления. В тот же день, а иногда на следующее утро, студентов под конвоем солдат и казаков вели через весь город из Манежа в Бутырскую тюрьму, расположенную на окраине Москвы. Можно себе представить, в какой мере эта демонстративная прогулка подымала дух «бунтующих» студентов, окружая их ореолом страдальцев за революционные идеалы. Ведь кроме «сходки» и резолюции, принимаемой на сходке, в их распоряжении не было решительно никаких иных способов для политических манифестаций; студенческие «забастовки» были изобретены позднее. При сколько-нибудь тактическом и находчивом образе действий властей студенческая манифестация неизбежно угасла бы от внутреннего истощения. А между тем начальство само приходило на помощь студентам и устраивало для них такой революционный парад, как шествие через весь город на глазах всего

населения густой толпы арестованных «бунтовщиков». Военные власти сами чрезвычайно тяготились участием в этих полицейских манипуляциях, что с присущим ему остроумием выразил однажды генерал Драгомиров в Киеве. Получив от местной гражданской администрации приказание двинуть к университету военные части, он так донес об исполнении этого приказа: «Инфантерия двинута, конница выступает, неприятеля нигде не найдено».

Между тем, лишь только произошли первые аресты студентов, «университетская история» тотчас получала обильную пищу для дальнейшего развертывания. Первоначальные лозунги, требования, заявленные первой сходкой, отходили со всем на задний план; теперь на поверхность всплывала идея товарищеской солидарности. Все заслонялось требованием освобождения арестованных. Ежедневно собиралась новая сходка, ежедневно к университету являлись полицейские и казаки; приезжал на первых санках с лихой пристяжкой полицеймейстер Огарев, высоченный мужчина с огромнейшими усами; как сейчас, вижу его могучую фигуру перед решеткой университетского двора, из-за решетки какой-то тщедушный студентик кричит ему в упор: «Дурак, дура...», — а он с невозмутимым спокойствием отвечает: «Тридцать лет слышу уже, что я дурак, выдумай что-нибудь поновее». Полицейские и даже солдаты с ружьями вводились в университет и стояли в темных уголках коридоров. Сходки и аресты продолжались. В городе только и разговора было что о студенческих волнениях. Рассказам не было конца, и ко многим из них была приложима известная пословица: *si non e vero e ben trovato* [Если это и неправда, то хорошо придумано (ит.)]. Рассказывали, например, как к собравшейся толпе студентов вышел раз тишайший, любезнейший и ехиднейший проф. Г.А.Иванов, замещавший временно ректора: «Чего вы желаете?» — спросил он студентов. «Немедленного введения конституции», — грянуло в ответ. — «Господа, все, что от меня зависит, будет сделано», — любезно сказал старичок и удалился под гром рукоплесканий. Студенты разошлись, а так как от проф. Иванова в таком деле равно ничего не зависело, то он с чистой совестью ничего и не сделал. Не знаю, произошла ли на самом деле такая сценка, но и студенты и Иванов в этом рассказе обрисованы были не без меткости.

Мало-помалу страсти успокаивались, и все входило в обычную колею. Однако после каждой такой истории оказывались жертвы, дорогой ценой расплачивавшиеся за все происшедшее. Большинство арестованных вскоре было освобождаемо. Но известный процент выкидывался за борт нормального общежития. Иных отправляли на поселение под надзор полиции по глухим городкам северного края; иные попадали и за Урал. Степень виновности при этом определялась в значительной мере на глаз, без точного расследования фактов, а бывало и так, что власти, решавшие судьбу участников беспорядков, руководились отзывами недель о поведении того или другого студента, и педеля сводили при этом свои счеы, вследствие чего кара падала подчас на всего менее виновных.

Только к концу 80-х годов и затем еще в сильнейшей степени в 90-х годах студенческие движения принимают планомерно-организованный характер, появляются общестуденческие корпоративные объединения, как то: совет землячеств и т.п., общестуденческая сходка из хаотического веча перерабатывается в более упорядоченное собрание с элементами выборного представительства, появляется новый прием противоправительственных манифестаций: студенческая забастовка и т.д. В 80-х годах студенческих забастовок еще не бывало; даже в самый разгар студенческих волнений лекции с грехом пополам продолжались читаться; но бывали случаи демонстративных оскорблений университетских должностных лиц. Нанесение пощечины министру народного просвещения Сабурову в стенах университета произошло еще до моего прибытия в Москву. Во время моего студенчества студент Синявский, выполняя выпавшую по жребию на его долю задачу, во время традиционного студенческого концерта в Дворянском собрании ударил по щеке инспектора Брызгалова, оставив на его щеке несмыываемый знак химической краски. Брызгалов занял боевое положение организатора шпионажа среди студенчества через педелей и близких ему студентов. Этим и была вызвана публичная над ним расправа, после которой он был убран и вскоре умер. Такие факты показывают, что и тогда под завесой хаотически-бестолковых студенческих сходок действовали более сплоченные организации. Но их деятельность не носила тогда

сколько-нибудь общестуденческого характера, и масса студенческая не имела с ними связей.

Хотя описанные выше «университетские истории» (ходячий термин того времени) захватывали все течение университетской жизни, тем не менее революционно настроенных студентов-политиков в составе тогдашнего студенчества было, в сущности, немного. В те годы значительная часть студенчества была охвачена, если можно так выразиться, «политическим аполитизмом». Я хочу сказать, что это было не простое, безотчетное равнодушие к политическим вопросам, а, как бы сказать, тенденциозное, показное отстранение себя от политических интересов с целью доказательства своей полной политической благонамеренности. Если хотите, это тоже было своего рода «движение». Оно получило тогда кличку «белоподкладочничества». С 1885 г. началось частичное введение, начиная с первого курса, нового университетского устава. Студенты, попавшие под действие этого устава, обязаны были носить форменную одежду. И вот среди студентов быстро стала распространяться особая мода, состоявшая в том, что форменным студенческим фуражкам стали придавать вид офицерских фуражек, а вместо форменных пальто стали носить шинели чисто офицерского покроя, с меховыми воротниками и с белой подкладкой.

Студент, нарядившийся таким образом, носил свое одеяние с подчеркнутым форсом и в согласии с этим своим щегольским видом располагал и все свое времяпрепровождение. Это и были «белоподкладочники». Термин этот скоро получил специфическое значение. Им стали обозначать определенный тип студента, подчеркивающего свою «благонадежность», свою враждебность ко всякой оппозиции существующему строю, свое нежелание присоединиться к каким бы то ни было политическим движениям, демонстративно стремящегося к беспечальному наслаждению жизненными благами. К науке «белоподкладочники» относились так же, как и к политике, как к чему-то постороннему, а в большом количестве даже и вредному. «Пофилософствуй — ум вскружится», так уж лучше не философствовать, а вместо того умело обеспечить себе благоразумным поведением

местечко потеплее за пиром жизни, да и срывать цветы удовольствия без дальних размышлений.

Это «белоподкладничество» среди студенчества явилось ярким отражением в жизни тогдашней учащейся молодежи того резкого обмеления общественных интересов, чрез которое в 80-х годах минувшего столетия прошло все русское общество и которое оно начало стяхивать с себя после голода 1891 года.

В Московском университете был тогда момент, когда «белоподкладники» вдруг как-то особенно воспрянули духом и попытались разыграть какую-то роль. В один из своих приездов в Москву Александр III решил посетить Московский университет. Очень-очень давно монархи не появлялись в стенах лого университета. «Студенческие истории» налагали на университет репутацию гнездилища революции. Катков своим ярким пером делал все для закрепления такой репутации в сознании правящих и придворных кругов. Все старания были направлены на то, чтобы университет был поставлен на положение опального учреждения. Решение Александра III посетить университет явилось, таким образом, для многих неожиданностью. Была приготовлена торжественная встреча. В наполненный студентами университетский двор въехала коляска, в которой возвышалась монументальная фигура Александра III и рядом с ним миниатюрная Мария Феодоровна. Моросил дождь. Между остановившейся коляской и подъездом оказалось небольшое пространство, несколько размокшее. Государыня, сходя с коляски, как-то нерешительно поглядывала на грязь. Вдруг студент бросил к ее ногам свою шинель, тотчас несколько других студентов последовали его примеру, и но этому импровизированному ковру из студенческих шинелей государь и государыня прошли от коляски до подъезда. Государыня из поднесенного ей букета белых роз раздала розы стоящим поблизости студентам. Вот тогда-то студенты, афишировавшие свою благонамеренность, начали было ходить с белыми розами в петлице. Хотели создать что-то вроде корпорации Белой розы. Но из этого ничего не вышло. В конце концов, «белоподкладники» вообще не были способны к какой бы то ни было политической предприимчивости, как революционной, так и охранительной. Их хватило лишь на то,

чтоб выставлять на вид белую подкладку своих шинелей. Это были прирожденные обыватели, но такие, которые желали обставить обывательское существование всем тем комфортом, который получается в результате великих и богатых милостей, изливаемых начальством в награду за послушание и благонравие. Из этой-то среды вербовала приверженцев и сотрудников университетская инспекция — инспектор, субинспекторы и педея, — которая при Брызгалове, после введения нового устава, начала развивать в университете все более суетливую деятельность. Субинспекторы дошли до того, что решались иногда входить в аудиторию во время профессорской лекции для наблюдения над студентами. Эго прекратилось после того, как М.М.Ковалевский потребовал от вошедшего в его аудиторию субинспектора, чтобы он немедленно удалился. Смешно вспомнить, из каких пустяков инспекция раздувала целые истории. Строгому преследованию подвергались, например, аплодисменты после лекции. В них усматривали почему-то нечто, свидетельствующее о неблагонадежности. После первой лекции Ключевского аудитория, восхищенная мастерским чтением, непроизвольно разразилась рукоплесканиями. За это некоторые студенты были посажены в карцер. Да, в карцер. Можно ли было бы себе представить, чтобы в середине 90-х годов студент был посажен в карцер университетской инспекцией? А нас, в 80-х годах, сажали в карцер даже за такие невинные вещи, как аплодисменты любимому профессору! Так глубоко изменилась обстановка университетской жизни за десять лет.

Изменилось и многое другое. Во время моего студенчества профессор появлялся на кафедре не иначе как либо в синем форменном фраке, либо в черном фраке и белом галстуке. Только В.И.Герье позволял себе приходить на лекцию в черном сюртуке. В 90-х годах от этой чопорности не осталось и следа. И лекторы стали сплошь да рядом читать лекции в домашних пиджаках.

Те, кого не удовлетворяли вспышки «университетских историй», хаотичные, не дававшие никаких результатов, и для кого «белоподкладочничество» не представляло никакой привлекательности, кто не разделял того предрассудка, что наука якобы сушит ум и сердце и вытравляет из души живое гражданское чувство, но кто

искал и находил в науке удовлетворение своим серьезным духовным запросам, — те имели возможность получить в стенах Московского университета то, чего они искали, к чему они стремились, ибо Московский университет того времени не был беден крупными научными силами, и среди его профессоров было немало таких, которые блистали и глубокой ученостью, и прекрасными лекторскими дарованиями.

Теперь я и перейду к воспоминаниям о своих университетских учителях.

III

В восьмидесятых годах минувшего столетия историко-филологический факультет Московского университета стоял весьма высоко. В составе его профессоров находился целый ряд выдающихся ученых, которые большею частью были в то же время и прекрасными университетскими преподавателями. Конечно, в семье не без урода, но семья-то сама по себе была великолепная. Она являла блестящее соединение крупных научных сил. Тут не только было чему поучиться, тут можно было зажечься любовью к науке, почувствовать то особое наслаждение, которое сопряжено с погружением в научные интересы.

Попытаюсь теперь набросать портреты своих университетских учителей, стараясь уловить наиболее существенное, но не упуская и мелочей: ведь нередко мелочи-то бросают свет на самую суть.

В самом начале этих воспоминаний я сказал, что меня привлекло в Московский университет из далекого Оренбурга имя Ключевского. И в самом деле, это имя уже гремело не только по Москве, но и далеко за ее пределами. И, конечно, не я один предвкушал слушание лекций знаменитого профессора как нечто заманчивое, сулящее высокое наслаждение.

Ключевский в то время прочитывал полный курс русской истории в течение двух лет, читая по две двухчасовые лекции в неделю, всегда — по средам и субботам. В один год прочитывался период от начала Руси и кончая царствованием Ивана Грозного; во второй год

— период от Смутного времени и кончая реформами Александра II, впрочем, иногда Ключевский заканчивал и на каком-либо более раннем моменте XIX столетия.

Поступив в университет в 1884 г., я попадал на первый отдел этого двухгодичного цикла, т.е. получал приятную возможность прослушать курс Ключевского в правильной хронологической последовательности, с самого начала.

В этот год Ключевский несколько запоздал с началом лекций. И вот недели три подряд каждую среду и субботу большая аудитория набивалась битком, свыше всякой меры. Обливаясь потом и нажимая друг на друга, студенты безуспешно, но терпеливо выстаивали до звонка; так велико было желание не пропустить вступительной лекции Ключевского. Наконец в одну из сред по терпеливо ожидавшей толпе пронесся оживленный гул: из швейцарской пришло известие, что Ключевский приехал. Вскоре, с величайшим трудом протискиваясь сквозь густую толпу студентов, к кафедре стал приближаться, как-то бочком, словно крадучись и за что-то цепляясь, невысокий брюнет с небольшой острой бородкой клинышком и с ниспадавшей на лоб узкою прядью черных волос. Ключевский сел на кафедру (тогда он читал все время сидя, впоследствии он стал читать, стоя на кафедре), и на миг на нас взглянули через очки прекрасные черные глаза, к сожалению, тотчас же вытянувшиеся в узенькие щелочки. Через несколько секунд зазвучал тихий, вкрадчиво-мягкий голос, с чрезвычайно характерными, несколько певучими переливами, благодаря которым почти каждое слово подавалось с своей особой интонацией, словно изваянное, осязательно-выпуклое.

Большую часть напряженные ожидания приносят известное разочарование. Не так было в этом случае. Можно сказать безошибочно, что к концу вступительной лекции Ключевского все слушатели были влюблены в этого лектора-чародея. И затем весь его двухгодичный курс прослушивался с тем же напряженным и восхищенным вниманием. Этот курс пленял неотразимо необыкновенным сочетанием силы научной мысли с художественной изобразительностью изложения и с артистическим искусством произнесения. Те, кто слушали этот курс из уст самого Ключевского, хорошо знают, каким

существенным дополнением к его словам служили виртуозные интонации его голоса. Когда я начинаю теперь читать его печатный курс, мне неизменно слышатся эти интонации, они неразрывно сплелись для меня с самыми словами курса, и я не могу отрешиться от той мысли, что без этих интонаций читатель печатного текста этих лекций даже и не может вникнуть во всю многозначительность их содержания.

В Ключевском органически сочетались глубокий ученый, тонкий художник слова и вдохновенный лектор-артист. Вот почему он был поистине гениальным профессором.

Что же он давал нам в своем курсе?

Для ответа на этот вопрос нужно принять во внимание кое-что из его биографии. Ключевский был сын сельского священника Городищенского уезда Пензенской губернии. В восьмилетнем возрасте он потерял отца, и осиротевшая семья — мать, восьмилетний Ключевский и две его сестры, из которых одной было пять лет, а другой пять месяцев, — переехала в город Пензу. Семья не выходила из тисков материальной нужды. Жить приходилось в обрез. Нередко не на что было купить свечей. А Ключевский уже в девятилетнем возрасте стал страстным любителем чтения. На добрую часть ночи он забирался на печку, устанавливал перед собой маленький стаканчик, наполненный конопляным маслом с плавающим в нем зажженным фитилем, и перед этим ночником весь уходил в чтение. Он глотал книги, какие попадались под руку. Одной из первых была им прочитана какая-то книжка еще новиковского издания XVIII столетия. Но скоро в любознательном ребенке уже сказался будущий историк: все книжки были отставлены в сторону ради маленьких томиков смирдинского издания «Истории государства российского» Карамзина.

С десятилетнего возраста начались годы школьного обучения. В пензенской духовной семинарии Ключевский скоро стал надеждой и красой всего заведения. Его классные сочинения производили настоящий фурор. Семинарские педагоги и начальство прочили замечательному юношу в будущем светила церкви и богословской науки. А в душе Ключевского, чем ближе подвигалось дело к окончанию

семинарского курса, тем острее назревала душевная драма. Его манил к себе университет. Но он был в семинарии стипендиатом духовного ведомства и на этом основании обязан был поступить в духовную академию. Предстояло выдержать борьбу. Пензенский архиерей и слышать не хотел о том, чтобы отпустить в светскую школу такого незаурядного ученика. Пришлось выдержать тяжкие сцены и горькие испытания. Архиерей осыпал Ключевского упреками, разражался прямою бранью и даже грозил, что в отместку за уход Ключевского из духовной школы никогда не даст хорошего прихода мужу его сестры. Страшную нравственную пытку пришлось выдержать Ключевскому, отвоевывая себе право на поступление в университет. Но все же заступничество дяди со стороны матери, пензенского священника Европейцева, помогло преодолеть препятствия, и Ключевский вырвался-таки в вожделенную Москву под сень университета. Там ему нужно было сдать, как семинаристу, особый вступительный экзамен. Через этот барьер Ключевский, разумеется, перескочил без малейшего затруднения.

Теперь Ключевский был уже на прямой дороге к своему истинному призванию. Но проходить эту дорогу было также нелегко. Вспоминая впоследствии в беседах с сестрой про те годы, Ключевский говаривал: «Был ли кто более беден, нежели я в то время».

Итак, по обстоятельствам своей молодости, Ключевский не был тем типичным «первым учеником» из состоятельной семьи, перед которым жизненная карьера расстилается мягким ковром и все существование которого проходит, словно в комфортабельной оранжерее, вдали от житейских испытаний и забот. Ключевский брал с бою свои успехи: жизнь немало ломала его, ушибала его своими острыми углами. Но зато он и изведал эту самую жизнь в разнообразных ее проявлениях и, погружаясь в книжные занятия, в то же время узнавал лицом к лицу подлинную действительность, подлинных людей и с их парадной внешностью, и с их малоопрятной душевной изнанкой. И это прекрасное знание действительной жизни наложило многоценный отпечаток на его научно-исторические труды. Его ум не замыкался в узком круге бесплотных книжных абстракций. Он схватывал проникновенно живую сущность истори-

ческих явлений и процессов и, будучи тонким систематиком, мастерски построй блестящие обобщающие схемы, он умел вбирать в эти схемы жизненное содержание со всей его многосложной пестротой и противоречивостью. Оттого эти схемы не оскопляли историческую действительность в угоду книжным теориям, а лишь помогали представить себе эту действительность с ее подлинными свежими и яркими красками. Исторический процесс никогда не рисовался Ключевскому в виде геометрического чертежа. Обилие противоречий в рисунке этого процесса служило для него лучшим доказательством верности такого рисунка исторической действительности. Оттого он был так силен в изучении стихийной динамики исторических явлений, оттого он так ярко умел освещать малооформленные, не подходящие ни под одну из привычных нам категорий учреждения древности.

Это чутье жизненной действительности сказывалось весьма ярко и на форме его изложения. Важную роль в составе его преподавательских приемов играли те высокохудожественные сравнения, которыми он любил расцветать свое изложение. И художественность этих сравнений, помимо их необычайной красоты и остроумной меткости, состояла в том, что они никогда не носили книжного, гелертерского характера, в их основе всегда лежала пристальная наблюдательность в кругу житейской действительности.

Но, конечно, в научном курсе весь этот богатый жизненный опыт, весь этот обильный запас непосредственных «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», должен был вдвинуться в оправу определенного научного мировоззрения.

Под какими влияниями сложилось у Ключевского его научное мировоззрение и какой оно приняло характер?

Ключевский поступил в университет в 1861 г. В это время знаменитая борьба западничества и славянофильства была уже законченным периодом в истории нашей общественной мысли. Отчасти под влиянием новых теоретических веяний, отчасти в связи с новыми переживаниями наступавшей «эпохи реформ» намечалось что-то вроде синтеза былых западных и славянофильских лозунгов. Но на университетских кафедрах Ключевскому пришлось встретить

крупнейших представителей западнического толка. В то время как славянофильский оттенок был представлен малодаровитыми профессорами Беляевым и Пешковым, на кафедрах блистали такие «западники», как Соловьев, развивавший кипучую творческую деятельность и находившийся тогда в начале своего колоссального труда по составлению «Истории России с древнейших времен», и Чичерин, последовательно проводивший западническую точку зрения в своих ярких исследованиях по истории областных учреждений в Древней Руси, по истории крестьянской общины и земских соборов.

Ключевский, как он сам это признавал, и увлекся на первых же порах всего более преподаванием Соловьева и Чичерина. От них он воспринял идеи и схемы, выдвинутые в свое время так называемой «юридической школой» в нашей историографии.

Изучая курс Ключевского, нетрудно видеть, какое важное место отведено там эволюции юридических форм как определяющего фактора в историческом процессе. Но отдавая немалую дань этому направлению, Ключевский, однако, отмежевывался от правоверных сторонников «юридической школы». К 60-м годам минувшего века, когда формировалось научное мировоззрение Ключевского, «юридическая школа» уже утрачивала свое былое, властное обаяние. В тесной связи с глубоким переворотом в социальных отношениях, который начал разворачиваться в результате реформы 1861 г., историки стали направлять все более пристальное внимание на социально-экономический момент в ходе исторического развития, а одновременно с этим в оживившейся борьбе общественных партий все настойчивее сказывалось охлаждение веры в единоспасительность политических преобразований и росло преимущественное внимание к вопросам социальным.

Несомненно, и эти веяния той эпохи вызвали в молодом Ключевском сочувственный отклик. Он не увлекся народническими крайностями той поры. Но и скептическая нотка в его отношении к политическому либерализму и мысль о том, что политические и юридические формы определяются более всего наполняющим их социальным содержанием, — вошли существенным элементом в его научно-историческое мировоззрение. Недаром его знаменитая

диссертация «Боярская Дума Древней Руси» носила знаменательный подзаголовок: «Опыт истории государственного учреждения в связи с его социальным составом».

В основу его курса русской истории и легла совершенно самостоятельно разработанная концепция истории России, в которой все лучшее из того, что дала «юридическая школа», было органически объединено с результатами социально-экономического анализа основных процессов русской народной жизни. Признавая основным фактом всей русской истории колонизацию («История России есть история страны, которая колонизируется»), Ключевский делил историю России на периоды по главным этапам этого колонизационного процесса и затем для каждого периода выдерживал один и тот же план изложения. Сначала давалась очень яркая картина политического строя данного периода. Доведя характеристику этого строя до такой степени ясности, что слушателю начинало казаться, что он уже проник в самую суть тогдашней исторической действительности, Ключевский затем раздвигал рамки изложения, и перед слушателем сразу открывалась обширная дальнейшая область изучения: перед ним вставала не менее яркая картина отношений социальных, как основы изученного ранее политического строя. И когда слушатель начинал думать, что теперь-то он уже держит в руках ключ от всех замков исторического процесса, лектор еще раз раздвигал рамки изложения на новую область фактов, переходя к изображению народного хозяйства соответствующего периода и показывая, как складом народно-хозяйственных отношений обуславливались особенности и политического, и социального строя. Получалось впечатление вроде того, какое приходится испытывать, когда едешь по горному перевалу: кажется, что дорога вот-вот упрется в скалистую стену и дальше ехать будет некуда, как вдруг неожиданный поворот открывает перед путником новую обширную котловину. При таком порядке изложения чрезвычайно выпукло обрисовывалась взаимозависимость исторических явлений, и перед слушателем вырастала схема русской истории, законченная, стройная, пленяющая умственный взор выдержанностью всех своих линий. И в то же время от этой схемы не веяло мертвенной отвлеченностью, потому что, как я уже указал выше, Ключевский не усекал факты на прокрустовом ложе

предвзятой доктрины, но умещал в рамках своей схемы всю многообразную и порой противоречивую пестроту подлинных картин исторической жизни.

И все это излагалось изумительным по точности и красоте языком, который так и сверкал своеобразнейшими и неожиданнейшими оборотами и мысли и слова. Из остроумных и поражающих своей меткостью афоризмов, определений, эпитетов, образов, которыми насыщен курс Ключевского, можно было бы составить целую книгу. Включенные в этот курс знаменитые характеристики исторических деятелей: Ивана Грозного, Алексея Михайловича, Петра Великого, Елизаветы, Петра III, Екатерины II — представляют собою истинные шедевры русской художественной прозы. И когда Ключевский произносил их с кафедры, слушатели чувствовали себя необыкновенно близко от предмета лекции, как будто тут, в самой аудитории, проносилось над ними веяние исторического прошлого и как будто сам Ключевский вот только вчера лично беседовал с царем Алексеем Михайловичем или Петром Великим.

Остроумие Ключевского поистине не знало пределов. Если образы и стилистические фигуры, которыми сверкал его курс, были у него заготовлены заранее и даже повторялись из года в год, то это отнюдь не значило, чтобы он был способен только к придуманным и выношенным блескам остроумия. Нет, его уму было свойственно остроумие кипучее, пенящееся и мгновенно вспыхивавшее ослепительным фейерверком. И оно не покидало его при самых разнообразных обстоятельствах, в непринужденных шуточных беседах с друзьями: так же, как и в любой торжественной обстановке, и даже в такие неприятные моменты его жизни, в которые, казалось бы, ему было совсем не до остроумия. Прелесть его остроумия состояла в том, что в каждой из них, наряду с совершенно неожиданным сопоставлением понятий, всегда таилась очень тонкая мысль.

На каком-то публичном обеде проф. Иванюков (ранее бывший кавалеристом-гусаром, а потом ставший профессором политической экономии), сказал весьма банальную речь с цитатами из разных авторов; Ключевский сейчас же заметил: «Иванюков сохранил от своей старой профессии две наклонности: ходить на чужих ногах и

казаться ростом выше себя». Однажды в Московской духовной академии (у «Троицы»), где Ключевский одновременно с университетом читал курс русской истории, справляли какой-то его юбилей. Дорогого учителя пришли поздравить его многочисленные ученики, из которых некоторые носили уже монашеское платье, будучи пострижены в иноческий чин, а другие еще пребывали в миру. Выслушав приветственные речи, Ключевский сказал: «От всего сердца благодарю, господа, нас всех, как тех, которые уже приняли образ ангельский, так и тех, кто еще не утратил образа человеческого». Редактор исторического журнала «Русский архив» Бартнев был жарким поклонником Екатерины II, к которой Ключевский относился саркастически. Когда однажды Ключевского спросили, кто такой Бартнев, он тотчас ответил: «Это — посмертный любовник Екатерины II».

Но вот еще одна молниеносная острота Ключевского, которую он отпустил в чрезвычайно неприятный для него момент. После смерти Александра III Ключевский произнес в Обществе истории и древностей российских, где он в то время состоял председателем, речь о скончавшемся императоре. Это был панегирик миролюбивой внешней политике Александра III. Внутренняя политика была обойдена полным молчанием. Тем не менее панегиристический тон речи резко расходился с оппозиционными настроениями общества и вызвал возмущение в студенчестве. Ключевский же повторил свою речь с кафедры в университетской аудитории. Речь вызвала свистки. «Вы мне свищите, господа, — сказал тогда Ключевский, — я ничего против этого не имею; каждый имеет право выражать свои убеждения доступными ему способами». Все такие остроты имели ту пикантность, что, будучи по существу очень колючими, они, благодаря искусной игре слов, не давали формального повода к обиде.

Острый язык Ключевского не щадил никого.

Весьма нередко люди, только что с поспешной радостью улыбавшиеся остроте Ключевского, коловшей враждебные им начала, мгновенно скисались от следующей его остроты, которая столь же метко поражала дорогие им прямо противоположные начала. Отсюда родилась репутация Ключевского как неисправимого скептика, не

признающего никаких святынь. Кажется, и ему самому доставляло нору удовольствием разыгрывать роль Мефистофеля. Он был очень дружен с рано умершим от чахотки молодым историком литературы, подававшим блестящие надежды, — А.А.Шаховым. На всех собраниях и журфиксах они были неразлучны. Их тогда так и звали в Москве: «Фауст и Мефистофель».

Между тем эта мефистофелевская репутация Ключевского далеко не отвечала действительности. Под маской беспощадного острословия в нем таилась душа, горячо чувствующая и даже чувствительная. Он только не любил пускать посторонних в святая святых своей души. Значительная часть его мефистофелевских выходов вызывалась своего рода стыдливостью, целомудренностью чувства, желанием прикрыть от окружающих свои подлинные переживания. Впрочем, при внимательном наблюдении можно было почувствовать эту столь тщательно им скрывавшуюся психологическую его подоплеку. Ведь это совершенно неверно, что будто бы в его курсе все сводится к развенчиванию всего героического в русской истории. Такое мнение мне приходилось слышать не раз. Но думающие так доказывают этим лишь то, что они восприняли из курса Ключевского только наиболее броские словечки, не проникнув в суть его содержания: «слона»-то они и не заметили. А разве можно отрицать, что через весь этот курс проходит глубокая вера в даровитость и творческую силу русского народа? Этот «скептик» и «остряк» был горячим патриотом и народолюбцем, но только его любовь к родному народу никогда не принимала характера идеализации. Вот к этому он действительно был неспособен; до этого его не допускали острый критический ум и чувство духовной независимости. Любить он умел. Но он не умел и не желал превращать любовь к кому бы и чему бы то ни было в низкопоклонство и распластывание во прахе.

Он отличался сложной и утонченной духовной организацией, которая отпечатлевалась на его нервно-подвижном лице. Это был человек-мимоза. Он был недоверчив до мнительности. Малейшая детонация в отношениях, какое-нибудь случайно сорвавшееся не совсем удачное слово мгновенно коробили его, и он съеживался и уходил в себя.

Пушкин сказал, что «старость ходит осторожно и подозрительно глядит». А Ключевский во все возрасты своей жизни неуклонно держался этой тактической линии. Приобрести его доверие было весьма нелегко. Зато когда наконец лед был сломан, вы получали истинно чарующее наслаждение от общения с этим бездонно умным, беспредельно талантливым, по внешности колючим, а в сущности в высшей степени добрым человеком. Он был добр не на словах, а в делах. Я знаю случаи, когда после продолжительного заседания он, не пообедав, ехал на окраину города и уже старческими ногами взбирался по лестнице в студенческую мансарду для того, чтобы поскорее сообщить студенту благоприятное для его дела постановление факультета.

Это был ученый мирового калибра. Иностранцы только теперь мало-помалу приступают к переводам его курса на западноевропейские языки. К сожалению, появившиеся переводы страдают непозволительными пропусками. Давно пора всем культурным странам узнать всего Ключевского целиком. Ему по праву принадлежит место в пантеоне мировой науки.

Патриархом нашего факультета был Владимир Иванович Герье. Это была ходячая историческая реликвия. Шутка ли сказать: Герье являлся перед нами живым свидетелем эпохи Грановского, и мы в его лице имели общего учителя с самим Ключевским, который когда-то слушал его лекции! А между тем этот современник Грановского и учитель Ключевского, этот на вид сухопарый, но железный телом и духом человек стоял перед нами на кафедре, бодрый, свежий, без единого седого волоска на русской голове. Он поседел и одряхлел только в самые последние годы своей жизни, совпавшие с началом общерусской разрухи.

Герье читал курсы по истории Рима, но эпохе реформации, по истории Европы XVII и XVIII вв. и по истории Великой французской революции. Мне за время студенчества довелось прослушать у него только римскую историю Европы XVIII в. (просвещенный абсолютизм).

Когда-то, в 60-х годах, Герье напечатал две диссертации, одну о Лейбнице, другую — «по архивским источникам» — о борьбе за

польский престол в 30-х годах XVIII в. Это были для своего времени очень почтенные работы, но каких-либо новых путей в науке они не пролегли. А во всех последующих своих трудах Герье являлся не столько исследователем, сколько популяризатором, очень солидным и талантливым. Он писал отличным литературным языком, был широко образован, всегда давал очень ясное представление об излагаемом предмете. Его излюбленными темами были различные этюды по истории политических и историософских идей. Его университетские курсы, несмотря на их некоторую старомодность, были очень полезны для слушателей. Они были составлены весьма педагогично. Курс римской истории открывался, например, обширным историографическим введением. Для первокурсников это введение было целым откровением. Перед нами открывалась яркая страница из истории исторической науки. Профессор вводил нас в избранное и поучительное общество корифеев исторической мысли. Вико, Нибур, Рубино, Шwegлер, Моммзен и многие другие выступали перед нами в живых очертаниях, и вместе с тем на конкретных примерах выяснялись методологические приемы исторического исследования и последовательные смены главнейших историографических школ.

В курсе по истории Европы XVII столетия наиболее сильную сторону составляли очерки политических доктрин, причем особенно подробные экскурсии были посвящены теориям Монтескье, Руссо и Мабли.

Герье читал просто, без всяких эффектов, неторопливо и размеренно, очень ясно и отчетливо излагая свою мысль. Он считался грозой факультета. О его строгости на экзаменах ходили целые легенды. И точно, он был требователен и, не довольствуясь тем, чтобы студенты заучивали его лекции, понуждал нас к знакомству с исторической литературой.

Я должен сказать, что требования его были вполне разумны, да и в качестве экзаменатора он был вовсе не так страшен, как его малевали ходячие среди студенчества анекдоты. Один из этих анекдотов пользовался особой популярностью. За столом сидят три экзаменатора: протоиерей Сергиевский, философ Троицкий и Герье. Сергиевский говорит студентам: «Верь, не то будет единица», Тро-

ицкий говорит: «Не верь, не то будет единица», а Герье говорит: «Верь — не верь, а единица все равно будет».

Действительность, однако, далеко отставала от этой студенческой молвы. Правда, требования Герье были строги, но они были точно определены. А те, кто хотя немного возвышались над обычными требованиями, наверняка могли рассчитывать на самую лестную оценку. Перед экзаменами Герье предлагал желающим принести на экзамен краткие письменные отчеты о прочитанных книгах из числа им рекомендованных. Я принес отчет о трехтомном сочинении Ланге «*Römische Alterthümer*». Он прямо и начал с того, что заставил меня прочитать этот отчет. Пока я читал, Герье сидел неподвижно, с самым кислым выражением лица и не спускал глаз с копчика своего сапога. Я кончил чтение, и он, не вымолвив ни слова, поставил мне в экзаменационном листе пять с плюсом. Тем все и кончилось. Вот это «кислое лицо» и наводило трепет на студентов. И, в сущности, совершенно напрасно. Как я в том убедился из последующих с ним сношений, эта «кислота» в значительной мере проистекала из ненаходчивости Герье. Обладая умом живым и острым, он в то же время был чрезвычайно ненаходчив, быстро терялся и начинал сердиться на собеседника за собственную растерянность. Надо было незаметно ему помочь, и тогда все шло как по маслу. Как-то раз пришел к Герье один доцент без всякого дела, просто чтобы навестить профессора. Герье долго не находил, о чем заговорить, и наконец, после продолжительного тягостного молчания, с покрасневшим от натуги лбом, спросил гостя: «А вы заметили, что у нас сегодня на дверях замки вычищены?»

Впрочем, характер Герье был строптивый, капризный и язвительный. Тяжелый он был человек. Когда к нему собирались его ученики, среди которых были люди самых разнообразных возрастов, его домашние ревностно наблюдали за тем, чтобы в разговорах не поднималось таких тем, которые могли бы рассердить Владимира Ивановича. И уже заранее было условлено, что как только кто-нибудь из домашних прикоснется рукою к лампе, это значило, что надо было немедленно менять тему разговора. И бывали вечера, когда огонь в лампе приходилось поправлять очень часто. Противоречить Герье

было рискованно. Я знаю случай, когда Герье, встретив в посетившем его госте несогласие с собой, вскочил, ринулся в переднюю, надел шубу и ушел из своего дома, оставив гостя в одиночестве в кабинете. Робелы перед Герье чрезвычайно не только студенты, но и такие его ученики, которые сами уже занимали кафедры. Как-то раз два философа, Лопатин и Сергей Трубецкой, вознегодовав на какие-то произвольные распоряжения Герье на женских курсах, решили немедленно поехать к Герье и выложить ему «всю правду». Едучи к Герье на извозчике, они были настроены очень воинственно. Но лишь только они вошли в кабинет Герье, язык у них прилип к гортани. Они просидели у Герье целый вечер, мило болтая о том и о сем, да так и уехали, не решившись коснуться цели своего посещения. Ну а кто не робел, тому приходилось познать все значение поговорки «нашла коса на камень». Это мне довелось испытать лично на себе, когда я начал читать лекции на Герьевских курсах. В противоположность Ключевскому, Герье всегда принимал широкое участие в общественной работе. Он много работал в Московской городской думе, где в течение долгих лет состоял гласным. Имел склонность к публицистике. Некогда провел блестящую кампанию в защиту университетской автономии. Уже маститым старцем в период первой, второй и последующих Государственных дум он с пылом молодости принял участие в политической полемике, печатал многочисленные статьи в газетах и целые памфлеты в виде брошюр, в которых в качестве правоверного октябриста нападал на кадетскую партию. Тогда и мне пришлось несколько раз преломить с ним копье в этой полемике. Я теперь сожалею о некоторых допущенных мною тогда полемических резкостях, хотя полемические приемы самого Герье и вызывали на резкий отпор. Но должен сказать, что, пререкаясь с своим бывшим учителем, я в то же время любовался пылом его души, его горячим интересом к общественным вопросам.

Характерной особенностью его как общественного деятеля было постоянное влечение к творческому почину. Он любил и умел создавать новые сложные организации. В городском управлении он являлся одним из энергичных создателей попечительств о бедных. В деле высшей школы крупной заслугой его было создание в Москве

Высших женских курсов. Тут он был для Москвы таким же пионером, каким Бестужев-Рюмин был в Петербурге.

Герье обладал драгоценным свойством, которое давало ему возможность преодолевать многочисленные препятствия, встающие обыкновенно на пути создания новых, небывалых ранее общественных опытов. Герье в высшей мере обладал цепкостью и железной настойчивостью. Его упорную волю невозможно было сломить той системой затяжек, хитросплетенных экивоков, невыполняемых обещаний, которая доводит до изнеможения и заставляет бросать начатое дело людей пылких, но не имеющих выдержки.

Несколько лет существовали в Москве частные Высшие женские курсы профессора Герье. Потом они были закрыты по распоряжению правительственной власти. То было одно из поразительно неумных деяний реакции, торжествовавшей в 80-х годах. Герье и не думал отступить от своей идеи. Он стал выжидать благоприятного момента. Через несколько лет он поднял дело о создании в Москве уже не частных, а государственных высших женских курсов. Тут надо было по каплям долбить камень. Герье и надел на Министерство народного просвещения со свойственным ему упорством. Не смущаясь ни отказами, ни всякого рода осложнениями, ни бесконечной преднамеренной волокитой, он все ездил в министерство. И наконец все почувствовали, что отделаться от этого человека невозможно. Своей настойчивостью он переупрямил самых упорных министерских стародумов и добился своего.

Но, создав с таким упорством новое учреждение, Герье, лишь только становился во главе своего создания, немедленно начинал сам его подтачивать, вследствие полного неумения вести общественное дело как-нибудь иначе, кроме как в формах патриархального личного самовластья. На своих частных Герьевских женских курсах он держал себя как всеобщий дедушка, но строгий и требовавший безусловного себе повиновения. Рассердившись на курсисток, он иногда запирал наполненную курсистками аудиторию на ключ и ходил по коридору, выдерживая заключенных, как расшалившихся детей, под замком. Ко всем этому все относились благодушно, как к старческим причудам. А коллеги Герье, читавшие на его курсах

лекции, охотно предоставляли ему всю полноту власти, не думая вмешиваться в его распоряжения: ведь это было частное, личное предприятие Герье. Но Герье и став директором государственных женских курсов, перенес туда целиком все свои патриархально-самовластные повадки. Устав, формально утвержденный, не соблюдался, совет профессоров не созывался. Немудрено, что на этой почве возникли острые неприятности, и в конце концов Герье должен был покинуть им же созданное учреждение. Со стороны Герье в таких действиях не было никакой злой воли. Он просто не мог поступать иначе, не переродившись заново.

По тем же причинам и созданное им при Московском университете Историческое общество быстро впало в летаргию и оживилось лишь после того, как Герье оставил в нем председательство. Помню прекомичный рассказ моего покойного приятеля О.П.Герасимова. Зашел он как-то на заседание Исторического общества и видит следующую картину. За столом сидят члены Общества, все ученыя молодежь. Посредине сидит Герье, пьет чай и пережевывает сухарь. Глубокое молчание царит в комнате. Посидев немного в этой тишине, Герасимов спросил: «Заседание еще не начиналось?» Тогда Герье, вскинув на вопрошающего гневный взор, поучительно произнес: «Заседание давно открыто», — и опять умолк. Прошло еще несколько минут в гробовом молчании, и Герасимов встал и ушел. Потом мы узнали, что Герье на что-то рассердился и упорно замолчал, но не закрыл заседания. Все оторопели, и никто не решился попросить слова. Это немое заседание продолжалось довольно долго.

Вторым представителем кафедры всеобщей истории был тогда Павел Гаврилович Виноградов, впоследствии профессор Оксфордского университета, скончавшийся в 1926 г. Тогда это был стройный, красивый, молодой профессор, являвшийся на кафедру не иначе как в черном фраке и белом галстуке.

Он читал нам курсы по истории средних веков и по истории Греции. Сопоставление лекций Виноградова и лекций Герье сразу бросало свет на прогресс исторической науки. Как ни были полезны и педагогичны лекции Герье, от них веяло старомодными приемами исторического изучения.

Виноградов поднимал нас на высоту новейших научно-исторических проблем. Его курсы — особенно курс по средним векам — были для первокурсников трудноваты и требовали усиленного внимания. Зато они заставляли нас подтягиваться и работать головой. Великолепно ставил Виноградов занятия в своем историческом семинарии. Ни Ключевский, ни Герье не шли вровень с ним в этом отношении. Ключевский слишком заполнял семинарий собственными импровизациями. Тут каждое слово было драгоценно, — только лови налечу блестящие искры научной мысли, — но на долю участников семинария доставалась более пассивная роль. Герье был ненаходчив и не умел придать семинарию характер коллективной работы. Виноградов же делал из своего семинария истинную школу исследовательской работы. Тут именно можно было учиться тому, как стать ученым. Он умел втянуть всех участников семинария в равномерную общую работу по исследованию исторических памятников и собственное направляющее руководство вел так, что оно линии, возбуждало самостоятельность руководимых. Я участвовал в его семинарии по изучению Салической правды, и эти наши собрания принадлежат к числу лучших моих воспоминаний из поры студенчества. Вместе с тем Виноградову был присущ дар группировать около себя преданных учеников, формировать школу, сплоченную общими научными интересами. Это общение удерживалось и по окончании университетского курса. Виноградовские семинаристы («павликиане», как их называли по имени Павла Гавриловича) были приглашаемы затем на дом к профессору, где они встречались с более старшими историками и где велись научные собрания более высокого типа; там разбирались новинки научно-исторической литературы, там работавшие над подготовкой диссертаций делали предварительные сообщения о своих изысканиях и только что покинувшие студенческую скамью неопиты исторической науки сходились с историками ряда предшествующих выпусков. Так, гостеприимная квартира П.Г. Виноградова в небольшом домике священника Словцова в Мертвом переулке была тогда центром оживленного общения московских историков. На этих собраниях мы слышали доклады Милюкова, Фортунатова, Виппера, А.Гучкова, Корелина, Иванова, Шамонова, Беляева, Кудрявцева, Петрушевского, Гусакова, Бруна, Мануйлова и

многих других. По каждому докладу сам хозяин всегда имел наготове ряд интереснейших соображений, и вечер протекал в увлекательной научной беседе. Независимо от этих научных собраний, в другие дни в тот же домик сходились уже не одни историки, но более разнообразное общество. Здесь мы видели Ключевского в непринужденной приятельской обстановке и наслаждались блесками его юмора, здесь Милюков, с головой ушедший тогда в архивы, излагал свои открытия по истории петровских реформ; Степан Федорович Фортунатов со звонко-раскатистым смехом рассказывал разные эпизоды из прений в английском парламенте, известные ему с такими подробностями, как будто он только вчера приехал из Лондона; Николай Яковлевич Грот, блестя красивыми глазами, заводил философские прения; иногда появлялись иногородние гости — Кареев из Петербурга, Лучицкий из Киева и т.д. И молодые «павликиане», только что вылупившиеся из яйца, вбирали жадно все эти впечатления, как бы продолжая тем самым свое университетское образование.

Я остановился с некоторою обстоятельностью на трех профессорах-историках, которые имели ближайшее отношение к моим научным интересам. Теперь более кратко помяну других тогдашних преподавателей нашего факультета.

Историю русской литературы нам читал Николай Саввич Тихонравов. Это был один из тех ученых, труды которых представляют собою руководящие вехи на столбовой дороге развития науки. Он считал себя учеником Шевырева. Но, конечно, он лишь отдавал этим дань благодарности школьным воспоминаниям.

Своей исследовательской деятельностью он начинал собственную «тихонравовскую» полосу, в разработке истории русской литературы создавал собственную «тихонравовскую» школу. Глубоко запуская исследовательский заступ в неизданные, рукописные сокровища русской литературной письменности и вводя в оборот научного изучения целые новые ее отделы. Вслед за Буслаевым Тихонравов явился основоположателем этой области русской науки. Он придавал своим исследованиям очень широкий размах. Большую роль в его анализе играл всегда сравнительно-исторический метод. Явление русского литературного развития он ставил в тесную связь с

течениями мировой литературы. Эту точку зрения применял он и к древней русской литературе, и к литературным фактам XVIII и XIX столетий. Все напечатанное Тихонравовым составляет лишь малую часть того, что было им выработано в его лаборатории. Большой утратой для науки является то обстоятельство, что остались неопубликованными его университетские курсы, в которых он излагал результаты своей текущей кабинетной работы. Только с опубликованием этих курсов фигура Тихонравова как исследователя встала бы во весь рост перед ученым миром.

После Ключевского это был самый блестящий лектор на нашем факультете. Его лекторская манера была иная, нежели у Ключевского. Если Ключевский сопровождал свое артистическое чтение выразительной мимикой нервно-подвижного лица, то Тихонравов, обладавший плотной фигурой, сидел на кафедре во время лекции, словно застыв в неперемняемой позе, и ни одна черточка его круглого лица с коротким носом в больших очках с черепаховой оправой, бывало, не дрогнет в то время, как вся аудитория оглашалась взрывами бурного смеха, лишь только он начнет своим звучным, низким баритоном выразительно цитировать остроумные и характерные речения древних памятников. Чем курьезнее была цитата, тем строже было выражение как бы застывшего лица лектора и тем внушительнее звучали полновесные, как бы даже несколько торжественные интонации его красивого баритона.

Подобно Ключевскому, Тихонравов излагал лекции удивительным по красоте и меткости чистым русским языком. Он был первоклассным оратором. Он мог держать во власти своей речи любую аудиторию и умел, когда было нужно, переломить в свою пользу настроение слушающей его толпы. Долгое время Тихонравов был ректором Московского университета. Однажды, когда разбушевалась одна из студенческих «историй», многочисленная сходка, собравшаяся в актовом зале, послала за Тихонравовым, причем в этом приглашении прямо было сказано, что требует к себе ректора, чтобы побить его. Конечно, никто и не помышлял о том, что ректор явится на такое приглашение. Просто это была выходка разъярившейся толпы. А Тихонравов взял да и явился на сходку как ни в чем не бывало.

Толпа замерла при его появлении. Протеснившись к кафедре, он поднял руку в знак желания говорить. Среди водворившейся глубокой тишины зазвучал спокойный и уверенный голос Тихонравова. Надо заметить, что Тихонравов сильно шепелявил, свистящие согласные выговаривал как шипящие. Но, как Ключевскому легкое заикание не мешало очаровывать слушателей своей речью, так и шепелявость Тихонравова нисколько не вредила обаятельности его ораторского таланта. Говорил он на этот раз не особенно долго, красота каждой фразы соединялась с глубокой обдуманностью сказанного, притекавшей из превосходного знания психологии студенческой толпы. В одном месте речи оратор прослезился. И когда он кончил, толпа, собиравшаяся его бить, с торжеством вынесла его на руках. Прямо из университета он поехал в Екатерининскую больницу, где собралась другая большая сходка, по большей части состоявшая из студентов-медиков. Тихонравов слово в слово повторил ту же речь и на том же самом месте прослезился. И такая же бурная овация была ему наградой и на этот раз.

Иного рода ораторские триумфы пожинал он на годовых университетских актах. Во время ректорства Тихонравова шла упорная борьба между Советом Московского университета и Катковым, редактором «Московских ведомостей» и арендатором университетской типографии. Борьба эта, связанная со сложными материальными отношениями Каткова к университету, принимала налет политической пикировки, ибо Катков не упускал случая, чтобы в своей газете не замахнуться на университет обвинением университетской корпорации в политической неблагонадежности. И вот ежегодно на университетском акте в Татьянин день Тихонравов давал Каткову отпор, включая в свою ректорскую речь несколько пикантных пассажей с тонкими ехидными намеками на неблаговидную роль Каткова в университетских делах. Эти намеки представляли собой мастерские образцы ядовитого остроумия, корректного по форме, но попадавшего по назначению не в бровь, а в глаз. И потом на всех многочисленных пирушках в течение Татьянина дня смаковались эти крылатые словечки Тихонравова. А Тихонравов произносил их по своему обыкновению строго-величавым голосом, с бесстрастным выражением лица. Он вообще был очень сдержан в проявлении своих чувств.

Об этом интересно говорит Ключевский в своих воспоминаниях о Тихонравове. Оба они были завзятые рыболовы и любили ловить рыбу вместе. И вот Ключевский сообщает: «Тихонравов никогда не выходил из себя, даже когда ему приходилось слышать какую-нибудь чрезвычайную нелепость из области его специальности, он безмолвствовал, только в глазах его появлялось, — говорит Ключевский, — точно такое же выражение, которое я видел в них, когда однажды Тихонравов поймал большого окуня, а я его упустил».

Величайшим несчастьем было то, что Тихонравов страдал приступами запоя. И тогда он надолго скрывался с университетского горизонта. В первый год моего студенчества он прочел нам несколько истинно вдохновенных лекций о протопопе Аввакуме и раскольнической письменности, и, увы, — после этого до конца учебного года мы его уже не видели и не слышали.

Курсы по истории всеобщей литературы нам читали Николай Ильич Стороженко и Алексей Николаевич Веселовский (брат знаменитого Александра Николаевича). Оба были чрезвычайно милые люди, приветливые, общительные, хорошие знатоки своего предмета, но к числу ученых светил не принадлежали. Стороженко отличался живым остроумием, а Веселовский более брал чувствительными красотами слога. Его речь так и пестрела словами «мечты» и «грезы». Я как-то решил в течение месяца ходить на каждую его лекцию, чтобы проследить, обойдется ли хоть одна лекция без «грез». Я приходил на лекцию и после первых «грез» уходил. Опыт показал, что без «грез» Веселовский не мог прочесть ни одной лекции.

Среди лингвистов у нас были перворазрядные ученые светила: Федор Евгеньевич Корш и Филипп Федорович Фортунатов. Корш был поистине гениальным языковедом. На всех языках он говорил, как на родном, включая сюда и всевозможные наречия мелких племен. Ключевский говаривал, что Корш был главным секретарем при вавилонском столпотворении. Его филологические комбинации были блестящи; в них ярко сверкала творческая мысль. Он обладал колоссальной памятью; знал наизусть стихи всех мировых поэтов; о классической литературе уже и говорить нечего. И при всем непрерывном кипении своей творческой мысли он печатан очень мало. Его

литературное наследие и в отдаленной степени не соответствует тому богатству идей, которое он с расточительностью гения разбрасывал направо и налево в устных сообщениях. Наружность его была безобразна. Маленький, сухопарый, с подобием каких-то перьев вместо волос на голове, подслеповатый, с большим (и, как говорили, приставным) носом, он мог бы производить отталкивающее впечатление. Но это безобразие скрашивалось отпечатком его искрометного ума. Он был великим победителем женских сердец. Даже под старость у этого сатирического Дон Жуана не переводились романтические приключения. В связи с одной из этих любовных историй он даже временно покинул Московский университет и перевелся на кафедру в Одессу.

Не отличался литературной плодовитостью и другой крупный наш лингвист, Филипп Федорович Фортунатов. Он читал нам курс сравнительного языковедения. Специалисты упивались его лекциями. Для неспециалистов слушать его было очень тяжело. С чрезвычайной скупостью отмеривал он слова, и для понимания его лаконического изложения требовалась солидная подготовка. Он почти ничего не печатал. А западноевропейские корифеи лингвистики добывали через его учеников литографированные записки его лекций, в которых заключались крупные научные откровения. Он страдал некоторой глухотой. В противоположность многим глухим он не был разговорчив. Сидя в компании, он часами хранил глубокое молчание. Иногда в его присутствии шли оживленные филологические споры, а он упорно молчал, как будто безучастный к спору. И когда спорщики исчерпают все доводы и впадут в полное утомление, вдруг оказывалось, что у Фортунатова давно уже готово такое решение спорного вопроса, перед которым умолкали все разногласия.

Другим языковедом был тогда Дювернуа, брат талантливого петербургского профессора гражданского права. Станный это был профессор. Он ходил по Москве, словно иностранец, неожиданно для себя попавший в русскую столицу. Его речь была весьма нелепа для русского уха. Я слышал, как он, идя по улице и желая поторопить бабу, медленно шедшую перед ним и мешавшую ему идти, говорил ей: «Поселянка, прогрессируй» — и искренне удивлялся, что баба его

не понимает. Надо сказать, что и студенты в такой же мере не могли понять его лекций. Эти лекции пестрели выражениями, смысл которых составлял тайну лектора. Встречались такие фразы: «Тяжеловесность увлекает легкомысленность из области полугласия в область полногласия». Студенты ходили к нему за объяснениями, но он, широко открывая глаза, говорил удивленно: «Но, друзья мои, ведь это же ясно». На том и кончалось объяснение. Он любил очень часто употреблять в лекциях никому непонятное выражение «этимологический бомбаст». И этот «бомбаст» однажды спас одного студента от великого посрамления на экзамене.

Студент был бойкий, легкомысленный и беззаботный по части филологии. На экзамене Дювернуа задает ему разъяснить корень в слове тризна. Студент как ни в чем не бывало начинает описывать обряд тризны по умершем. Дювернуа только что хочет его остановить, как является попечитель учебного округа кн. Мещерский, совершенный рамолик, и, слушая ответ студент, подговаривает: «Прекрасно, прекрасно». Студент разливается соловьем о тризне, устроенной Ольгой по Игорю Дювернуа не решается вмешаться при попечителе, но зеленеет от злости. Но вот попечитель благодарит студент и удаляется. Тогда Дювернуа, сверкая гневными глазами, говорит студенту: «Ну-с, за все это я задам вам теперь только один вопрос и если вы на него не ответите, то никогда не пропущу вас на следующий курс (тогда были экзамены не по предметной, а по курсовой системе): как называется такая-то форма?» Студент чувствует, что валится в пропасть; вдруг спасительная мысль блеснула в его мозгу, и он отвечает: «Этимологический бомбаст». Дювернуа, услышав любимое слово, приятно улыбается и ставит студенту переводную отметку: три с минусом.

Кафедру латинской словесности занимал тогда Гавриил Афанасьевич Иванов. Я уже упоминал о нем выше, говоря о том, как находчиво он умиротворил студенческую сходку. Это был человек примечательный. Говорили, что он занимал когда-то должность почтового смотрителя и досуги посвящал изучению классиков. Проезжал как-то по тракту профессор Леонтьев, знаток классической словесности. Сидя в комнате смотрителя в ожидании лошадей, он

бросил взгляд на полку с книгами и к своему изумлению увидел, что там стоят творения Овидия, Горация, Тита Ливия и т.п. «Кто же здесь читает эти книги?» — спросил удивленный профессор. — «Это я-с», — отвечал смиренно стоявший у двери почтовый смотритель. Профессор разговорился с неожиданно встреченным им любителем древних классиков, и результат разговора был тот, что почтовый смотритель был выгашен из провинциальной глуши в Москву и в конце концов занял университетскую кафедру.

И стал он прекрасным профессором. Он переводил нам Цицерона. Его комментарии были глубоко поучительны, а его перевод обличал в нем тонкого, образцового стилиста. Читал он лекции постаромодному; слова «милостивые государи» не сходили у него с языка; говоря о Греции, он придавал голосу мягкий оттенок, а о Риме говорил не иначе как мужественным басом.

На вид это был — замухрышка, облик мелкого чиновника отпечатлелся на нем на всю жизнь, но это не мешало ему являться в своих лекциях элегантнейшим преподавателем своего предмета. Он сохранил навсегда смиренные манеры и сам говаривал, что его не покидает *memoria servitutis* — память о прежнем низком положении. Но под кровом этой внешней приниженности таился немалый запас язвительности, которая временами давала собеседнику почувствовать свой острый коготок.

Греческую словесность читал нам Зубков — олицетворение бездарности. Полный и рыхлый, румяный и кудрявый, с пухлым лицом вербного херувима, он без всякого одушевления тянул лямку преподавания. На лекцию являлся не ранее как минут за десять до заключительного звонка и что-то наскоро бормотал себе под нос о том, на какой полке той или иной библиотеки лежат те или иные рукописи. Никто его не слушал, да, кажется, и сам он не вникал в свое бормотание. Кончил он плохо: в психиатрической лечебнице.

Другим профессором греческого языка и словесности был А.Н. Шварц — потомок масона Шварца, профессорствовавшего в Московском университете в XVIII столетии и дружившего с знаменитым Новиковым. Высокого роста, с надменной осанкой, он держал себя с претензиями, которые, кажется, не соответствовали его научным

заслугам. В сущности, он был хорошим преподавателем средней школы, но в области университетской науки не возвышался над уровнем посредственности. Докторскую диссертацию он написал уже в старости, и это было настолько скромное произведение, что защищать его он предпочел где-то в провинции. Львиную долю своего времени он отдавал административной деятельности, был директором гимназии, потом — директором Межевого института (почему туда назначили директором классика и что понимал Шварц в межевых дисциплинах — это для всех было тайной), потом — попечителем Московского учебного округа, потом — министром народного просвещения. На двух последних постах он не стяжал никаких лавров и явил собою типичного бюрократа, самоуверенного педанта, закрывающего глаза на живую действительность, но весьма много мнящего о собственной непогрешимости.

Наконец, надо назвать еще одного классика: И.В.Цветаева (отца современной поэтессы), читавшего историю античного искусства и римские древности. О нем многого мне сказать нечего, я мало знал его, и наблюдать его мне почти не приходилось. Помню только, что он особенно увлекался тогда римской эпиграфикой. М.М.Ковалевский рассказывал, что, гуляя как-то раз по маленькому городку в Италии, он увидел, что под самый карниз какой-то башни подвешена корзина, в которой копошится человеческая фигура. «Ну кому же сидеть в этой корзине, как не Цветаеву», — предположил Ковалевский, и тотчас сверху послышался голос Цветаева: «Здравствуйте, Максим Максимович, а я тут всю неделю в этой корзине, — преинтересная тут надпись, еще не дешифрованная».

Представителем философской кафедры при моем поступлении в университет был Троицкий. Это был плотный, упитанный мужчина, его румяные губы под густо нафабранными усами, толстый упитанный подбородок с выразительным кадыком, лоснящиеся щеки, сочный и смачный низкий баритон — все свидетельствовало о том, что перед нами — сибарит, знающий толк в жизненных радостях, умеющий понежить и ублажить грешную плоть. И точно: о белорыбице он говорил с не меньшим смаком, нежели о философии. Однако и в философии он собаку съел. Печать недюжинного ума светилась

на его упитанной физиономии. С превосходной выразительностью и чрезвычайной отчетливостью мысли излагал он свой предмет. На диспутах он оказывался великолепным дебатером. Но ум его — точный и ясный — был какой-то застывший на определенных зарубках, чуждый тревоги искания, раз навсегда успокоившийся на добытых результатах. Владимир Соловьев чрезвычайно остроумно в одной своей статье сравнил ум Троицкого с аквариумом, наглухо закрытым со всех сторон, красивым и содержательным, но не знающим никаких треволнений, бурь и водоворотов.

Там все — безмолвно, спокойно, неподвижно и раз навсегда очерчено стеклянным футляром. Примечательно, что Троицкий читал только логику и психологию (теорию ассоциаций) и совсем не вводил в свое преподавание истории философии. К метафизическим системам великих немецких философов он питал пренебрежительную неприязнь, и когда ему случалось с кафедры упоминать о них, он приговаривал жирным баритоном: «Эго все — дрова, милостивые государи, только дрова, и потому отправим их в печь». Говорили, что когда-то он принялся за преподавательскую деятельность с пылом и одушевлением. Но сразу получил с двух противоположных сторон неприятный афронт. Начальство дало ему понять, чтобы он в некоторых вопросах держал язык за зубами, а студенты освистали его за строгость на экзаменах. Тогда он сложил ручки на животике и быстро решил, что окружающие его людишки не стоят того, чтобы из-за них донкихотствовать и нарушать свой душевный покой. И он начал вести свою работу на кафедре серьезно, но уже без всякого пыла и одушевления, никого не задевая, ко всем снисходя и, — я уверен, — в глубине души всех презирая. Лекции свои он разжигал балагурством, подчас спускавшимся до паясничества. «Господа, — говорил он, например, пуская густые баритональные ноты, — не читайте произведений Владиславлева (профессора Петербургского университета), там такие туманы, что можно схватить насморк, вот — мои произведения: просто, ясно... хорошо!» И надо сказать, точно было хороно, если решить замкнуться в тех рамках, которые ставил себе и нам Троицкий, ибо из-за балагурства вдруг сверкала у него подлинная научная мысль, освещенная незаурядным талантом блестящего по ясности и точности изложения. Экзамены он превращал в фарс, в

сущности оскорбительный для студентов. Студент подходил к столу, произносил буквально два-три слова, и Троицкий уже вычерчивал пятерку. Однажды случилось так, что, наскучив писать только пятерки, Троицкий поставил четыре студенту, который даже еще совсем не успел открыть рта для ответа. Студент попался вспыльчивый и нахальный. Он разразился протестами в самой оскорбительной, чуть ли не бранной форме. Троицкий слушал эту брань с самой благодушной улыбкой. Студент среди своей негодующей речи бросил взгляд в экзаменационный лист, и там четверка уже давно была переделана на пятерку. Увидев это, пылкий обличитель и протестант поперхнулся на полуслове и опрометью бросился из аудитории. Этой презрительной снисходительностью Троицкий мстил студентам за те свистки, которые некогда, много лет тому назад, раздались по его адресу за строгость на экзаменах. Конечно, студенты на такую месть нисколько не претендовали. А в общем, все-таки крупный ум и талант Троицкого на поверку остались пустоцветом, и он не дал науке того, что мог бы дать, если бы в его душе горел огонь философских исканий. Но вот огня-то и не было, а был только лунный свет, спокойный и холодный.

Когда я был уже на третьем курсе, в Московский университет перешел с юга новый философ, Николай Яковлевич Грот. Это был во всех отношениях полный антипод Троицкого. То был уже не аквариум, а стремительный каскад, прыгающий, бурливый, пенящийся. Грот был малого роста, но лицо его было изумительно красиво. Густые черные кудри обрамляли его голову. Под благородным лбом сияли прекрасные глаза. Изящно очерченный рот оттенялся небольшой бородкой. Он говорил высоким музыкальным тенором. Он внес с собою на философскую кафедру нашего факультета новую струю. Вместо отчеканенного, но застывшего позитивизма Троицкого перед нами засверкали всевозможными переливами широкие метафизические построения. В курсах Грота не было выдержанной стройности. Выйдет какая-нибудь новая книга, Грот заинтересуется ею и тотчас несет ее на лекцию; начатое было изложение отодвигается в сторону, и мы слушаем импровизацию на неожиданную тему. Самая речь Грота, торопливая, быстрая, растекающаяся, отражала на себе его характер и его мышление. Это был человек чрезвычайно живой,

кипящий, но в его живом кипении не чувствовалось подлинной глубины. Притом он обнаруживал порою какую-то обезоруживающую наивность. Помню, как-то раз он взялся нарисовать нам типичный образ истинного философа, начиная с наружности. Мы сидели, кусая губы и давясь от сдерживаемого схема: Грот подробно описывал собственную свою наружность! Скоро Грот проявил организаторские таланты. Еще по мысли Троицкого при Московском университете возникло Психологическое общество. Троицкий предполагал объединить в этом Обществе работу философов-психологов и представителей естествознания — физиологов и биологов. Но лишь только появился Грот, Троицкий как-то стусевался и махнул рукой на собственное детище. А Грот и быстро сгруппировавшаяся около него компания молодых философов придали Психологическому обществу совсем иное направление.

Троицкий не создал никакой школы. Единственный молодой московский философ, тяготевший к направлению Троицкого — Белкин, — был весьма бездарен. А вся талантливая молодежь, занимавшаяся философией, стояла в оппозиции Троицкому и погружалась как раз в метафизические проблемы. Во главе этой молодежи находились Лопатин, Сергей Трубецкой и — крупнейший алмаз того философского поколения — Владимир Соловьев, уже не связанный формально с Московским университетом, но представлявший собою истинную душу того философского кружка, который с распростертыми объятиями принял к себе Грота, во всех отношениях подошедшего к этой тесной дружеской философской компании. Эта компания и завладела Психологическим обществом, превратив его в философское общество в широком смысле слова. Нечего и говорить, что Троицкий там не показывался. Психологическое общество сыграло видную роль в культурной жизни Москвы. Заседания привлекали многочисленную публику. Кроме того, нашелся меценат, с помощью которого возник печатный орган этого Общества, журнал «Вопросы философии и психологии». Тот же меценат — один из Абрикосовых — собирал после заседания членов общества к себе на ужин, и тут-то разворачивалась блестящая беседа, в которой философские споры перемежались со всевозможными шутивными импровизациями. Лопатин мастерски рассказывал всякие страшные истории с приви-

днями и делал такое проникновенно-таинственное лицо, что всем становилось жутко; Владимир Соловьев сверкал юмористическими пародиями; Сергей Трубецкой читал свои сатирические сказки.

На одном из таких-то ужинов был поставлен на баллотировку вопрос о том, существует ли Бог, и, к сожалению, я не знаю, каким количеством голосов, вопрос был решен утвердительно. Про эти-то ужины составлено было четверостишие:

Среди позитивизма скал,
Средь метафизики утесов
Один Алеша Абрикосов
Нам верный выход указал.

Пора кончать эти воспоминания. Не могу, однако, их кончить, не сказав несколько слов еще о двух моих университетских преподавателях. С 1886 г. — по новому уставу — возникла приват-доцентура. Одними из первых приват-доцентов перед нами явились П.Н.Милюков и С.Ф.Фортунатов.

Милюков, тогда весь погруженный в кабинетные исследования и архивные изыскания, читал нам специальные курсы по историографии, по истории колонизации, по обзору начатков исторической жизни на русской равнине. Все эти курсы представляли собой самостоятельные монографические исследования. К сожалению, из них первый курс по историографии, да и то лишь в первой своей части, превратился затем в книгу («Основные моменты развития русской исторической мысли»). Между тем из этих курсов могли бы вырасти такие же фундаментальные монографии, какой является и книга о государственном хозяйстве России при Петре Великом. Лекции Милюкова производили на тех студентов, которые уже готовились посвятить себя изучению русской истории, сильное впечатление именно тем, что перед нами был лектор, вводивший нас в текущую работу своей лаборатории, и кипучесть этой исследовательской работы заражала и одушевляла внимательных слушателей. Лектор был молод и еще далеко не был искушен в публичных выступлениях всякого рода. Даже небольшая аудитория специального состава

волновала его, и не раз во время лекции его лицо вспыхивало густым румянцем. А нам это было симпатично. Молодой лектор сумел сблизиться с нами, и скоро мы стали посещать его на дому. Эти посещения были не только приятны по непринужденности завязывавшихся приятельских отношений, но и весьма поучительны. Тут же воочию развертывалась перед нами картина кипучей работы ученого, с головой ушедшего в свою науку. Его скромная квартира походила на лавочку букиниста. Там нельзя было сделать ни одного движения, не задев за какую-нибудь книгу. Письменный стол был завален всевозможными специальными изданиями и документами. В этой обстановке мы просиживали вечера за приятными и интересными беседами. А мне думалось порой: с каким удовольствием любезный хозяин после нашего ухода останется один и вернется к работе, от которой мы его оторвали. Мы не сомневались, что имеем дело с человеком, который наполнит нашу ученую литературу многочисленными фундаментальными историческими трудами. И точно, он сделал немало в этой области. Но сделанное им составляет лишь небольшую долю того, что он непременно совершил бы, если бы не потянуло его на иные пути, на иную арену.

Степан Федорович Фортунатов — брат языковеда, о котором говорилось выше, — представлял собою полную противоположность своему брату. Насколько Филипп Федорович был молчалив и тих, настолько Степан Федорович отличался живой общительностью, подвижностью и шумливостью. Он был маленького роста и ходил на гнома с большой головой и длинной бородой. В профиль он был очень похож на Сократа. Под широким лбом сверкали на его лице маленькие острые глазки, точно два колючих буравчика. Он говорил без умолку, с необычайной живостью, звонко отчеканивая слова, которые неудержимо сыпались одно за другим, и то и дело сопровождая возбужденную речь взрывами громогласного залихватого смеха. Нередко эти взрывы смеха врывались в его речь и на кафедре, во время лекции, и смех был так заразителен, что вся аудитория громыхала ответным бурным смехом, который в свою очередь заражал и лектора, махавшего маленькими ручками в такт своему раскатистому хохоту. Лишь с трудом утихала эта буря смеха и лекция входила наконец в нормальные берега. Степан Федорович читал

курсы по истории Англии, Соединенных Штатов Северной Америки, французской революции. Он обладал феноменальной памятью. Политическая история Англии и Северо-Американских Соединенных Штатов была ему известна в таких мельчайших подробностях, как будто это была его личная биография. Он давал уроки и в средне-учебных заведениях в течение долгих лет, и вот мне приходилось быть свидетелем таких случаев: подходит к нему пожилая дама, когда-то, много лет тому назад учившаяся у него в гимназии. Он сразу узнает ее, безошибочно называет ее девическую фамилию и сейчас же напоминает ей, какие она сделала ошибки, отвечая ему когда-то на выпускном экзамене. С такую же точностью знал он и всю подноготную английских и американских политических деятелей всех эпох и представлял собою, как бы сказать, живую, ходячую летопись парламентской жизни этих стран. При этом он обладал даром увлекательного драматического изложения и передавал перипетии парламентских конфликтов былых времен с таким увлечением, как будто бы тут ставилась на карту его собственная политическая карьера. Можно себе представить, какой успех имели его лекции в его аудитории, битком набитой слушателями.

Степан Федорович Фортунатов был энтузиастом культа политической свободы. Он с жаром отстаивал идеи конституционализма и личных гражданских вольностей. Нередко его упрекали в приверженности к доктрине старого либерализма манчестерского типа. Эти упреки были, конечно, неосновательны. У нас в России, за самыми лишь немногими исключениями, сторонники либеральной доктрины вовсе не стояли за принцип *laissez faire*, а напротив того, придавали большое значение государственному вмешательству в экономические отношения в интересах социальной справедливости. И Степан Федорович не был, конечно, манчестерцем. Но он, на мой взгляд, правильно полагал, что русская интеллигенция склонна была скорее недооценивать, нежели переоценивать значение политической гарантии личных свобод, упуская из виду, что правомерная свобода личности, — и сама по себе составляя великое благо, — служит в то же время необходимой предпосылкой, необходимым условием и всех тех социальных преобразований, которые вызываются требованиями социальной справедливости. И потому он считал нужным именно на

этом пункте нажимать педаль, именно эти дорогие ему начала выдвигать на первый план, пропагандируя их в научно-историческом освещении. Превосходный лектор, он имел какое-то органическое отталкивание от писания. Он не написал ни одной сколько-нибудь объемистой книги. Его литературная производительность ограничилась двумя очень небольшими книжками: «Генри Вен» и «Федералист» (американский политический журнал) — и затем короткими газетными статьями и рецензиями. Чтобы оценить его знания и его одушевление, надо было слышать его устную речь — на кафедре или в приятельской беседе.

Он был очень неряшлив и нечистоплотен. Его длинная борода всегда свидетельствовала о меню съеденного им в тот день обеда. Его сюртук был истерт и ветх. Он не признавал ни воротничков, ни манжет. Когда он читал на курсах Герье, то Герье, шокированный его костюмом, подарил ему как-то запонки для манжет. Фортунатов не понял или не захотел понять намека, запонки взял и даже хвастался этим подарком перед курсистками, но манжет по-прежнему не носил. Рассказывали, что ему однажды кто-то хотел подать милостыню, приняв его по виду за нищего. Итак, по платью и по внешности он мог произвести на иных на первых порах неприятное впечатление. Но все это забывалось и прощалось, когда начинала звучать его оживленная речь. Тогда приходили на память стихи Лермонтова про Одоевского:

Он сохранил
И звонкий детский смех, и речь живую,
И веру гордую в людей и жизнь иную.

На этом я прощаюсь с моими студенческими воспоминаниями. И приятно и грустно вспоминать о том, что пережил на «утре бытия». Так и просеются на уста восклицания Гоголя: «О, моя юность, о моя свежесть!» Но не буду поддаваться лирике и перейду к дальнейшему эпическому повествованию.

Глава II. Диктатура сердца. Славянофильский компромисс

I

Я приехал в Москву для поступления в университет в то время, когда политический барометр быстро скользил вниз, но еще не было вполне ясно, где он остановится в своем падении и какая политическая погода настанет в России на ближайший период времени после всех предшествовавших политических пертурбаций.

Для разъяснения особенностей этого момента (лето 1884 г.) не лишним будет напомнить читателю события, незадолго до того пронесшиеся над Россией.

В 1879 г. исполнительный комитет возникшей тогда партии «Народной воли» поставил себе задачей вызвать крушение самодержавия посредством подпольного политического террора. Было решено умертвить императора Александра II в той уверенности, что акт царубийства повлечет за собою общий политический переворот. Сначала революционеры вознамерились взорвать императорской поезд во время возвращения Александра II из Крыма в Петербург. Были сделаны подкопы под полотно железной дороги близ Одессы и близ Москвы. Но по случайному стечению обстоятельств императорский поезд благополучно миновал эти опасности. Тогда была предпринята еще более разительная попытка произвести взрыв внутри Зимнего дворца с таким расчетом, чтобы жертвою взрыва сделалась сразу большая часть членов императорской фамилии. Один из членов партии «Народной воли» Халтурин, поступил печником во дворец и в течение продолжительного времени систематически приносил туда динамит и складывал его в печь, которая находилась под императорской столовой. Когда накопилось достаточное количество динамита, решено было произвести взрыв во время собрания императорской фамилии за общим столом. Случай к тому представился 4 февраля 1880 г.: в этот день вся царская фамилия должна была чествовать парадным обедом во дворце болгарского князя Александра Баттенбергского. Но поезд с болгарским князем несколько запоздал и изрыв

последовал в тот момент, когда дворцовая столовая была еще пуста. Таким образом, и это покушение не удалось: погибло только несколько десятков караульных солдат, находившихся в помещении, смежном с царской столовой.

Взрыв, произведенный в самом дворце, вызвал величайшую тревогу в правящих кругах. Все приходило к мысли о необходимости какой-нибудь чрезвычайной меры для умиротворения страны и предотвращения дальнейших террористических актов.

8 февраля 1880 г. Александр II созвал экстренное совещание министров. Присутствовавший на совещании наследник, будущий император Александр III, выступил с предложением учредить верховную следственную комиссию с чрезвычайными полномочиями. Александр II сначала колебался, но на следующий день, вновь собрав министров, заявил, что он пришел к решению расширить и несколько видоизменить предложение наследника. Так состоялось учреждение «Верховной распорядительной комиссии» с полномочиями диктаториального характера. На эту комиссию возлагалась задача: 1) истребить крамолу и 2) наметить план таких мероприятий, которые вернули бы страну к нормальному течению государственной жизни.

Председателем Верховной комиссии был назначен генерал Лорис-Меликов.

Выдвинувшись во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. взятием Карса, Лорис-Меликов был затем назначен Харьковским генерал-губернатором и на этом посту обнаружил блестящие таланты администратора, выразившиеся в том, что он сумел одновременно и разбить энергическими мерами местные революционные организации, и возбудить к себе доверие со стороны либерально настроенной легальной части местного общества. Такую точно задачу поставил он теперь перед собой по отношению уже ко всей России. Обуздать крамолу, положить конец революционному террору и установить точки сближения между правительством и легальной либеральной оппозицией в среде общества — такова была руководящая мысль, которую Лорис-Меликов полагал в основу своей программы, становясь во главе «Верховной распорядительной комиссии». Карающий меч, обвитый мирной оливой, — вот что избрал он своим оружием:

меч для подпольных террористов, олива для либеральной оппозиции. Разумеется, и революционеры и реакционеры встретили эту программу с одинаковой враждебностью. Революционеры тотчас сложили про Лорис-Меликова язвительную песенку, которая пошла по устам:

Мягко стелет, жестко спать, —
Лорис-Меликовым звать.

А литературный вождь реакционеров Катков пустил в ход крылатое словечко, назвав систему Лорис-Меликова иронической кликой «диктатуры сердца».

Во всем этом видно было желание набросить тень на добросовестность и искренность политики Лорис-Меликова, представить его «лукавым царедворцем» с пушистым лисьим хвостом и волчьей пастью. Между тем такая характеристика нимало не соответствовала действительности. По всей справедливости надо признать, что Лорис-Меликов был одушевлен искренним желанием парализовать крамолу, переведя политику правительственной власти на рельсы широкой либерально-демократической программы. Искренность этого его намерения сквозит в самых его действиях за то время, когда он стоял у кормила власти; о ней свидетельствуют и отзывы о нем таких хорошо знавших его лиц, которые известны передовым образом мыслей и очень строгой оценкой людей. Достаточно указать на то, что Лорис-Меликова высоко ценил такой строгий судья людей и их деяний, как Салтыков. Мы имеем такие же положительные отзывы о чистосердечности политических намерений Лорис-Меликова и от таких лиц, как Белоголовый, Кошелев, Кони. Надо только отметить, что наряду с двумя враждебными Лорис-Меликову легендами о нем — революционной и реакционной — возникла тогда же и третья легенда, вышедшая из кругов, благоприятно к нему настроенных и изображавшая Лорис-Меликова принципиальным сторонником конституционного строя. До сих пор еще приходится встречать людей, убежденных в том, что Лорис-Меликов представил Александру II проект конституции и убедил императора согласиться на

осуществление этого проекта и только убийство Александра II помешало тогда превращению России из самодержавной монархии в конституционную. Возникновение таких толков объясняется тем, что содержание проекта Лорис-Меликова было известно современникам только по глухим слухам, и в последующее время текст проекта долго оставался необнародованным. Но ведь теперь этот текст давно уже известен, и, прочитав его, нельзя не видеть, что никакого ограничения самодержавия в проекте Лорис-Меликова не заключалось и ни о какой конституции в нем не было и помину.

Изменение правительственной политики в либеральном направлении представлялось Лорис-Меликову лишь в виде возвращения к принципам первой норы царствования Александра II, к периоду освободительных реформ, к широким правительственным мероприятиям, направленным на материальное благоустройство освобожденной деревни, к развитию всесословного местного самоуправления — земского и городского, — к расширению свободы печати, к преобразованию податной системы на более демократических началах. Стоял он и за привлечение местных общественных деятелей к участию в подготовке законодательных мероприятий, но опять-таки в тех пределах и формах, которые считались допустимыми в либеральных правительственных кругах 60-х годов. Он делал только один маленький шаг вперед сравнительно с тем, что допускалось за 20 лет до того: он считал желательным ввести в состав самого Государственного совета некоторое количество (от 10 до 15) выборных членов, предоставив их выбор земским собраниям и крупным городам.

Все это, конечно, нисколько не удовлетворяло подпольных террористов, и всего этого было вполне достаточно для того, чтобы реакционеры возненавидели Лорис-Меликова как вредоносного радикала. Но каково было отношение к программе Лорис-Меликова со стороны той либеральной части общества, которая в своих устремлениях к правопорядку не хотела сходить с легальной почвы? Ведь это был как раз тот элемент общества, на который Лорис-Меликов рассчитывал как на свою опору. Тут — отношение было двойствен-

ное. Конечно, «либералы»⁴ приветствовали намерение власти вернуться к заветам «эпохи реформ», которые так потускнели во вторую половину царствования Александра II и даже заслонились началами, прямо им противоположными. Конечно, либералы приветствовали и расширение круга тех вопросов, которых разрешалось касаться легальной печати, и поднятие значения местного самоуправления, и политику, направленную на облегчение податного бремени масс, и завершение крестьянской реформы, и призыв земских деятелей к участию в подготовке законопроектов. Но существенное различие между лорис-меликовской программой и стремлениями либеральной части общества состояло в том, что Лорис-Меликов смотрел на положение своей программы как на конечный предел государственной обновительной работы, тогда как в глазах либеральной части общества это был лишь первый шаг к полному водворению в России правового порядка, основанного на конституционных гарантиях свободы и права. Лорис-Меликов стремился только вернуться к системе, которая была выдвинута в начале царствования Александра II, и этим исчерпывалась задача, которую он себе ставил. Но ведь и самая эта система — самодержавие, опирающееся на всесословное местное самоуправление, — принималась в свое время либеральной частью общества лишь как первый шаг к установлению конституционного режима, и опыт второй половины царствования Александра II мог только укрепить в обществе убеждение в том, сколь ненадежны и малоустойчивы либеральные уступки правительственной власти при отсутствии формально гарантированного правопорядка.

Это было разногласие весьма существенное. Но оно относилось к дальнейшему ходу событий; что же касается намерения Лорис-Меликова влить широкую либеральную струю в деятельность правительства и противопоставить революционному террору возвращение правительства на путь либеральных реформ, то в этом отношении

4 Я ставлю в кавычки слово "либералы", потому что у нас этот термин стал употребляться в разных смыслах, не соответствующих его действительному значению.

Лорис-Меликов мог, конечно, рассчитывать на сочувствие со стороны общества.

В борьбе с революционным подпольем Лорис-Меликов первоначально достиг больших успехов. Крупной удачей оказался для него арест Гольденберга, члена исполнительного комитета «Народной воли», убившего в 1879 г. харьковского генерал-губернатора кн. Кропоткина. Будучи арестован, Гольденберг дал обширные показания и выдал многих деятелей революционного подполья. Это дало возможность правительству произвести многочисленные аресты и на время парализовать работу террористов.

А одновременно с этим Лорис-Меликов приступал к проведению либеральной части своей программы.

При самом вступлении в должность председателя Верховной комиссии Лорис-Меликов обнародовал воззвание, в котором писал: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества».

Немедленно обществу был дан и некоторый залог предстоящего согласования правительственной деятельности с общественными настроениями. Залог этот состоял в некоторых перемещениях на высших государственных должностях; эти перемещения носили явно симптоматический характер и так именно и были восприняты общественным сознанием.

Громадное впечатление произвела тогда отставка гр. Дмитрия Толстого от должностей министра народного просвещения и обер-прокурора Синода. В 70-х годах Дмитрий Толстой сосредоточил на своем имени величайшую ненависть со стороны широких кругов общества. Его ненавидели как организатора так называемой «классической системы народного образования». Грубо ошиблись бы те, кто предположил бы, что эта ненависть проистекала из отвращения русского общества к античной культуре. Было нечто прямо обратное: античный мир стал тогда ненавистен многим русским людям как раз вследствие школьной реформы Толстого. Не от нелюбви к Гомеру, Софоклу, Цицерону и Горацию возненавидели россияне 70 — 80-х

годов Димитрия Толстого, а прямо наоборот: Толстой ухитрился посеять в русском обществе ненависть к греческим и римским классикам, которых так хорошо знали и любили многие образованные русские предшествующих поколений.

Почему же так могло случиться?

Дело состояло в том, что школьная реформа Толстого была направлена вовсе не на общеобразовательные, а на чисто политические цели. Тогда было решено построить программу преподавания в средней школе так, чтобы учащаяся молодежь была сколь возможно более отвлечена от вопросов современной жизни и от самостоятельной мыслительной работы. Таким путем надеялись предохранить молодое поколение от увлечения «неблагонамеренными» идеями. Естественные пауки были признаны опасными, как источник атеизма и материализма, и их было решено совсем изгнать из гимназического курса (только в реальных училищах, не дававших права поступления в университет, были оставлены жалкие их обрывки), история, история литературы были сочтены подозрительными, как соприкасающиеся с вопросами современности, и были допущены к преподаванию лишь в самой гомеопатической дозе. А наибольшее количество учебного времени решено было заполнить таким материалом, который направлял бы учеников на чисто формальную «гимнастику ума» вне всякой связи с обогащением ума положительными сведениями. Для этой-то цели Толстой и счел вполне подходящим использовать изучение мертвых классических языков.

На первый взгляд это может показаться непонятным. Идейное богатство античного мира насыщено элементами, весьма далекими от того, что разумелось в русских правящих кругах под «политическую благонадежность». Стоит только припомнить, какую важную роль в развитии свободомыслия и республиканских идеалов в поколении 10-х и 20-х годов XIX в. сыграли идеи и образы, почерпавшиеся именно из знакомства с античной культурой. Республиканскими героями античной эпохи бредили декабристы, и во времена Николая I как раз именно классицизм попал в опалу по этой самой причине. Каким же образом теперь к нему прибегли как к надежному противоядию против крамольного духа времени?

Дело было очень просто. В системе «классического образования» Дмитрия Толстого предметом изучения являлись вовсе не основы античной культуры и не произведения античной литературы, а сочиненные немцами грамматики латинского и греческого языков. В течение восьми лет гимназического курса ученики должны были до одурения зубрить многочисленные исключения из многочисленных грамматических правил в мертвых языках. Вот это-то и называлось «гимнастикой ума». Что же касается чтения классических авторов, то оно было поставлено так, что ученики были вполне застрахованы от возможности увлечься обаянием художественного творчества или своеобразием идей античной литературы. Читались какие-то разрозненные отрывки из нескольких авторов без всякой связи с целым произведением, и при этом чтении все внимание обращалось опять-таки на грамматический разбор. Получалась в буквальном смысле мертвая наука, которая не давала никакой пищи для ума и сердца. Сторонники системы утверждали, что на изучении грамматики Кюнера или Ходобая изощрается мыслительная способность. Известный философ Паульсен, очень остроумно критикуя эту систему в ее немецкой редакции (а ведь оттуда-то, от немцев, и мы ее заимствовали), сказал весьма метко, что стремиться развить ум посредством одних формально логических упражнений без обогащения ума положительными знаниями — это все равно что стремиться насытить организм при помощи одних глотательных движений горла, не вводя в него при этом никакой пищи. Этим-то именно и занимала ученика в течение всего восьмилетнего гимназического курса толстовская школа!

Что же получилось в результате? Получилось то, что ученики шли в гимназию как на каторгу и решительно утверждались в том убеждении, что источников умственного света надо искать помимо казенной школы. Толстой думал своей системой отвлечь юношество от увлечения крамольными идеями, а на самом деле эта-то система и толкала юношей на путь увлечения всем тем, что было враждебно официально одобряемому мировоззрению. Омертвив содержание преподавания в казенной школе, Толстой и весь школьный режим построил на бездушно-бюрократических началах. Отдельные педагоги ухитрились, конечно, вносить луч света в это темное царство. Но

эти исключения только усиливали мрачность общей картины. И можно сказать без всякого преувеличения, что толстовская школьная система сыграла громадную роль в успешном укоренении в умах тогдашней молодежи злобной ненависти ко всему, что было отмечено печатью казенного одобрения; ко всей совокупности правительственной политики, ко всему официальному строю жизни.

Я несколько отвлекся от хода моего рассказа, но это отступление было необходимо для уяснения того ликования, которым было охвачено русское общество при вести об отставке Толстого. В фигуре Толстого для общества как бы олицетворялись стихия казенного бездушия, которая калечила нравственный облик подрастающего поколения. И Лорис-Меликов ничем, может быть, не мог бы в этот момент в большей мере возбудить к себе расположение и доверие со стороны разнообразных кругов общества, как именно отставкой Толстого. Наследие Толстого было поделено между двумя преемниками, которых ожидала в дальнейшем весьма различная судьба на поприще государственной службы. Министром народного просвещения был назначен Сабуров, человек либеральный, благожелательный, но скоро оставивший свой пост после нанесения ему оскорбления действием одним студентом. А обер-прокурором Синода был сделан Победоносцев, в котором в тот момент еще не предугадывали воинствующего реакционера, каким он выступил спустя несколько месяцев.

Как на проявление либерального веяния взглянуло общество и еще на один шаг Лорис-Меликова. То было упразднение Третьего отделения собственной его величества канцелярии. Это учреждение, в котором сосредоточивалось руководство политической полицией, всегда возбуждало страх и ненависть вроде того, как в XVIII столетии страшились Тайной канцелярии. И вздохом облегчения было встречено уничтожение этого органа полицейской репрессии минувших лет. Надо заметить, однако, что эту меру Лорис-Меликов предпринял вовсе не в целях ослабления полицейской репрессии, а прямо наоборот — ради укрепления дела полицейского сыска для борьбы с крамолой. Третье отделение действовало в значительной мере независимо от Министерства внутренних дел;

возникали на этой почве ведомственные трения, соперничество, взаимные подсиживания, что весьма вредило успешности сыска. Теперь Третье отделение было заменено состоящим при Министерстве внутренних дел департаментом полиции, и таким образом политическая полиция сосредоточивалась в одном ведомстве в прямой и безусловной зависимости от министра внутренних дел, в данный момент — от самого Лорис-Меликова. Кто же был поставлен во главе вновь образованного департамента полиции? То был В.К. Плеве, занимавший перед тем пост прокурора судебной палаты, и в атом назначении юриста и судебного деятеля в начальники политической полиции также склонны были тогда усматривать симптом благоприятный, как указание на то, что глава правительства желает водворить начало законности во всех отраслях правительственной деятельности.

Такова была ирония судьбы: стремясь повернуть правительственный курс на либеральный уклон, Лорис-Меликов выдвинул двух деятелей — Победоносцева и Плеве, — которые впоследствии сыграли роль главных матадоров реакции!

Умный Лорис-Меликов понимал, что одними переменами лиц на должностных постах нельзя удовлетворить общественного мнения. Он понимал, что необходимо, во-первых, раскрыть перед обществом основные положения правительственной программы и, во-вторых, дать обществу возможность принять участие в деловой творческой работе.

К выполнению этих задач Лорис-Меликов приступил с осени 1880 года, когда борьба с террористами представлялась ему благополучно законченной. Покушения на террористические акты как будто прекратились; многие члены террористических организаций сидели в тюрьмах. Правительству казалось, что задача Верховной распорядительной комиссии выполнена. Валуев, занимавший пост председателя Комитета министров, и Маков, бывший министром внутренних дел, помимо Лорис-Меликова, возбудили перед императором вопрос о том, что было бы своевременно приступить к внутренним преобразованиям в духе либеральных стремлений общества и что они готовы были бы взять на себя пересмотр Земского и Городского положений.

Узнав об этом, Лорис-Меликов тотчас понял, что Валуев и Маков, не прощавшие ему его возвышения, хотят его обойти, т.е. оставить его при роли гонителя террористов, а между тем лавры либеральных преобразователей присвоить себе самим. Лорис-Меликов нимало не медля предупредил эту интригу. В августе 1880 г. по его докладу Верховная распорядительная комиссия была закрыта. Сам Лорис-Меликов был назначен министром внутренних дел, а Макову пришлось удовольствоваться выделенным специально для него в особое управление ведомством почт и телеграфов, да еще в придачу иностранными исповеданиями.

Тогда 8-го сентября 1880 г. Лорис-Меликов пригласил к себе представителей периодической печати, изложил им сущность своей программы и предоставил им обнародовать свое сообщение во всеобщее сведение. Самый этот прием представлял собою нечто дотоле небывалое в русской правительственной практике.

Лорис-Меликов начал свое сообщение с категорического заявления, что он является решительным противником как учреждения в России представительных собраний по образцу западноевропейских конституционных государств, так и восстановления древнерусских земских соборов. Он указал на необходимость рассеять всякие на этот счет ожидания и надежды. Вместо того он формулировал свою программу, осуществление которой, по его мнению, могло потребовать от 5 до 7 лет, в следующих пяти положениях: 1) облегчить деятельность земств и других общественных и сословных учреждений, ограждая их законные права от всяких произвольных посягательств со стороны органов власти и, — поскольку этого потребуют указания опыта, — расширяя их полномочия в области их работы по поднятию благосостояния местного населения; 2) дать единообразное устройство полиции, подчинить ее деятельность твердым рамкам закона и положить конец всяким проявлениям полицейского произвола; 3) расширить самостоятельность местных учреждений на началах большей децентрализации; 4) произвести сенаторские ревизии нескольких губерний и на основании данных, которые ими будут добыты, удовлетворить по возможности желания и нужды населения и 5) дать возможность печати подвергать критическому

разбору мероприятия правительства, но с тем условием, чтобы печать воздерживалась от пропаганды конституционных иллюзий.

Как ни скромна была эта программа, как ни далека она была от политических стремлений либеральной части общества, тем не менее она давала известную почву и отправную точку для преобразовательных опытов, которые могли послужить подготовкой к лучшему будущему. Зима 1880 г. прошла в обстановке значительного оживления общественной жизни. Печать вздохнула свободнее. Появились новые газеты либерального направления, прежние органы печати заговорили свободным языком о животрепещущих вопросах. В земствах началась кипучая работа: Лорис-Меликов предоставил земствам обсудить и наметить основания реформы местного управления, и многие земства в своих предположениях решительно перешагивали за те рамки, которые поставил Лорис-Меликов, начерчивая свою преобразовательную программу. В это время Лорис-Меликов получил энергичного и талантливого сотрудника в лице Абазы, который был назначен министром финансов на место уволенного бесцветного Грейга. Абаза с увлечением приступил к финансовым и социально-экономическим преобразованиям, направленным на облегчение податной тягости крестьянства и на поднятие экономического благосостояния крестьян. Прежде всего он отменил налог на соль, всегда и всюду вызывавший наибольший ропот среди плательщиков. Затем были совершенно разработаны вопросы о введении обязательного выкупа крестьянских наделов в тех имениях, в которых помещики вплоть до 1880 г. еще не дали своего согласия на выкуп; об отмене подушной подати; о понижении выкупных платежей. Но провести эти проекты в жизнь Абаза уже не успел. Мы сейчас увидим, в силу каких причин.

Лорис-Меликов, Абаза и Дмитрий Милютин (военный министр) составили тесно сплоченный триумвират, объединенный общностью либерально-демократических стремлений. Конечно, их деятельность вызывала негодование со стороны сановников, проникнутых старозаветным охранительным духом. Но Лорис-Меликов нашел надежную опору в княгине Юрьевской — морганатической второй супруге Александра II, в которой старый император не чаял

души. Заручившись содействием царской супруги, Лорис-Меликов 28 января 1881 г. поднес Александру II тот свой проект, который был так неправильно назван общественной молвой «лорис-меликовской конституцией». Вот что он предлагал на самом деле: учредить в Петербурге две подготовительных комиссии: 1) административно-хозяйственную и 2) финансовую, составив их отчасти из чиновников, отчасти из сведущих лиц, принадлежащих к числу опытных и видных общественных деятелей; поручить этим комиссиям подготовить проекты по преобразованию губернского управления, по введению обязательного выкупа крестьянских наделов, по облегчению выкупных платежей, по пересмотру Земского и Городского положений, по системе народного продовольствия, по системе податной и паспортной.

По изготовлении этих законопроектов — созвать общую комиссию в составе: 1) всех членов подготовительных комиссий и 2) выборных представителей от земств (но два от каждого земства) и от крупных городов (но два от каждой городской думы). Проекты, прошедшие через эту общую комиссию, передать в Государственный совет с тем, чтобы при обсуждении там этих проектов в Государственный совет были приглашены от 10 до 15 выборных представителей от земств и от городов.

Совершенно очевидно, что в этих предположениях Лорис-Меликова не было ничего похожего на введение конституционного строя, не было никакого ограничения самодержавной власти монарха. Но тем не менее осуществление этого плана явилось бы, конечно, крупным шагом на пути от бюрократического управления к деятельному участию общества в государственной жизни. Этим был бы вбит в старый государственный строй широкий клин, и не могло быть сомнения в том, что щель, пробитая таким клином, должна была затем неминуемо углубляться и расширяться.

Александр II утром 1-го марта 1881 года поставил свою подпись под этим проектом, и оставалось лишь обнародовать во всеобщее сведение этот уже состоявшийся государственный акт. Говорили, что было уже сделано и распоряжение на этот счет. Но... через несколько

часов Александр II, смертельно раненный бомбой террористов, скончался.

Началось новое царствование. И прежде всего перед преемником погибшего императора вставал вопрос: как быть с тем актом, под которым его отец только что поставил свою подпись?

II

Вопрос о дальнейшей судьбе лорис-меликовского проекта медленно вырос в вопрос о том, какое направление получит вся внушительная политика нового царствования.

Александр III вступал на престол человеком совершенно определившегося духовного склада и совершенно сложившихся политических убеждений. Его внушительно-монументальной фигуре соответствовал его характер, властный, решительный и прямой. Многое не нравилось ему в направлении дел при его отце. Он громко не одобрял того наплыва немецкого элемента в придворные круги и на видные административные посты, который получил такое широкое развитие при Николае I и который продолжал держаться на таком же уровне и при Александре II. Все эти Адлерберги, Ламздорфы, Бенкендорфы, Корфы и проч. и проч., именами которых так и пестрели списки придворных сановников и высших администраторов, вызывали в душе будущего императора Александра Александровича какое-то непроизвольное отталкивание, а женитьба его на датской принцессе Дагмаре только усилила еще это его противонемецкое настроение, ибо, бывая в Копенгагене, в среде своих датских родственников, он попадал там в атмосферу, насыщенную враждой к Германии и все еще яркими воспоминаниями о тех обидах, которые Дании пришлось испытать от политики Бисмарка в 60-х годах.

Отдаваясь чувству возмущения против немецкого засилья в придворных и административных кругах, Александр Александрович укреплялся в стремлении противопоставить этому немецкому засилью национально-русское направление. Но это стремление получало у него характер скорее безотчетного настроения, нежели продуманной системы политических взглядов. Но по природным особенностям

своего ума он вовсе не был склонен вникать во всю сложность явлений политической жизни. Он привык брать каждый вопрос в его простейших, элементарных очертаниях и предпочитал кратчайшие расстояния между основной предпосылкой и конечным практическим решением. Просто и решительно подошел он к вопросу о том, в чем должна заключаться национально-русская политика. Несложный рецепт такой политики сводился для него к тому, чтобы во всех сферах жизни закрепить незыблемость основных начал русской патриархальной старины. Из дел государственного строительства такими началами он признавал: самодержавие монарха, строй управления, основанный на сильной единоличной власти высших правительственных лиц, иерархически сословное строение общества с решительным преобладанием служилого поместного дворянства над прочими сословиями, но в то же время при условии полного подчинения всех общественных слоев — включая и это самое дворянство — органам коронной правительственной власти. Все это почиталось непременною сущностью национально-русского политического идеала, уже находившего свое осуществление в минувших веках русской истории. Закрепить все это и на будущие времена, устранив просачивающиеся в этот национальный строй русской государственной жизни западноевропейские новшества, — вот это и значит выполнить миссию национального русского царя.

Могли бы при этом естественно родиться следующие два вопроса: 1) исчерпывалось ли указанными выше началами все содержание русской государственной старины? Не было ли в этой самой старине также и других элементов и устремлений, проникнутых совершенно иным духом? и 2) стремление во что бы то ни стало держаться старины и отвергать необходимость начала движения и развития в государственной жизни своеобразно вновь выдвигаемым жизнью потребностям — согласуется ли как раз именно с национальными выгодами и нуждами народа? По первому вопросу можно было почерпнуть немало поучительнейших сведений из науки русской истории, а на второй вопрос могли бы дать не менее поучительные разъяснения представители многих общественных наук. Но сам Александр III таких вопросов себе не ставил, а люди, руководившие его образованием, совсем не были расположены направлять его

внимание в область таких размышлений. Из всех наставников Александра Александровича наиболее близким к нему стал К.П. Победоносцев. Блестящий и глубоко сведущий профессор русского гражданского права и один из участников подготовки судебной реформы 1864 г., Победоносцев был призван преподавать Александру Александровичу общественные науки. Роль Победоносцева в подготовке судебной реформы 1864 г. побуждала считать его сторонником либеральных воззрений, и мы уже видели, что в силу этого Лорис-Меликов по отставке Д. Толстого провел Победоносцева на пост прокурора Св. Синода. Однако на самом деле мировоззрение Победоносцева не только не было обвешено либеральными принципами, но прямо наоборот — он готовился выступить самым упорным и страстным противником либеральных начал. «Парламентаризм» и «демократическое народоправство» он почитал «великою ложью нашего времени», — это именно выражение он употребил в своем собрании политических статей, вышедшем под названием «Московский сборник» в 90-х годах; но он шел еще и гораздо дальше в своем отрицании политического либерализма; он почитал вредным и опасным всякие проявления свободного развития общественной самостоятельности; систему бюрократической централизации объявлял он альфой и омегой государственной мудрости, и на этой почве он сталкивался не только с либералами, но и славянофилами, и древнерусские совещательные земские соборы вызывали в нем такое же резкое отталкивание, как и западноевропейские парламентские учреждения. Беспокоило его и местное самоуправление, врезавшееся, на его взгляд, чужеродным клином в организм бюрократической монархии, составлявший его политический идеал. Нетрудно понять, какой односторонний характер должны были носить те истолкования «национально-русской» политической старины, которые мог выслушивать Александр Александрович из уст такого руководителя, пользовавшегося в его глазах высоким авторитетом. И такие истолкования должны были звучать для Александра Александровича тем убедительнее, что они вполне гармонировали со всем складом его собственного ума, со всеми склонностями его натуры. Теперь мы не удивимся тому, что Александр Александрович относился с сильным недоброжелательным предубеждением к либеральным преобразова-

ниям первой половины царствования своего отца и что программа Лорис-Меликова, направленная к возвращению на путь этих преобразований, не вызывала в нем никакого сочувствия. И вот теперь ему как монарху предстояло решить вопрос: как быть с тем проектом Лорис-Меликова, который уже был утвержден подписью его отца?

Александр III колебался. Всем своим существом он чувствовал глубокую антипатию к задуманной Лорис-Меликовым мере. В его глазах эта мера заключала в себе гибельный разрыв с заветами национальной старины, измену принципу самодержавия, переход к чуждому русскому духу конституционализму. Итак — разорвать этот акт? Но как решиться начать свое правление с нарушения воли отца, только что погибшего мученической смертью? Александр III остановился на мысли созвать для обсуждения этого вопроса совещание из министров и других высших сановников. Из дальнейшего хода событий ясно видно, что созвать это совещание Александра III побуждало, может быть, и безотчетная надежда на то, что в соображениях своих советников ему удастся найти опору для преодоления своего сыновнего чувства во имя высших государственных интересов.

Это «историческое» заседание состоялось 8-го марта. Подробное описание его оставил нам в своем дневнике присутствовавший на нем статс-секретарь Перетц. Там читатель и может найти обстоятельное изложение всех произнесенных тогда речей. Лорис-Меликов, Абаза, Милютин, Валуев, Сольский и Сабуров отстаивали необходимость осуществления обсуждаемой меры. Против нее говорили Строганов и Маков, но центральным моментом заседания явилась речь Победоносцева. То был его первый дебют в роли воинствующего охранителя незыблемости самодержавия. Бледный как полотно, топом мрачно вдохновенного прорицателя он предрекал гибель России в случае осуществления проекта Лорис-Меликова, в котором он усматривал посягательство на исконные национальные устои русской государственности. В сущности, весь спор и сосредоточился на вопросе о том, заключается ли в обсуждаемом проекте ограничение самодержавия? Защитники проекта напирали на то, что в нем нет, как выразился Димитрий Милютин, «и тени конституции». И они

были совершенно правы. По букве проекта самодержавие оставалось во всей силе, без малейшего ограничения. Но этому формальному доводу Победоносцев противопоставлял указание на то, что введение в Государственный совет выборных представителей, хотя бы только с совещательным голосом, явится первым шагом к дальнейшим изменениям государственного строя, которые в последнем счете неизбежно приведут к конституции. И, конечно, он тоже был совершенно прав. На его стороне было то преимущество, что он мог договорить свою мысль до конца, тогда как его противники не могли в присутствии самодержавного монарха высказать то, что привело бы к нулю всю страстную аргументацию Победоносцева. Они не могли сказать прямо, что призвание общества к участию в законодательстве составляет по условиям времени сталь насущную необходимость, что ради ее удовлетворения не следует останавливаться и перед подготовкой страны к переходу от неограниченного самодержавия к конституционному строю. Они не могли применить к этому случаю мысль, некогда высказанную по другому поводу Александром II, что реформу надо делать «сверху», — иначе она начнется «снизу». Победоносцев предрекал революционный взрыв от уступок общественному мнению и жизненной необходимости и не хотел взять в толк, что революционные взрывы порождаются как раз неспособностью власти своевременно пойти навстречу требованиям времени.

В течение этих прений Александр III не высказал своего решения, но по ряду его реплик было все же ясно, что он всецело склоняется на сторону Победоносцева. Однако заседание пока кончилось ничем. Сошлись на том, что вопрос требует дальнейшего обсуждения. Затем протянулось несколько туманных и тревожных дней. Судьба дальнейшего правительственного политического курса оставалась под знаком вопроса. Из опубликованной теперь переписки Победоносцева мы знаем, что он в эти дни не терял времени и старался всячески воздействовать на императора в духе своих мыслей, пускаясь даже на сообщение государю своих бесед с какими-то «простолюдинами», которые якобы являлись к Победоносцеву с выражением негодования на замыслы Лорис-Меликова. Спрашивается, каким это «простолюдином» мог быть известен проект, оставшийся тайной и для высших слоев общества?

Из дневника Перетца мы знаем, что 21-го апреля в Гатчине состоялось новое совещание министров и сановников под председательством государя. Предметом совещания на этот раз служило новое предложение Лорис-Меликова, состоявшее в указании на необходимость создания «объединенного правительства», т.е. чего-то вроде «министерского кабинета». Итак, Лорис-Меликов не спускал флага и, в сущности, даже вел дальнейшее наступление, ибо создание министерского кабинета явилось бы, несомненно, крупной новизной, знаменующей перевод на какие-то новые рельсы хода русской политической жизни. Разумеется, «опасный» термин не был при этом выставлен, слово «кабинет» не произносилось, но, однако, речь шла именно о таком объединении действий министров, при котором отдельные министры не могли бы вести своей особой политики, не согласной с общим направлением. И при этом Абаза прямо указывал на то, что в газетах появляются статьи с клеветническими нападками на министра внутренних дел, явно инспирируемые его политическими противниками из среды правящих сфер. Это был совершенно прозрачный намек на Победоносцева и на его связь с «Московскими ведомостями» и Катковым.

Итак, лорис-меликовская группа переходила в наступление. А между тем Победоносцев уже достигал победы. Обыкновенно утверждалось, что судьба Лорис-Меликова и его плана была решена сразу громовой речью Победоносцева на заседании 8-го марта. Обнародованные теперь письма Победоносцева и дневник Перетца дают иную картину. Более месяца потребовалось Победоносцеву, чтобы побудить Александра III к решительному шагу. И не заседание 8-го марта, а гораздо менее известное заседание 21-го апреля сыграло роль последней капли. К идее «объединения правительства» Александр III отнесся совершенно спокойно, поняв ее в элементарном техническом смысле и просто предложив, чтобы министры в важных случаях собирались на частые совещания под председательством в. кн. Владимира Александровича, а «будущее покажет, что из этого выйдет». Но в течение прений Лорис-Меликова и Абаза опять вернулись к вопросу о введении выборных представителей в Государственный совет, и Александр III остался этим в высшей степени недоволен. В тот же вечер он прислал Победоносцеву записочку о

том, что «не допускает выборного начала», а Победоносцев ответил на это письмом, в котором написал: «Нужно обратиться к народу с заявлением твердым, не допускающим никакого двоемыслия».

Тогда-то государь и поручил Победоносцеву изготовить соответствующий манифест. Этот манифест, — обнародованный 29 апреля и провозглашавший твердое решение государя сохранить неизблемым исконное самодержавие и существующий строй государственных учреждений, — ниспал как снег на голову на Лорис-Меликова, ничего не подозревавшего о подготовке этого акта. Издание столь важного акта без ведома министра внутренних дел означало, несомненно, выражение недоверия к руководителю внутренней политики. Лорис-Меликов, Абаза и Милютин тотчас представили государю прошения об отставке и получили ее.

Победоносцев мог праздновать победу. Но, как человек очень умный, он понимал, что к полному торжеству своих идей нужно идти терпеливо, шаг за шагом, не ослабляя своей позиции своими действиями. Очень характерно, что в этот момент он еще не считал возможным выдвинуть на пост, освобожденный Лорис-Меликовым, настоящего «своего человека». Пока — началось годичное правление Н.П. Игнатъева.

Н.П.Игнатъев начал свою карьеру в 60-х годах дипломатическим представителем России при дворе китайского богдыхана. Там он сразу же выдвинулся одержанной им крупной дипломатической победой. Он заключил с Китаем так называемой Пекинский договор, в силу которого Россия без единого выстрела приобретала обширный Уссурийский край, и таким образом получали свое завершение подготовительные к тому труды предприимчивого Муравьева-Амурского. Молодой дипломат сразу завоевал себе крупный авторитет и вскоре был назначен директором азиатского департамента Министерства иностранных дел. Все это было лишь прелюдией к той дипломатической деятельности Игнатъева, которая обеспечила ему навсегда видное место в истории внешней политики России. Он назначается русским послом в Турцию и попадает в Константинополь как раз в такой момент, когда на Балканском полуострове скопляются взрывчатые газы и Константинополь становится средоточием между-

народных состязаний. В годы, непосредственно предшествовавшие русско-турецкой войне 1877 — 78 гг., Игнатъев высоко поднял политический престиж России при дворе султана, и были моменты, когда Игнатъеву принадлежало если не решающее, то в высшей степени веское влияние на политику Порты в славянском вопросе. Игнатъев всегда имел слабости к внешним эффектам, и в то же время его натуре была свойственна значительная доля дипломатического лукавства. Впоследствии, на закате его карьеры, эти свойства, как увидим, сыграли свою роль в истории его падения, но здесь, в водвороте балканских событий, в сношениях с турецкими дипломатами, и то и другое свойство шли на пользу дипломатическим успехам Игнатъева. Эти успехи, однако, нисколько тормозились коренным разногласием между Игнатъевым и канцлером Горчаковым в понимании задач русской политики на Ближнем Востоке. Горчаков все время держался своей излюбленной мысли о том, что Россия должна действовать на Балканах в полном согласии с «европейским концертом», между тем как Игнатъев твердо стоял на том, что Россия может достичь наиболее решительных успехов только одним путем: путем непосредственного воздействия на султана и на турецких министров, укоренения в Стамбуле исключительного русского влияния и парализования вместе с тем влияния там Англии и Австро-Венгрии с их планами, направленными прямо против России. Игнатъев не только говорил, но и делал. Накануне балканского кризиса, приведшего к войне 1877 г., Игнатъев мог уже считать себя господином положения в Константинополе. Он вел дело к тому, чтобы уступки Порты в славянском вопросе явились прямым результатом воздействия на Порту именно со стороны России, и чтобы эти уступки не заключали в себе ничего похожего на вытаскивание Россией каштанов из огня для Англии или Австрии. Однако Горчаков пошел противоположным путем, и Россия начала войну с Турцией, заранее обзавшись перед Австрией не противиться водворению австрийской власти в Боснии и Герцоговине.

По окончании войны на долю Игнатъева выпало заключение с побежденной Турцией предварительного мирного договора. Сан-Стефанский договор был признан тогда в русском общественном мнении дипломатическим шедевром Игнатъева.

То был момент, когда популярность Игнатьева достигла высшей точки и казалось, что в дальнейшем перед ним раскрывается блестящая политическая карьера. Все это рухнуло после того, как постановления Сан-Стефанского договора были перекромсаны, вывернуты наизнанку, искажены на Берлинском конгрессе, и Берлинский договор явился полным ниспровержением той системы международной политики, выразителем которой был Игнатьев. Игнатьеву не оставалось ничего иного, как уйти в тень в ожидании наступления лучших времен. Он это и сделал.

С наступлением периода «диктатуры сердца» Игнатьев вновь начинает продвигаться на политической сцене. При Лорис-Меликове он становится министром государственных имуществ, — пост серьезный, но более «деловой», нежели политически-боевой. Но вот наступает момент своего рода политического землетрясения. Происходит внезапная перемена царствования. Дни Лорис-Меликова сочтены. Восходит звезда Победоносцева. Какие-то крупные перемены назревают в правящих кругах. В этот момент Игнатьев решается вмещаться в политическую игру. Он начинает плести тонкое дипломатическое кружево.

Пройдя в министры под крылом Лорис-Меликова, Игнатьев теперь решил сделать вольт в сторону противников своего принципала. К концу апреля 1881 г., - как это отмечено в дневнике Перетца, — Игнатьев на заседаниях Государственного совета явно уже держит сторону той группы членов, которая (по указаниям Победоносцева) будирует против триумвирата Лорис-Меликова, Абазы и Милютин.

Свергая Лорис-Меликова, Победоносцев, как мы уже знаем, считал еще преждевременным выдвигать на освобождаемый пост министра внутренних дел своего настоящего избранника — Толстого. Ему нужен был на время человек, как бы сказать, — промежуточного склада. Вот тут-то и пригодился Игнатьев. Годичное правление Игнатьева в качестве министра внутренних дел можно обозначить, как опыт славянофильского компромисса во внутренней политике между либеральными и охранительными течениями. Недаром Игнатьев считал себя близким к кругам тогдашних эпигонов славянофильства. Однако проводя этот компромисс, Игнатьев вскоре начал

все более и более явственно отмежевываясь от победоносцевской группы и подчеркивать самостоятельность своей политической линии.

Перетц рассказывает, что Лорис-Меликов после отставки и перед отъездом за границу заехал к Перетцу проститься и на прощание сказал ему: «Победоносцев просчитался; вы увидите, что Игнатьев пойдет далее меня». Далее Лорис-Меликова Игнатьев не пошел, напротив: он даже несколько попятился назад сравнительно со своим предшественником, но тем не менее Победоносцев получил полное основание разочароваться в своем выборе, и это обстоятельство быстро ускорило падение Игнатьева.

Игнатьев был противником ограничения самодержавия. В этом пункте пути славянофилов и Победоносцева совершенно сходились. Но ведь мы уже знаем, что и Лорис-Меликов вовсе не был сторонником конституции и категорически высказывался против конституционной реформы.

С другой стороны, Игнатьев в согласии с славянофилами и прямо вопреки идеологии Победоносцева решительно стоял за необходимость привлечения земских людей к участию в законодательной деятельности, но только без всякого ограничения прерогатив самодержавною монарха. Иначе говоря, идеалом Игнатьева было законосовещательное народное представительство, нечто вроде восстановления Земских соборов XVI–XVII вв. Но, — и в этом именно состоял его компромисс, — он решил на первых порах отказаться от введения выборных членов в Государственный совет и от всякой иной формы участия выборных представителей в работе центральных государственных учреждений. Вместо того он изобрел наиболее невинный суррогат обращения власти к содействию общественных сил. Он положил для обсуждения важнейших законодательных мероприятий вызывать в Министерство внутренних дел так называемых «сведущих людей» из среды выдающихся земцев и иных местных общественных деятелей, но с тем, чтобы эти «сведущие люди» не были выборными, а вызывались бы в столицу по усмотрению самого министра.

Чрезвычайно важно было при этом, что пост министра финансов по уходе Абазы был занят профессором финансового права Бунге, который являлся убежденным сторонником того направления социальной политики, которое было выдвинуто Абазой в период «диктатуры сердца».

Итак, если лорис-меликовская политическая реформа была снята с очереди, то система социальных мероприятий, намеченная Абазой, получила при Игнатьеве дальнейшее развитие, и притом при содействии авторитетных общественных деятелей в качестве так называемых «сведущих людей».

Игнатьев в течение года успел провести две сессии совещаний этих «сведущих людей». И надлежит признать, что призыв этих людей к обсуждению законопроектов не был простой комедией. Игнатьев приглашал на эти совещания общественных деятелей, известных своей серьезной работой в земстве и пользовавшихся авторитетом в общественных кругах. На их обсуждение предлагались не какие-нибудь незначительные вопросы, а законопроекты перво-степенной важности, и указания местных деятелей не проходили бесследно, а принимались правительством во внимание при переработке первоначального текста намеченных проектов. Все это были меры, объединенные определенной идеей, которая лежала в основе социальной политики, намеченной Абазой и унаследованной его преемником — Бунге.

Узаконение обязательного выкупа крестьянских наделов; понижение выкупных платежей; подготовка отмены подушной подати; учреждение Крестьянского банка для содействия крестьянам в покупке внеадельных земель; облегчительные правила для арендования крестьянами земли из состава казенных земельных дач; урегулирование переселений — все это звенья некоей единой цепи экономических и финансовых мероприятий, направленных на поднятие благосостояния крестьянской массы, на улучшение земельного устройства деревни и на облегчение ее податного бремени. А наряду с этим поставлена была на очередь и реформ местного управления. Для подготовки этой реформы была учреждена особая комиссия под председательством Каханова, и в первый период работ этой комиссии

на очередь была выдвинута задача дальнейшего развития местного самоуправления на почве уравнивания сословий и приближения органов всесословного самоуправления к населению в виде создания всесословной волости.

Все это вовсе не гармонировало с убеждениями и видами Победоносцева и той группы сановников, которую он возглавлял. Чем далее шло время, тем сильнее в этой группе становилось желание положить конец «экспериментам» Игнатъева и Бунге. Оставалось только выждать подходящего предлога для сокрушения Игнатъева. Удобный к тому момент представился весной 1882 г.

В мае этого года Игнатъев счел возможным сделать новый эффектный шаг навстречу замыслам своих славянофильских друзей. В этой среде возникла мысль достигнуть того, чтобы во время коронации Александра III в Москве было устроено нечто вроде Земского собора. Славянофил Голохвастов сочинил и проект учреждения такого собора. Нельзя сказать, чтобы этот проект отличался серьезностью и целесообразностью. Это было что-то в достаточной мере фантастическое. Речь шла о том, чтобы собор из представителей от всех сословий включил в свой состав до 3000 человек. Трудно представить себе, чтобы такое многочисленное собрание могло заняться какой-либо серьезной работой. Было ясно, что все должно было свестись к парадным манифестациям верноподданнических чувств.

Мы уже знаем, что Игнатъев любил сенсационные эффекты. Он имел неосторожность принять проект Голохвастова под свое покровительство и доложил о нем государю. Тогда-то Победоносцев и признал, что настал самый удобный момент для сокрушения Игнатъева. Он немедленно указал императору, что в этом проекте обнаружилось тайное расположение Игнатъева к народному представительству и что это грозит великими опасностями принципу неограниченного самодержавия. Немедленно в «Московских ведомостях» появилась громовая статья Каткова с уничтожающей критикой голохвастовского проекта. А затем Александр III созвал совещание министров и других сановников, и снова Победоносцев выступил с пылкой речью на тему «*saveant consules*» [Пусть консулы будут дитель-

ны!]. Победоносцев прямо обратился к Игнатьеву с упреком в том, что он изменил тем обещаниям, которые были им даны при назначении его на пост министра внутренних дел, и стал сбиваться на путь Лорис-Меликова. Игнатьев защищался весьма сбивчиво и неуверенно. Через несколько дней после этого заседания Игнатьев получил отставку и его преемником был назначен... Димитрий Толстой.

Перед принятием этого назначения Толстой счел нужным указать государю на свою крайнюю непопулярность в обществе. «Я этим не стесняюсь», — ответил ему Александр III.

Живо встает передо мною из далекого прошлого одна картина. Мне было 16 лет. Я был гимназистом 6-го класса оренбургской гимназии. Стоял теплый майский вечер. Городской бульвар на крутом берегу реки Урала был полон гуляющих. Вдруг по бульвару распространилась весть о только что полученной телеграмме, гласившей о назначении Толстого министром внутренних дел. Хорошо помнили все это имя по деятельности Толстого в качестве министра народного просвещения. Публика, бывшая на бульваре, сразу разбилась на кучки. Я видел всюду нахмуренные лица, и со всех сторон слышалась одна и та же фраза: «Толстой — это реакция». Бульвар скоро опустел. Я видел, как пожилые, седовласые люди, покачивая головами, поплелись по домам.

Привожу эту картинку к сведению тех, кто был бы склонен предполагать, что впечатления от перемен в составе высшего управления скользили лишь по поверхности общественной жизни. Нет, совершившаяся тогда перемена сразу была оценена широкими кругами общества как поворот правительственной политики на такой путь, который может оказаться чреватым печальными последствиями. Фигура Толстого у руля правительственной деятельности сразу была воспринята как символ политики «контрреформ», направленной на то, чтобы — по выражению Константина Леонтьева — «подморозить» русскую жизнь, затормозить ее имманентное развитие, искусственно подпереть ее политические и социальные формы, явно уже не вмещающие в себе подлинного содержания безостановочного жизненного процесса.

Глава III. Период контрреформ

I

Лишь только Димитрий Толстой занял пост министра внутренних дел, реакционеры почувствовали, что настал на их улице праздник. Они ликовали. Теперь конец всяким бредням, и конституционным и славянофильским! Пагубные ереси преобразовательной эпохи 60-х годов — уравнение сословий, сословное самоуправление, независимый суд — тоже должны пойти насмарку. Дворянство будет вознаграждено за утрату крепостного права различными преимуществами и льготами и займет властное положение над другими сословиями, а сильная правительственная власть положит предел игре в земские губернские и уездные парламенты, приберет управление к рукам правящей бюрократии и обуздает своеволие судов и печати.

Таковы были вождедения реакционеров. При некотором размышлении нетрудно было заметить, что в этой программе заключалась некая внутренняя неувязка. Подавить всякую общественную самостоятельность и в то же время возвеличить дворянство на счет прочих сословий! Но ведь и дворянство есть часть общественности, так предоставление полного торжества всемогущей бюрократии не столкнется ли с стремлениями самого дворянства к активной командующей роли в местной жизни и местном управлении? Это противоречие в свое время действительно и всплыло на поверхность и принесло воинствующим кругам дворянства неизбежные разочарования. Но пока ликующие реакционеры этой неувязки не замечали и радостно приветствовали восходящую для них зарю эпохи контрреформ.

Димитрий Толстой был вполне расположен к удовлетворению этих вождедений и ожиданий. Но все же он не сразу развернул полностью свою программу. Первые два года его правления (1882—1884) прошли в некотором неопределенном тумане. Толстой приглядывался и подготовлялся. А между тем сохранивший свой пост Бунге продолжал вести свою линию. Невзирая на яростные нападки реакционной прессы («Московские ведомости», «Гражданин» и др.) на

этого продолжателя либерально-демократических замыслов Абазы и Лорис-Меликова, Бунге спокойно и последовательно продвигал свои планы все в прежнем направлении. В 1883 году были открыты действия Крестьянского банка; затем последовало окончательное уничтожение подушной подати; введены в действие ранее изданные правила о порядке арендования казенных земель; учреждена фабричная инспекция; издан закон об ограничении размеров рабочего дня для женщин и детей на фабриках и заводах, и наконец было приступлено к некоторым нововведениям в области налоговой системы с явной целью усилить обложение более состоятельных классов: введены налоги с наследств и с процентных бумаг и дополнительный и раскладочный сбор с торгово-промышленных предприятий. Каждая из этих мер вызвала в реакционной прессе новый взрыв возмущения против либерально-демократического министра, который своей фигурой положительно портил общую картину контрреформационного правительства. Бунге, однако, устоял на своем посту вплоть до 1887 г., когда наконец к великой радости ретроградов он был переведен на декоративный пост председателя комитета министров, а финансовое ведомство было возглавлено Вышнеградским, который круто повернул финансовую политику на совершенно иной путь. Совпадала ли политика Вышнеградского и его последующего преемника Витте с конечными целями реакционной части дворянства — это другой вопрос, на котором я несколько остановлюсь в дальнейшем изложении, в своем месте. Пока лишь замечу вообще, что министр финансов и министр иностранных дел по самой природе своих ведомственных задач во все времена то и дело должны были расходиться с политикой Министерства внутренних дел по целому ряду существенных вопросов. Однако и помимо Бунге и в тех вопросах, которые не относились к предметам его ведомства, в первые два года правления Толстого еще действовали какие-то иные влияния, противоборствовавшие тенденциям министра внутренних дел. Так, из дневника Перетца узнаем, что в середине декабря 1882 г. Толстой и Победоносцев оказывали в совете министров сильное противодействие предположениями внести в Государственный совет законопроект о различных льготах для раскольников. Несмотря на это, такой законопроект все-таки был внесен и принят Государственным сове-

том и получил утверждение государя. 3 мая 1883 г. этот закон был обнародован. Правда, льготы, дарованные по этому закону раскольникам, были довольно скромные. Но издание в то время такого закона указывает на то, что Толстой все же не сразу овладел положением. Тем не менее контрреформационные веяния давали себя знать все определеннее, и реакционные элементы и в правящих и в общественных кругах поднимали голову.

Катков в «Московских ведомостях» метал громы и против суда присяжных, и против судебной независимости, и против земского и городского самоуправления, и против уравнивания сословий. Усердно муссировалась также мысль о наступлении «дворянской эры», о предстоящем наделении потомственного дворянства обширными привилегиями как командующего сословия.

В январе 1884 г. перед открытием сессии Московского дворянского собрания распускались слухи о каких-то важных политических манифестациях, которые произойдут в течение этой сессии и в которых получит яркое выражение новая тенденция правительственной политики, открывающая поместному дворянству заманчивые перспективы. Много ожидали в этом отношении от всеподданнейшего адреса, с которым московское дворянство обратится к государю, и от того приема, который будет этому адресу оказан с высоты престола.

Все это, однако, осталось втуне. Никаких политических деклараций в адресе московского дворянства не оказалось. Получилась обычная, серая сессия. Молва забегала вперед, по крайней мере на два года предвосхищая события.

Если в области дворянского вопроса дело пока ограничивалось ожиданиями и какою-то безотчетною приподнятостью настроения в кругах воинствующих сторонников сословно-дворянских привилегий, то другая сторона реакционной программы: усиление правительственных репрессий против общественной самодеятельности — находила себе совершенно явственное выражение в самых конкретных формах.

В апреле 1884 г. было опубликовано строжайшее предписание председателям земских собраний не допускать к обсуждению на этих

собраниях никаких вопросов, прямо не указанных в Земском положении. В мае 1884 г. совещанию четырех министров⁵ предоставлено было окончательно закрывать периодические издания, и эта кара немедленно была применена к журналу «Отечественные записки», который и должен был прекратить существование.

Суровые правила были изданы для общественных библиотек и читален: и допущение к заведыванию такими библиотеками и читальнями, и определение состава допускаемых в них книг было обставлено очень стеснительными условиями.

Одним словом, чувствовалось, что правительственная власть все сильнее нажимает педаль в смысле полицейско-охранительного воздействия на общественную жизнь.

Осенью 1884 г., когда я превратился из провинциала в постоянного московского жителя, в столицах уже чувствовалось напряженное ожидание каких-то определенных шагов правительства, в которых выразится уже с полной отчетливостью основное направление правительственного курса. И это ожидание оказалось ненапрасным.

Печать и высшая школа всегда являлись у нас наиболее чувствительными и нежными барометрами для определения политической погоды. В области печати гибель «Отечественных записок» послужила уже достаточно явственным выражением характера переживаемого момента. А в конце августа 1884 г. был обнародован новый университетский устав взамен устава 1863 г. Этот новый университетский устав был детищем Толстого и Деянова. Толстой подготовлял этот устав еще в 70-х годах, будучи министром народного просвещения. Он не успел довести этого дела до конца до своей отставки. Преемники Толстого на посту министра народного просвещения — Сабуров и затем Николаи — совсем не разделяли ретроградных настроений Д.Толстого, и при них дело с переменою университетского устава, естественно, затормозилось. Но почти накануне падения Игнатъева Победоносцев, крайне недовольный тем, что

5 Внутренних дел, народного просвещения, юстиции и обер-прокурора Синода.

Николаи не обнаруживает склонности плясать под его дудку, добился замещения Николаи на посту министра народного просвещения Деляновым, занимавшим перед тем должность попечителя Петербургского учебного округа, а затем и товарища министра народного просвещения. Делянов и оказался самым подходящим лицом для того, чтобы наложить последний лак на работу Толстого по изготовлению университетского устава. Этот маленький человек, почти карлик, с лицом, украшенным громадным хоботообразным носом, отличался любезным обращением, под личиною которого таилась великая доза лукавства. Никто из просителей не уходил от Делянова, не получив самого любезного обещания полного удовлетворения заявленной просьбы. Но поверить этим обещаниям было бы великой наивностью. Этот лукавый старичок обладал остроумной находчивостью, позволявшей ему порой выходить благополучно из весьма трудных обстоятельств. В начале 90-х годов, уже будучи министром народного просвещения, он посетил как-то Московский университет и бывал на некоторых лекциях. Время в университете было беспокойное. Распространился слух, что министр будет осви-стан при посещении клиник. Делянов явился и как ни в чем не бывало обратился к студентам с речью, которую совершенно неожиданно закончил следующими словами: «Друзья мои, хотя я и не духовное лицо, но позвольте мне благословить вас во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ого было так ошеломительно необычайно, что сами инициаторы и вожаки подготавливавшейся демонстрации на несколько минут окаменели от неожиданности и забыли о шиканье и свисте, а пока они пришли в себя, маленькая фигурка министра успела уже давно скрыться за дверью.

Делянов был решительным врагом всяких либеральных веяний и являлся неизменным оруженосцем Победоносцева и Толстого. В период «диктатуры сердца» он не стеснялся публично кричать, что компания Лорис-Меликова есть пьяная, угорелая толпа, не понимающая, что она влечет Россию к пропасти, — как об этом сообщает Перетц в своем дневнике. Немудрено, что именно на Делянова нал выбор Победоносцева, когда он, устранив министра народного просвещения Николаи, подыскивал ему преемника. И Победоносце-

ву, и Толстому не пришлось разочароваться в этом выборе. Они получили то самое, что ожидали.

Университетский устав 1884 г., уста на вливая некоторые полезные нововведения, — как, например, институт приват-доцентуры, — совершенно ниспровергал университетскую автономию, сводил к нулю самостоятельность совета профессоров, уничтожал выборное начало в строе управления университетом, отменял выборы ректора и деканов и превращал ректора и деканов в чиновников, назначаемых — ректор министром народного просвещения, а деканы попечителем учебного округа. Вместе с тем попечителю учебного округа присваивалась начальственная власть над всем внутренним обиходом университетской жизни.

Реакционная пресса восторженно встретила эту университетскую реформу. Конечно, вовсе не в университете было тут дело. Реакционеры ликовали, усматривая в новом университетском уставе яркий симптом общего направления правительственного курса, при котором всякие либеральные веяния должны будут уступить место самодержавию бюрократии по принципу: *sic volo, sic jubeo* [Так я хочу, так я приказываю (лат)]. Тогда-то Катков пустил в «Московских ведомостях» крылатое слово: «Правительство идет, правительство возвращается... не верите?» Этот возглас, претендовавший на то, чтобы стать лозунгом момента, был более эффектен, нежели продуман. Заявление о возвращении правительства как бы предполагало, что перед этим правительство было куда-то удалено или обессилено в такой мере, что ничем не могло заявить о своем существовании. И оппонентам Каткова нетрудно было доказать, что: 1) развитие общественной самостоятельности само по себе вовсе не означает отрицания или низведения к нулю правительственной власти, а 2) во все предшествовавшие десятилетия, в том числе и в период либеральных реформ, поле правительственного воздействия на общественно-государственную жизнь всегда оставалось у нас весьма широким. Тем не менее в этой неточной риторической фигуре Каткова заключалось определенное содержание, только неправильно выраженное. Происходило не возвращение никуда и не удалявшегося правительства, а отрешение правительства от всяких отголосков тех

либеральных элементов правительственной программы, которые были порождены политическими веяниями 60-х годов.

Итак, самодержавие бюрократии было торжественно провозглашено как руководящий лозунг и был уже сделан ряд очень показательных шагов в смысле реального осуществления этого лозунга. Затем вставал вопрос: как же совместить с этим самодержавием бюрократии второй член программы контрреформ — поднятие землевладельческого дворянства на высоту привилегированного, командующего сословия? Ведь совсем не трудно было заметить, что принцип самодержавия бюрократии и принцип дворянской привилегированности в своем чистом, неурезанном виде суть принципы взаимопротиворечивые. Им очень трудно или почти невозможно ужиться вместе. Между тем отличительная черта политики контрреформ 80 — 90-х гг. в том именно и состояла, что в основу ее стремились положить союз самодержавной бюрократии с реакционной частью дворянства⁶. В какой мере и какую цену оказалось возможным осуществить такой союз? Ответ на этот вопрос читатель, может быть, извлечет из дальнейшего изложения.

II

Приближался момент, когда сторонникам сословно-дворянских привилегий предстояло получить большое удовлетворение. В апреле 1885 года исполнялось столетие со дня издания Екатериною II «Жалованной грамоты дворянству». Этот-то юбилей и решено было избрать предлогом для торжественного провозглашения начала «дворянской эры».

В сущности, юбилей дворянской грамоты должен был носить чисто исторический характер. Конечно, в свое время эта грамота

6 Я говорю реакционной части дворянства, ибо все дворянское сословие в совокупности никогда не было в России охвачено единым политическим стремлением. Значительная часть дворянства вовсе не сочувствовала политике контрреформ и принимала деятельное участие в борьбе за конституцию и за демократические социальные реформы.

явилась чрезвычайно важным актом в жизни дворянского сословия и вообще в социальной жизни России. Но после издания Положений 19 февраля 1861 года грамота 1785 года утратила значительнейшую долю своего актуального значения. Один ряд закрепленных этой грамотой дворянских привилегий после отмены крепостного права отпадал совершенно; другие привилегии, там провозглашенные, в связи с тою же отменю крепостного права превратились из односторонне дворянских привилегий в общегражданские права; а оставшаяся в силе сословно-корпоративная организация дворянства (дворянские общества и собрания, дворянские предводители) в существе дела являлись археологическими пережитками общественного строя, отошедшего уже в область исторического прошлого.

Тем не менее этому чисто историческому юбилею решено было придать характер широковещательной манифестации, возвещающей основные лозунги новой правительственной системы.

Юбилей дворянской грамоты был ознаменован учреждением Государственного дворянского банка выдачи землевладельцам-дворянам ссуд с целью поддержания дворянского землевладения. Учреждение этого банка сопровождалось изданием Высочайшего манифеста, и в этом манифесте было признано необходимым, чтобы «дворяне российские сохранили первенствующее место в предводительстве ратном, в делах местного управления и суда, в распространении примером своим правил веры и верности и здравых начал народного образования». Появление этого манифеста вызвало оживленное движение в тех кругах дворянства, которые были преисполнены мечтами о том, чтобы был положен конец процессу уравнивания сословий и чтобы дворянству было обеспечено командующее положение в сословно-общественной иерархии. Только что цитированные слова манифеста с несомненностью давали сильную опору этим стремлениям и окрыляли эти мечтания. Теперь оставалось только вложить конкретное содержание в общие торжественные выражения царского манифеста.

Не дожидаясь дальнейших заявлений в этом смысле правительственной власти, дворянские общества поспешили сами подсказать, в чем состоит сущность их ближайших домогательств.

Дворянские общества обратились к государю с благодарственными адресами в ответ на манифест. Кроме того, быстро создалась целая литература рукописных и печатных записок, проектов, брошюр по «дворянскому вопросу». Дворянский; круги переживали момент какого-то радостного подъема, одушевленные уверенностью в том, что теперь им не будет отказа в их сословных притязаниях. И в всеподданнейших адресах дворянских собраний, и в многочисленных, словно из рога изобилия посыпавшихся, проектах, были предусматриваемы разнообразные меры, в совокупности слагавшиеся в целую программу. Все разнообразие этих предложений можно свести к следующим основным положениям:

I. Предоставление дворянству господствующего положения в земских собраниях. II. Исключительное право на занятие известных должностей в местном и центральном управлении. III. Освобождение дворян от воинской повинности. IV. Изъятие дворян от подсудности суду с присяжными заседателями и признание их подсудности только коронному суду, усиленному избранными дворянством представителями. V. Устройство для дворян-землевладельцев дешевого долгосрочного и краткосрочного кредита. VI. Устройство для детей дворян особых дворянских пансионов. VII. Принятие в кадетские корпуса только детей дворян. VIII. Большая свобода в учреждении майоратов. IX. Отмена приобретения дворянства выслугою чина и получением орденов. X. Предоставление дворянским корпорациям права ходатайствовать о пожаловании дворянства лучшим людям других сословий.

Интересно внимательно взглянуть на эту программу. Пункты 9 и 10 возвращают нас к дворянским домогательствам еще XVIII столетия. В течение всего XVIII века родовитое дворянство усиленно восставало против закона Петра Великого, который открывал доступ в дворянское сословие всем, дослужившимся до известного чина на государственной службе. Это постановление препятствовало превращению дворянского сословия в замкнутую касту, и представители родового дворянства негодовали на такое «уподление» дворянского сословия и требовали уничтожения выслуженного дворянства. Но в XVIII веке эти домогательства остались неосуществленными. Теперь, после отмены крепостного права и прочих реформ 60-х годов,

направленных, если не на уничтожение, то все же на значительное снижение сословных перегородок, от этих притязаний веяло такой заплесневелой стариной, что осуществление их было безнадежным, несмотря на открывавшуюся новую «дворянскую весну». Пункты 3, 4, 6 и 7 опять-таки заключали в себе попытку частичной реставрации порядков крепостной эпохи с ее резким разграничением сословных групп. Свобода дворян от обязательной военной службы и от положения, что дворянин может быть судим только дворянами, — то были установления второй половины XVIII столетия, когда при раскрепощении дворянства первые зародыши гражданских вольностей получали у нас характер односторонних привилегий одного дворянского сословия. Начиная с 60-х годов XIX столетия основное содержание наступившей социальной эволюции состояло именно в превращении односторонних сословно-дворянских привилегий в общегражданские права, обусловливаемые общегражданскими повинностями. Дворянские ходатайства 80-х годов XIX столетия и были направлены именно против этих достижений новой общественности. Остановить этот процесс, повернуть вспять колесо жизненного развития, вернуться к началам крепостной эпохи, хотя бы и без восстановления крепостного права, — вот о чем вопияли эти дворянские ходатайства. Эти археологические утопии не могли войти в правительственную программу, как ни было расположено правительство в тот момент идти навстречу дворянским стремлениям. Немудрено, что пункты 3 и 4 не были приняты всерьез правительством Толстого и остались лишь литературным памятником наивности авторов дворянских проектов. Только по части некоторых коррективов к всесословности государственной школы правительство кое-что сделало для удовлетворения дворянских притязаний, хотя и здесь ограничилось полумерами, оставив воинствующих поборников дворянской привилегированности при значительном разочаровании.

Зато дворянству предстояло получить если и не полное, то значительно более широкое удовлетворение в тех его притязаниях, которые касались, во-первых, государственной поддержки дворянского землевладения и, во-вторых, перестройки местного управления с предоставлением дворянству в этой области первенствующего положения насчет прочих сословий.

Учреждение Дворянского банка в 1885 г. было первым шагом на пути оказания государственной поддержки дворянам-землевладельцам. Затем в течение 80-х и 90-х годов и в начале XX в. вплоть до первых всплесков революционного брожения, приведшего к уничтожению самодержавия, следовал длинный ряд узаконений и правительственных распоряжений, приносивших широкие льготы заемщикам Дворянского банка с целью облегчить им выполнение обязательств по полученным ими из банка ссудам и предохранить от продажи с молотка заложенных в банке дворянских имений. Эти льготы, сопряженные с большими жертвами из государственной казны, устанавливались то в виде издания отдельных узаконений, вносивших изменения в порядок расчетов с банком его заемщиков, то в виде общего пересмотра устава банка, причем уже в 1900 г. было допущено такое установление связи Дворянского банка с банком Крестьянским, при котором этому последнему были навязаны некоторые функции, направленные опять-таки на поддержку землевладельцев-дворян.

Наряду с этими усиленными попытками государственной поддержки дворянского землевладения, совсем иной характер носило отношение законодательной власти к экономическому устройству крестьянства.

Крестьянский банк, учрежденный при Игнатеве и открывший свои действия в 1883 г., должен был способствовать покупкам крестьянами земель в дополнение к их недостаточным наделам. И немалое количество крестьян действительно воспользовалось для этой цели посредническими услугами банка. Однако устав Крестьянского банка был средактирован так, что деятельность банка не могла направляться на преимущественное обслуживание наиболее нуждающейся части малоземельного крестьянства, и этим существенно ослаблялось социальное значение той роли, какую банк выполнял. В 1896 г. устав Крестьянского банка был переработан в смысле расширения рамок его деятельности и облегчения тех условий, на которых крестьяне могли пользоваться его содействием при земельных покупках. Доплаты и платежи банку по ссудам были существенно понижены. И кроме того, банк получил право помимо посредниче-

ства между покупателями и продавцами земли приобретать самостоятельно, за свой счет, имения с целью разбивки их на участки для продажи нуждающимся в земле крестьянам. Широкое применение таких операций могло бы сделаться основой планомерной земельной политики, направленной на уврачевание земельной нужды деревенского населения. К сожалению, особого развития в деятельности Крестьянского банка эти операции не получили, а, к еще большему сожалению, стали появляться такие случаи приобретения имений за счет банка, при которых банк руководился вовсе не соображениями о пригодности покупаемого имения для образования из него участков, подходящих для крестьянского хозяйства, а совсем иного рода: готовностью устроить выгодную продажу земли для какого-нибудь высокопоставленного или пользующегося большим влиянием лица.

Как бы то ни было, работы Крестьянского банка было совершенно недостаточно для смягчения всей остроты аграрного вопроса. Чем далее шло время, тем ярче выступали наружу обнищание деревни и неотложная необходимость для исцеления этого зла вступить на путь смелых и решительных государственных мероприятий. Но время настало такое, что о широкой аграрной реформе нельзя было и заикаться. Сословно-дворянская окраска нового курса правительственной политики исключила постановку на очередь такой реформы. И с середины 80-х годов в правящих кругах окончательно восторжествовала та мысль, что благосостояние деревни может быть достигнуто не расширением крестьянского Землевладения, а законодательной регламентацией крестьянского быта.

Из этой-то мысли и вытекли те немногие законодательные меры, касавшиеся крестьянства, которые были осуществлены в конце 80-х и в самом начале 90-х гг. Я разумею закон 1886 г. о крестьянских семейных разделах, направленный на то, чтобы ограничить свободу разделов возможно более узкими рамками; закон 8 июля 1893 г. о переделах общинной земли и закон 14 декабря 1893 г. о неотчуждаемости крестьянских наделов. Все эти законы, построенные на принципе правительственной опеки над крестьянским бытом, нисколько не облегчали земельной нужды деревни и свидетельствовали только о том, что правящая власть не отдавала себе отчета в том,

какие грозные социальные бури исподволь назревали под покровом видимого затишья и какими великими опасностями для государства было чревато это желание власти отвернуться от земельного вопроса. Прогрессирующее экономическое расстройство деревни думали лечить валерьяновыми каплями законодательных паллиативов, а все указания на глубокую серьезность назревающей социальной проблемы легкомысленно объявляли вздорным измышлением неблагонадежных смутьянов.

Таковы были общие контуры социальной политики периода контрреформ, когда правящая власть пошла рука об руку с реакционными группами землевладельческого дворянства.

Краеугольным камнем этой контрреформационной системы служила уверенность в том, что для надежного утверждения в стране спокойствия и тишины и для предотвращения всяких внутренних потрясений в настоящем и будущем нужно сделать одно: создать над деревней твердую, наименее стесненную формальностями, единоличную власть своего рода местного «отца-командира» с тем, чтобы эти местные командиры определялись из среды местных землевладельцев-дворян, но не по их выбору, а по назначению правительства. В этом последнем пункте правительственные виды не отвечали вполне дворянским мечтаниям. Авторы дворянских проектов желали бы возродить традицию капитан-исправников XVIII столетия и отдать управление уездом в руки выборного представителя местных дворян. Но в этом случае «дворянский принцип» должен был уступить место принципу бюрократического всевластия; правительство хотело иметь в лице местных «отцов-командиров» не общественных избранников, а своих собственных агентов. С этим дворянским проектерам пришлось примириться. Они были утешены тем, что правительство зато решало брать этих своих местных агентов не иначе как из среды местных дворян-землевладельцев.

К осуществлению этой идеи Толстой и обратился прежде всего как к исходной точке своей системы контрреформ. Мы знаем, что при Игнатеве была образована Кахановская комиссия для разработки реформы местного управления, и там — намечен был план, по которому в основу системы местного управления предполагалось

положить создание сословной самоуправляющейся волости. Лишь только Толстой занял пост министра внутренних дел, работы Кахановской комиссии заглохли; всем было ясно, что предположения, в этой комиссии выдвинутые, придется уже не ко двору. Но вот в марте 1884 г. в печати появилось правительственное сообщение о том, что с осени работы комиссии возобновятся и будет приступлено к окончательному составлению законопроекта. Однако прошло еще пять лет, прежде чем новый закон увидел свет. И это промедление было вызвано тем, что основные тенденции подготовляемой реформы встречали серьезную критику и в комиссии, и в Государственном совете, и потребовалось все упорство Толстого, чтобы поставить на ноги это излюбленное им детище его законодательного творчества. Впрочем, до обнаружения этого закона Толстой не дожил, он умер в тот момент, когда все уже было готово и оставалось только выполнить последние формальности законодательной процедуры.

Возобновив в 1884 г. работы Кахановской комиссии, Толстой тотчас же перевел их на совершенно новые рельсы. Идея сословной волости была отброшена как негодная идеологическая ветошь. Главная роль в выработке законопроекта была теперь предоставлена новому лицу. То был один из уездных предводителей дворянства Симбирской губернии, Пазухин, только что прошумевший своей программной брошюрой «Современное состояние России и сословный вопрос». То было страстное нападение на идею бессословной общественности. Автор стремился доказать, что только в сословной иерархичности, соединенной с подчинением низших сословий привилегированному дворянству, состоит залог спасения России от революционных потрясений и от утраты национальной самобытности. Реформы 60-х годов, расшатавшие сословные привилегии дворянства, он объявлял величайшим злом, изменой русскому национальному духу, взрывчатой миной, подведенной под фундамент государственного здания.

Этого-то Пазухина Толстой сделал правителем своей канцелярии и возложил на него составление проектов по преобразованию местного управления.

Пазухин и должен быть признан отцом института земских начальников, введенного законом 12 июля 1889 г. Впрочем, первоначальные предположения Пазухина подверглись хотя и частичным, но все же существенным изменениям в Государственном совете, где вообще вся эта реформа встретила значительное противодействие со стороны тех сановников, которые дорожили традициями преобразовательной эпохи 60-х годов.

Мысль, положенная в основу закона 12 июля 1889 года, не отличалась новизной. Еще в середине 70-х годов XIX столетия тогдашний министр внутренних дел Тимашев, тесно связанный с реакционными дворянскими кругами, вносил в Государственный совет проект, по содержанию почти совпадающий с законом о земских начальниках. Но в то время эти замыслы еще не находили сколько-нибудь надежной поддержки, и Тимашеву пришлось тогда примириться с поставленным во главе управления крестьянами уездных и губернских по крестьянским делам присутствий и состоящих при них непререкаемых членов. Теперь Пазухин под эгидою Толстого возвратился к этим давнишним устремлениям дворянских кругов. В лице учрежденных в 1889 г. земских начальников сельские и волостные крестьянские учреждения, а также и все крестьянское и некрестьянское деревенское население получало в начальники местного барина, дворянина-землеладельца, вооруженного властью, в которой совмещались и административные и судебные функции. На его утверждение поступали все сельские и волостные мирские приговоры, которые он мог опротестовывать и передавать с своим заключением уездному съезду. Он утверждал в должности волостного старшину и мог подвергать всех должностных лиц по крестьянскому управлению — старост, старшин, писарей и даже волостных судей аресту не свыше 7 дней без всякого производства. Он мог каждого из лиц, подведомственных крестьянскому общественному управлению, — опять-таки без всякого производства — подвергать штрафу не свыше 6 рублей и аресту до 3 дней. И земские начальники нередко применяли на практике это право самым распространительным образом, штрафуя и арестовывая крестьян или за нежелание принять новое основание для переделов общинной земли, или за нежелание сель-

ского общества приобрести пожарные инструменты или заменить все соломенные крыши черепичными и т.п.

В то же время земский начальник являлся в своем округе также и судьей, разбирая в судебном порядке дела, которые ранее были подсудны упраздненным теперь мировым судьям.

Так, вместо учреждения всесословной волости крестьянское управление в селе и в волости сохранило сословный характер, но было подчинено начальнику, принадлежащему к среде землевладельцев-дворян.

Конечно, все это не было осуществлением того, о чем мечтали воинствующие поборники возвеличения дворянства. Их подлинные мечтания клонились к установлению такого порядка, который представил бы собою нечто вроде восстановления вотчинной полиции крепостной эпохи. Вместо того правительство призвало поместных дворян на службу в роли местных органов коронной администрации по заведыванию крестьянскими учреждениями. Сословный принцип подгибался под принцип бюрократический. Но все же и это была победа реакционной части дворянства над демократическими течениями эпохи, над тем принципом всесословности или бессословности, который был так ненавистен дворянам типа Пазухина.

Уже по смерти Толстого, при его преемнике И.Н.Дурново в 1890 г. было осуществлено подготовленное при Толстом при участии того же Пазухина преобразование земских учреждений. И в этом случае правительство далеко не в полной мере удовлетворило притязания реакционных дворянских кругов, главным образом опять-таки благодаря той оппозиции, которую первоначальный проект Толстого — Пазухина встретил в Государственном совете.

Первоначальный проект Толстого — Пазухина содержал в себе постановления, которые были равносильны полному подавлению земского самоуправления и в то же время создавали в земских учреждениях самое резкое неравенство в положении представителей различных сословий.

По проекту Толстого все постановления земских собраний получали силу только в случае их утверждения губернатором; председатели земских управ должны были назначаться правительством.

Таким образом, самостоятельность земских учреждений сводилась к нулю. Что же касается состава земских собраний, то согласно пожеланиям, заявленным во многих дворянских проектах и ходатайствах дворянских собраний, проект Толстого предоставлял дворянам, владеющим земельным цензом, но ниже определенного размера, входить в состав земских собраний не по выбору, а прямо на основании своего земельного ценза.

Государственный совет отверг все эти крайности, несогласные в корне с самой природой местного самоуправления.

Тем не менее Земское положение 1890 г., хотя и очищенное от чрезмерных уродливостей толстовского проекта, все же явилось крупным шагом назад сравнительно с положением 1864 г. и в отношении самостоятельности земских учреждений, и в отношении равноправного и равномерного участия в них различных сословий.

Если раньше губернатору было предоставлено опротестовывать постановления земских собраний лишь по их незаконности, но теперь он получил право останавливать эти постановления также и по их нецелесообразности. А при несогласии земского собрания с протестом губернатора для дальнейшего хода устанавливался новый, гораздо более сложный порядок, и спорный вопрос до перенесения его на усмотрения соответствующих центральных учреждений должен был проходить еще через губернское по земским делам присутствие, где председательствовал... сам губернатор.

Вхождение в состав земских собраний дворян не по выбору, а по цензу было отвергнуто. Но все же дворянскому представительству было обеспечено значительное преобладание в земских собраниях над другими сословиями, и деление избирателей по куриям было основано теперь всецело на сословном начале. При этом крестьяне лишились права избирать гласных и уездное земское собрание. Им было предоставлено только выбирать кандидатов, из которых губернатор по своему усмотрению назначал гласных от крестьян.

В 1892 г. была проведена и реформа городского самоуправления. Порядок выборов в городские думы был улучшен сравнительно с Городовым положением 1870 г. Но городское самоуправление подобно земскому понесло большой ущерб в отношении своей

самостоятельности. Сильно было сокращено число гласных. А всего важнее было то, что городские управы были поставлены в значительной мере в непосредственную зависимость от коронной администрации.

Приведенные факты достаточно обрисовывают господствующее направление правительственной политики в течение тринадцатилетнего царствования Александра III (1881–1894 гг.). Конечно, набросанную здесь бегло картину можно было бы дополнить целым рядом дальнейших штрихов. Можно было бы указать на ту частичную, но существенную ломку судебных уставов 1864 г., которая производилась в описываемый период выходившими время от времени законодательными новеллами, сокращавшими и гласность судопроизводства, и независимость суда от администрации, и сферу действия суда присяжных заседателей; на школьную и вероисповедную политику; на стеснение печати; на правительственные мероприятия относительно инородцев и окраин и на многое другое.

Но я ведь не пишу здесь истории России за XIX столетие. Мне нужно было только на ряде примеров выяснить общую природу того правительственного курса, который утвердился в 80-х годах и к которому приросла кличка «политики контрреформ». И мне думается, все изложенное в этой главе может дать внимательному читателю понятие о том, в какой политической обстановке протекла в те годы жизнь русского общества.

То были годы серых будней в истории нашей общественной жизни.

Все и каждый, — либо отчетливо, либо безотчетно, — чувствовали, что совершается процесс частичной реставрации старины, по возможности приспособляемой к новым условиям жизни, но в то же время и приспособляющей эти новые условия к самой себе. В обстановке такого процесса для возвышенных порывов к далеким горизонтам почти не оставалось места. Героическое по всей линии уступало будничному. Словом, то была пора — затишья не только внешнего, но и внутреннего.

Я переживал эту пору в Москве, принадлежа к тому поколению, которое в 80-х годах минувшего века заканчивало свои годы учения и

которому предстояло вступить в самостоятельную жизнь в самом начале 90-х годов.

Как же отражалась на нашем духовном складе та общественная атмосфера, которой мы тогда дышали?

Я скажу об этом несколько слов в следующей главе.

Глава IV. Затишье

I

Да, это было — затишье. Но ведь затишье не есть еще ни смерть, ни летаргия. Это обстоятельство часто упускалось из виду при попытках набросать характеристику общественных настроений в 80-х годах минувшего века. Сколько раз говорилось и писалось, что 80-е годы были каким-то пустым местом в эволюции духовной жизни русского общества, что в это десятилетие всякий интерес к общественным вопросам совершенно погас в общественном сознании и Россия, во исполнение мечты реакционного публициста Константина Леонтьева, действительно была «подморожена» так, что представляла собою картину полного оцепенения. В эту распространенную характеристику необходимо внести ряд существенных поправок. Конечно, — как я уже бегло отметил на первых страницах этих воспоминаний, — та взбудораженность в общественных настроениях, которая к концу 70-х годов достигла такого напряжения, теперь совершенно стихла, и жизнь вошла в колею монотонного спокойствия. Период «бури и натиска» миновал, революционное подполье полностью иссякло. Только в начале 1887 г. вдруг — словно гром среди безоблачного неба — на общество, уже отвыкшее от политических сенсаций, ниспало официальное сообщение «Правительственного вестника» о раскрытии преступного сообщества, подготавливавшего акт цареубийства. То была попытка устроить новое первое марта, предпринятая группой молодых людей, находившихся еще под обаянием воспоминаний о героических временах Исполнительного комитета «Народной воли». Среди молодых террористов, вошедших в это сообщество, был и студент Ульянов, брат прогремевшего в наши дни Ленина. Но это был уже как бы последний всплеск опавшей волны, как бы запоздавший отрывочный отголосок пронесшейся бури. Никакого резонанса в сколько-нибудь широких кругах общества эта попытка повторить пройденное уже не вызвала. Удивились, поахали и перешли к очередным делам.

В начале марта 1887 г. в «Правительственном вестнике» было напечатано, что 1 марта на Невском проспекте были задержаны три

студента Петербургского университета и при них найдены динамитные бомбы. Они признались, что принадлежат к преступному сообществу, которое решило в этот самый день умертвить императора. Так как все трое оказались студентами Петербургского университета, то Совет университета обратился к государю с всеподданнейшим адресом с выражением верноподданнических чувств и изъявлением ужаса и негодования по поводу раскрытого преступления. Александр III ответил на этот адрес благодарностью, которая была изложена в очень сухих выражениях: высочайшая резолюция на адресе гласила: «Благодарю и надеюсь, что на деле, а не на бумаге С.-Петербургский университет докажет свою преданность и постарается изгладить тяжелое впечатление, произведенное на всех участием студентов в преступном замысле».

Эта попытка повторить первое марта показала только то, что пора подпольного террора миновала. И затем вплоть до 1901 года о террористических актах уже ничего не было слышно.

Но вместе с тем и легальные проявления политической оппозиции господствующему правительственному курсу быстро утратили прежнюю остроту и одушевленность. О каких-либо выступлениях земских собраний с заявлениями политического характера нечего было и помышлять. Найдись в каком-нибудь земском собрании человек, который бы решился выступить с предложением какого-либо ходатайства с политической окраской, — и все отнеслись бы к нему как к наивному Дон Кихоту. Но замерла не только планомерная политическая деятельность в общественных организациях. Замирало и непосредственное влечение к открытым манифестациям приподнятого чувства, хотя бы и по таким поводам, которые не имели прямую отношения к политике. Чтобы яснее представить себе картину этого последовательного ниспадения волны общественных настроений, достаточно сопоставить некоторые аналогичные по существу, но столь непохожие по внешним формам выражения факты в начале 80-х годов и в середине этого десятилетия.

В 1883 г. умер Тургенев. Его похороны превратились в грандиозную общественную манифестацию. Несметная толпа провожала до кладбища гроб знаменитого писателя. Процессия растянулась до

бесконечности, и на многочисленных венках виднелись надписи, которых выражение любви к почившему писателю и преклонения перед его художественным талантом неизменно соединялись с призывами к энергичному служению передовым общественным идеалам. Конечно, это не была политическая манифестация в прямом смысле этого слова. Но это была внушительная манифестация общественной энергии, устремлявшейся к утверждению независимого общественного мнения. Но вот прошло шесть лет. В апреле 1889 г. умер Салтыков. В течение 80-х годов популярность Салтыкова достигла апогея. Его общественные сатиры читались с упоением. Каждая книжка журнала с его новым «Письмом к тетеньке» составляла своего рода событие. И сам сатирик наперекор тяжелым физическим страданиям, от которых изнывал его больной организм, вкладывал в свои обличительные очерки все углубляющуюся силу обличительной страсти. Именно в 80-х годах Салтыков, все расширяя диапазон своей сатиры, превратился из сатирика, отмечающего отдельные темные стороны текущей общественной жизни, в настоящего библейского пророка, силою гневного и властного вдохновения сдергивающего покров с самых глубоких язв современности. Его грозные обличения стали отливаться в символические образы ослепительной художественной силы. Люди моего поколения отлично помнят, конечно, какое громовое впечатление произвела в свое время та сатира Салтыкова, в которой он представил распространившееся в обществе глумление над передовыми идеалами освободительной эпохи в образе «торжествующей свиньи», порешившей «сожрать солнце». И разве не истинным духом библейского пророка-обличителя веет от того предсмертного очерка Салтыкова, который озаглавлен «Забывшие слова» и в котором сатирик бросает в лицо своим современникам негодующее воспоминание о том, что кроме слов «нажива» и «благополучие» существуют в лексиконе человеческой речи еще и такие слова, как «Отечество» и «Человечество». А наряду с этой обличительной проповедью Салтыков в последние годы своей жизни обнаружил и неиссякаемую силу художественного таланта, закончив свою творческую деятельность таким художественным шедевром, как «Пошехонская старина».

И вот в апреле 1889 г. Салтыков скончался. Отнеслось ли русское общество к этой утрате с полным равнодушием? Конечно, нет. Я уж упомянул о том, с каким восторгом читались в 80-х годах писания Салтыкова. И, конечно, все те, кто с жадной поспешностью раздобывал всякую новую книжку журнала с произведением Салтыкова, ощутили глубокую скорбь при вести о том, что не стало великого сатирика. И тем не менее — похороны Салтыкова нисколько не напоминали тех массовых одушевленных манифестаций, которыми сопровождалась похороны Достоевского и Тургенева в начале 80-годов.

Это было бы неудивительно, если бы обыватель и на самом деле остался равнодушен к смерти Салтыкова. Но ведь сказать этого никак нельзя. Великость утраты сознавалась всеми, за исключением тех, которые Салтыкова сознательно ненавидели и сами были не прочь «сожрать солнце». В чем же было дело? Да только в том, что в обстановке наставшего в общественной жизни кладбищенского молчания общество за шесть-семь протекших лет просто отвыкло от свободного и смелого проявления своих подлинных чувств.

Приведу еще один пример. В 1880 г. в Москве состоялось торжество открытия памятника Пушкину. Опять-таки и тут не было ничего политического. Ни малейшего намека на какую-либо противоправительственную манифестацию не промелькнуло в течение всех празднеств, сопровождавших это торжество. Правда, большую сенсацию вызвал отказ Тургенева принять руку, протянутую ему Катковым. То был протест Тургенева против реакционного злопахательства, наполнявшего газетные статьи Каткова. Но ведь Катков при всем его весе в правящих кругах все же не был правительством, и усматривать в разрыве Тургенева с Катковым внесение в Пушкинские празднества духа политического протеста можно было лишь с величайшей натяжкой. А помимо этого маленького инцидента все происходившее на Пушкинских праздниках в 1880 г. не имело уже никакого отношения к политическим злобам текущего дня. То был праздник национально-культурного самосознания русского общества. Но, несмотря на отсутствие в этих собраниях мотивов политической борьбы, это чисто культурное празднество вызвало тогда необычай-

ный подъем духа и превратилось в громкое общественное событие. Все еще здравствовавшие тогда корифеи нашей литературы приняли в празднике деятельное участие. Только Лев Толстой, несмотря на уговоры Тургенева, не пожелал примкнуть к чествованию Пушкина; не было среди участников праздника и Салтыкова. Зато Тургенев и Достоевский придали своим участием особый блеск этим торжествам, а речь Достоевского составила тогда целое событие. Все это достаточно известно, и я упоминаю об этом только для того, чтобы напомнить читателю, как широко и свободно проявлялся в начале 80-х годов подъем общественного духа не по одним только политическим поводам и какого высокого уровня достигало при этом общественное одушевление.

Но вот в 1887 г. решили ознаменовать 50-летие со дня смерти Пушкина. Были употреблены нарочитые усилия для того, чтобы в связи с этим, что называется, раскатать общество, побудить его встряхнуться от будничного прозябания, вспынуть его живой водой одушевленного порыва. И ничего из этого не вышло, кроме нескольких собраний и заседаний, в которых говорились очень хорошие речи, но торжественные слова как-то не находили себе надлежащего резонанса, словно от русского общества отлетала способность душевного самовоспламенения. Только знаменитая речь Ключевского «Онегин и его предки» вызвала тогда заслуженное общее восхищение, но то было восхищение блеском научно-литературного таланта великого историка, вовсе не имевшее характера «общественного подъема», на что вовсе не претендовал и сам Ключевский, выступая со своей замечательной речью.

Этих двух примеров достаточно для иллюстрации той перемены в температуре общественных настроений, которая произошла в течение 80-х годов.

Многие и многие могли бы тогда сказать про свое существование словами пушкинского Пимена:

Давно ль оно неслось, событий полно,
Волнуясь, как море-окиян, —
Теперь оно безмолвно и спокойно.

И тем не менее, несмотря на все это, — не ошибаются ли те, кто готов утверждать, что в 80-х годах все русское общество целиком погрузилось в тину апатии и маразма и без оглядки отшатнулось от идеалов политической свободы и социальной справедливости?

Такое утверждение положительно надо признать не соответствующим действительности. Освободительные устремления вовсе не испарились в то время без остатка из общественного сознания, они только временно изменили прежнюю форму своего выражения. Так ручей, встретив на пути своего течения трудноодолимые препятствия, порою с глухим ропотом уходит в землю, но и под землей продолжает рыть своим напором нужные ему ходы, а затем выдается наконец момент, когда он вдруг в новом месте опять вырывается на поверхность земли, и тогда оказывается, что за время своего скрытого течения он успел уже уйти далеко вперед и даже стать гораздо более полноводным, чем был у своих первоначальных истоков.

Такой именно процесс совершался в течение 80-х годов в области общественного самосознания. На поверхностный взгляд тогда наступил как будто перерыв в развитии этого самосознания. Наставшая тишина на арене общественной жизни производила впечатление мертвенности. Среди этой тишины раздавались с каким-то победным самодовольствием только рулады ретроградных публицистов. Катков гремел в «Московских ведомостях», становясь в позу Цицерона, вопившего: «*saveant consules*». А в Петербурге кн. Мещерский в «Гражданине» разыгрывал не без кокетства роль *enfant terrible* [Ужасный ребенок (фр.)] реакции, преждевременно выбалтывая наиболее несуразные замыслы ретроградных кругов, пользовавшихся благоволением правящих сфер. В сущности, и публицистические громы Каткова, и проникнутые напускной юрودивостью фельетонные откровения кн. Мещерского сводились к одному и тому же. И тот и другой в разной форме вопияли «ату его» по адресу всех сторонников прогрессивных начал. И вместе с тем они долбили изо дня в день о необходимости вернуться во всех областях жизни к заветам дореформенной старины. С каждым годом они все выше поднимали свой тон, все откровеннее раскрывали свои подлинные

устремления. В 1884 г. по поводу издания университетского устава, уничтожившего университетскую автономию, Катков поцицероновски воскликнул: «Правительство идет, правительство возвращается!» Не верите?... А в 1886 году по поводу празднования восстановления Черноморского флота, уничтоженного в силу Парижского трактата 1856 г., Катков уже с полной откровенностью и весьма развязно раскрыл истинный смысл своих ожиданий от «возвращения правительства». Он восклицал теперь на страницах своей газеты: «Итак, николаевский Черноморский флот возрожден, и нам остается воскликнуть: да возродится и николаевщина!»

Вот это было откровенно, и вместе с тем это сразу раскрывало все легковесное самоослепление ретроградных кругов. Катков не замечал, что этим своим эффектным восклицанием он выдавал с головой всю пустопорожность ретроградской политической философии. В самом деле, по случаю черноморских торжеств выдвигался такой силлогизм: при Николае I был Черноморский флот, Александру II пришлось на Парижском конгрессе согласиться на утрату этого флота. Александр III, возрождая этот флот, возвращается ко временам Николая I. Следовательно — да здравствует Николаевщина, т.е. дореформенная политическая система, ибо в ней заключался источник могущества России, поколебленного в эпоху реформ. Катков победоносно выдвигал этот силлогизм как иллюстрацию правоты своих ретроградных призывов. А ведь весь этот силлогизм падал как карточный домик при обращении к подлинным историческим фактам. Черноморский флот был создан не николаевщиной, а предшествующими успехами морской военной силы России, восходящими к XVIII столетию.

Николаевщина же как раз погубила этот флот, ибо Парижский трактат, которым закончилась несчастная для нас Крымская война, только подвел итог нашей военной катастрофе, вызванной всей политической системой Николая I. Напротив того, возможность восстановить право России на обладание этим флотом явилась при Александре II в 70-х годах, и Александр III, осуществляя фактически эту возможность, пожинал плоды системы не своего деда, а своего отца. Так, силлогизм Каткова оказывался на поверку никуда не

годным и со стороны логической правильности, и со стороны точности исторических справок.

Но ведь Черноморский флот и его судьбы взят был в этом катковском силлогизме только как своего рода символ, и выводы силлогизма распространялись на всю совокупность системы государственной политики. И потому несостоятельность этого силлогизма прекрасно иллюстрировала ложность всей политической позиции ретроградов с их призывом: «Назад, ко временам николаевщины!»

Эти призывы раздавались в 80-х годах громко и властно, ибо призывающие чувствовали себя бенефициантами момента, чувствовали, что на их улице праздник. И конечно, — как это бывает всегда и везде, — обывательская толпа в своей значительной части валяла именно на ту улицу, где пахло праздником, карьеристы старались попадать в тон вещателям благонамеренности, и вот все это и создавало впечатление крутого поворота общественного мнения в сторону политики контрреформ.

Но так ли был на самом деле крут этот поворот, и охватывал ли он наиболее серьезную и действенную часть общества? Собирая воедино свои воспоминания об этой поре, я отвечаю на этот вопрос решительным отрицанием.

Свидетельствую совершенно категорически, что круг искренних почитателей «Московских ведомостей» и «Гражданина» был тогда вовсе не велик. Влияние этих органов на формирование общественного мнения было очень скромным. А если нужно назвать органы печати, голос которых находил себе тогда действительно широкий резонанс в массе читателей, то, конечно, придется назвать «Отечественные записки» с сатирами Салтыкова, «Вестник Европы» с «внутренними обозрениями» Арсеньева и «Русские ведомости», ставшие органом прогрессивных московских профессоров.

«Отечественные записки» были подрезаны под корень победоносцевско-толстовской косой в самом начале периода контрреформ, и их голос смолкнул. «Русские ведомости» и «Вестник Европы» пронесли свой светоч неугасимо через мглу всего этого периода. И нужно сказать, что авторитет этих органов в широких кругах общества стоял на чрезвычайной высоте. А в чем же заключалась их

политическая программа? Да это и была та самая программа закономерной политической свободы и глубоких демократических социальных реформ, которая уходила своими корнями в освободительное движение 60-х годов. Каждая передовая статья «Русских ведомостей» и каждое «внутреннее обозрение» «Вестника Европы» содержали в себе решительную критику политики контрреформ с постоянными указаниями на то, что только логическое развитие оборванной в своем осуществлении преобразовательной программы 60-х годов может вывести страну на широкую дорогу внутреннего преуспевания и предотвратить в будущем грозные социальные бури. Требовалось величайшее публицистическое искусство для того, чтобы соединять решительную смелость в критике правительственных мероприятий с той мудрой осмотрительностью, при которой только и можно было продолжать тогда независимую публицистическую проповедь. В этом искусстве публицисты «Вестника Европы» и «Русских ведомостей» достигли поистине несравненной изощренности, а наградой им был тот живой отклик, который их писания находили в читательской массе. Если бы точно русское общество этого десятилетия было охвачено ретроградным духом и восторжествовавшие в правящих сферах контрреформационные веяния отражали бы собою действительное настроение большинства сознательной части общества, в таком случае успех «Вестника Европы» и «Русских ведомостей» был бы ничем не объяснимым чудом.

Но и этого недовольно. Платоническим сочувствием писаниям передовых публицистов дело не ограничивалось. В среде земских деятелей традиции предшествующих десятилетий не только не замирали, но время от времени, — в меру возможности при наличных условиях, — прорывались наружу. Конечно, политических резолюций, как я уже сказал выше, земские собрания в это время не выносили. Последняя волна таких резолюций пробежала по земской России в 1882 г., когда многие земские собрания высказывались против измышленного Игнатьевым приглашения «сведущих людей» по усмотрению министра для обсуждения некоторых законопроектов вместо созыва выборных представителей от земств.

С появлением Толстого на посту министра внутренних дел земства уже не становились на этот путь ввиду явной его бесплодности. Но многочисленные земские деятели, еще недавно принимавшие энергичное участие в земских съездах, в образовании общеземского союза и в составлении его программы, конечно, не могли взять да и повернуться спиной ко всему тому, в чем они привыкли видеть истинный смысл своей общественной работы. И вот почему ретроградные веяния все же не оставались без отпора не только в земских, но даже и в дворянских собраниях, в которых принимали участие многие из земцев.

В 1889 г. праздновалось 25-летие Положения о земских учреждениях. Печален был этот праздник для тех земцев, которые были искренними сторонниками общественного самоуправления. Ретроградная печать дошла до последних пределов разнузданности в своих нападках на земские учреждения как на тайные притоны революционной крамолы. И ни для кого не составляло секрета, что в Министерстве внутренних дел уже изготовлен проект нового Земского положения, налагающего новые путы на общественное самоуправление и подрывающего начало уравнивания сословий на поприще земской деятельности.

И вот торжественные собрания и банкеты по случаю юбилея земских учреждений показали, что передовые традиции вовсе не иссякли в земской среде и что под пеплом все еще тлеют искры, готовые вспыхнуть при подходящем случае. Наружная тишина, водворившаяся с 1882 г., оказалась в этот момент обманчивой, и земская Россия вдруг подала свой голос, прозвучавший протестующей отповедью против господствующего политического курса.

В юбилейных речах было указано ясно и решительно, что развитие всесословного общественного самоуправления есть неременное условие политического прогресса и что власть, действующая вопреки этому принципу, идет наперекор самосознанию русского общества. В особенности сильное впечатление было при этом произведено выступлениями некоторых заслуженных ветеранов земского дела. Такова была речь Шумахера в Петербурге и в еще большей мере сильная речь, сказанная бывшим московским городским голо-

вой князем Щербатовым на юбилейном обеде в Москве. «Плохую услугу, — сказал между прочим князь, — оказывают правительству те консерваторы, которые возбуждают правительство против земства».

Я заметил выше, что протесты против господствующих течений внутренней политики прорывались норою в те годы даже в дебатах дворянских собраний при обсуждении предложений о различных ходатайствах, направленных на усиление привилегированного выделения дворянства из среды прочих сословий. Ретроградные группы дворянства смотрели на дворянские собрания как на главный рупор для своих ретроградно-сословных вождедений и в различных ходатайствах, возбуждавшихся перед правительством на этих собраниях, можно найти изложение всех сословно-политических притязаний этой группы. И все же и в дебатах дворянских собраний не однажды раздавались нежелательные для ретроградов диссонансы.

Помнится мне, например, отмеченное всей тогдашней печатью и обратившее на себя общее внимание заседание харьковского губернского дворянского собрания на исходе 80-х годов. На этом заседании было предложено ходатайствовать перед правительством «о мерах, которые могли бы возратить дворянству ту силу, власть, почет и уважение, какими оно пользовалось до освобождения крестьян», и далее следовал ряд пунктов по охране дворянского землевладения, по различным имущественным привилегиям и по предоставлению дворянству исключительно руководящего положения в земских собраниях. С решительным возражением выступил тогда общественный деятель Гордиенко. Он говорил о том, что дворянство вовсе не должно стремиться к исключительным привилегиям и к внешним мерам по поддержке его имущественного положения, но должно искать в себе самом средств для борьбы с условиями, тормозящими его развитие. Правда, большинство собрания оказалось не на стороне Гордиенко, но все же его выступление произвело сильное впечатление. То не был совершенно одинокий случай. То там, то здесь в дворянских собраниях разыгрывались инциденты, показывавшие, что далеко не все дворянство идет на поводу у тех вожаков

ретроградной группы дворянства, которые вступили в союз с бюрократическими проводниками контрреформ.

И особенную внушительность получали эти протесты против превозобладавшего реакционного курса, когда они исходили из уст авторитетных деятелей земских и дворянских собраний, чьи имена говорили многое людям, знакомым с недавним прошлым русской общественной жизни.

Надо, однако, сейчас же добавить, что недовольство господствующими тенденциями внутренней «охранительной» политики высказывалось тогда вовсе не только отдельными наиболее просвещенными представителями умеренно-либеральных кругов. Нет, бывали моменты, когда некоторые вызывающие действия реакционно настроенных министров встречались взрывом негодования в самых широких кругах населения. Живо помню один такой момент, когда общество пришло в состояние такого возбуждения, что обычное представление о том периоде как о царстве сплошной немоты всем помнящим этот момент должно казаться большим преувеличением.

Не раз уже упомянутый мною министр народного просвещения Делянов вдруг разразился циркуляром об ограничении приема в гимназии и прогимназии детей малосостоятельных родителей, принадлежащих к низшим сословиям.

Циркуляр этот был совершенно незаконным, ибо шел прямо вразрез с ясным текстом гимназического устава; а Устав гимназии был законом, который нельзя было отменить или заменить министерскими циркулярами. В Уставе в ст. 23 было сказано категорически: «В гимназиях и прогимназиях обучаются дети всех состояний, без различия звания и вероисповедания». Невзирая на это, Делянов в своем циркуляре предписывал, чтобы в гимназии и прогимназии впредь были принимаемы только дети или воспитанники людей состоятельных и «благородных», т.е., как сказано было в циркуляре, — «только такие дети, которые находятся на попечении лиц, могущих иметь над ними нравственный надзор и предоставить нужные для учения удобства».

Повторяю, циркуляр представлял собою вопиющее превышение власти со стороны министра. Но не столько этим обстоятельством было задето тогда общество в самых разнообразных слоях своих, сколько мотивировкой министерской меры, которая была приведена в заключение циркуляра. Там было написано буквально следующее: «При этом гимназии и прогимназии освободятся от детей кучеров, лакеев, поваров, кухарок, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей».

Можно сказать без всякого преувеличения, что при появлении этого циркуляра (его тотчас же прозвали циркуляром «о кухаркиных детях») вся якобы немая как рыба Россия 80-х годов заголосила благим матом, выражая величайшее возмущение этим непринужденным провозглашением крепостнических тенденций министра. Во всех домах только и речи было что о неслыханном циркуляре; все и каждый приняли его как самое грубое оскорбление, нанесенное не только людям низшего общественного положения, стремящимся доставить образование своим детям, но и как оскорбление, нанесенное всему обществу, кагоров вынуждалось выслушивать из уст правительства заявления, возмущавшие чувство общественного приличия. Помню, как раз в это время к нам в Москву заехал мой дядя А.Н.Турчанинов, крупный старый петербургский адвокат, возвращавшийся в Петербург из поездки по провинции. Он приехал, крайне взволнованный своими путевыми впечатлениями. Как сейчас слышу его возбужденный рассказ: «От Одессы до Москвы, по всей России идет сплошной гул возмущения. В какой вагон ни войдешь — все кричат в один голос о пресловутом циркуляре, и фамилия Десянова склоняется во всех падежах с присоединением самых энергичных прилагательных». Долго-долго этот циркуляр «о кухаркиных детях» не давал покою самым уравновешенным людям и оставался «притчей во языцех».

Сам по себе этот циркуляр, конечно, был характернейшим симптомом, рисуящим настроение тогдашних правящих сфер. Ведь и вообразить невозможно, чтобы подобный циркуляр мог появиться из-под пера министра не только в 60-х годах, но даже и во второй половине 70-х годов. Но не менее показательны и то дружное и

резкое возмущение, каким он был встречен со стороны самой широкой массы общества. Правда, что возмущение не вылилось тогда в форму какого-либо организованного протеста: не такое было время. Но сила этого возмущения была такова, что чуткие правители заметили бы его и сделали бы отсюда для себя надлежащие выводы. Они поняли бы, что идти напролом вразрез с настроениями массы небезопасно и что таким путем дело дойдет со временем до новых, уже организованных протестов.

Итак, не следует преувеличивать апатического равнодушия общества к вопросам государственной жизни и его готовности покорно соглашаться со всеми действиями власти в 80-х годах XIX столетия. Затишье было не абсолютным, а только относительным, и к концу десятилетия начали уже обозначаться довольно явные признаки назревающего пробуждения общественной энергии/

II

Как же слагалась духовная жизнь университетской молодежи в условиях только что очерченной общественной обстановки?

В первой главе я уже изложил свой взгляд на два полярно противоположных явления студенческой жизни тех годов: на «студенческие истории» и на «белоподкладничество». Я указал, что, на мой взгляд, не следует ни преувеличивать общественного значения того или другого явления, ни считать, что ими наполнялось и исчерпывалось содержание духовного обихода молодежи того поколения. Это были лишь наиболее кричащие симптомы, как бы сказать — подчеркнутые курсивом строки в биографии тогдашней студенческой молодежи, но ими вовсе не определялось содержание основного текста этой книги.

Так называемые «студенческие истории» вспыхивали время от времени как своего рода суррогат не существовавшего тогда «политического движения». Так, в 1884 г., в сентябре произошли студенческие беспорядки в Киеве в очень неприятной с оттенками хулиганства форме бросания камней в окна Киевского университета, где в это время происходил торжественный акт. Гораздо серьезнее оберну-

лась «студенческая история» в Москве в ноябре 1887 г., начавшаяся с того, что на студенческом концерте студент Синявский дал пощечину инспектору Брызгалову, о чем я уже упоминал в первой главе. На этот раз беспорядки затянулись, разрослись и перекинулись в другие университетские города — Харьков, Одессу, Казань. Но все эти эксцессы с окраской политического протеста против существующего государственного режима по причинам, отмеченным в первой главе, не имели серьезного значения и захватывали, в сущности, очень небольшую часть студенчества. Не было характерным для массы студенчества и так называемое «белоподкладничество», состоявшее в намеренном афишировании своей политической благонадежности. Это течение бросалось в глаза именно потому, что его представители сами старались выдвинуться напоказ и щеголяли своей ретроградностью. Но опять-таки основная студенческая масса стояла совершенно в стороне от этой показной шумихи.

Что же представляла собой эта масса? Если студент-бунтарь и студент-«белоподкладчик» не были типическими представителям студенчества 80-х годов, то можно ли вообще говорить о каком-нибудь определенном тине студента-восьмидесятника в отличие от студентов 60-х и 70-х годов? Я думаю, что можно, но только особенности этого тина надлежит определить иначе, чем это часто делается.

Типичный студент-восьмидесятник вовсе не был индифферентен к общественным вопросам и вовсе не был чужд сознанию гражданского долга. Но — для него было характерно отсутствие революционного пыла и веры в целесообразность и спасительную силу революционных методов политической борьбы. В этом поколении студенческой молодежи, — за вычетом прирожденных «обывателей», которыми богато всякое поколение даже в наиболее бурные моменты политической жизни, — решительно преобладало убеждение в том, что революционные эксцессы не создают переломов в жизни государства, а являются лишь следствием уже назревшей перестановки государственно-общественных отношений в стране, своего рода вскрытием нарыва, между тем как творческая работа, созидаящая прогресс, есть работа по необходимости медлительная, молекуляр-

ная, требующая погружения в терпеливую возню с будничными мелочами текущей жизни.

Решимость отдаться такой-то работе и диктуется велениями правильно понятого гражданского долга. Если хотите, эта была проповедь «малых дел», но проповедь особого рода. Это был призыв к «малым делам» ради больших результатов, а вовсе не отрицание стремления к этим большим результатам. Мысль о том, что путь к большим результатам лежит через упорную работу в области малых дел — капля долбит камень! — превозобладала в поколении восьмидесятников, несомненно, в связи с только что перед тем пережитым крахом революционного движения. Вот почему молодежь этого поколения не испытывала влечения к участию в «заговорах», в конспиративных таинствах, в героических актах самопожертвования без уверенности в целесообразности такого героизма; этот героический путь утратил для людей того поколения романтическую привлекательность одновременно с утратой веры во всемогущество революционных экспромтов. Очень важно отметить, что это не было принципиальным осуждением революционного пути; это было только признанием его нецелесообразности. Не было тут и отказа от героизма во имя гражданского долга; но тут было новое умонастроение, приводившее к убеждению, что героизм гражданина состоит не только в том, чтобы ставить свою жизнь на карту, но не в меньшей степени также и в том, чтобы обречь себя на терпеливую, не эффективную, но требующую громадного расхода нервной силы молекулярную работу общественного строительства.

Из сказанного выше читатель усмотрит, что это настроение ничего не имело общего с сведением общественной работы «к лужению умывальников», по крылатому выражению Салтыкова. Нет, это было стремление служить определенным общественным идеалам и ради этой именно цели погрузиться в самую гущу жизни, не брезгуя будничной общественной деятельностью, но именно в ней-то и полагая выполнение своей гражданской повинности.

Вот почему, кончая университетский курс, мы не мечтали стать революционными героями; нас манила к себе легальная общественная деятельность; но на этой легальной почве мы все же готовили

себя к борьбе за свои идеалы, борьбы терпеливой, настойчивой и неуклонной.

И теперь, оглядываясь на прошлое, можно сказать, что наше поколение выделило-таки из себя достаточное количество людей, которые действительно энергично впряглись в общественную работу и сыграли немалую роль в составе центрального кадра русской прогрессивной общественности в 90-х и 900-х годах.

Через мглу унылого «затишья» 80-х годов эти люди пронесли в целостности закал общественного идеализма, и, когда в 90-х годах «затишье» стало сменяться новым подъемом общественной энергии, «восьмидесятники» не только не затерялись в процессе этого подъема, но выдвинули на общественную арену целую фалангу энергичных деятелей. Под легальной деятельностью эти люди никогда не разумели слепого послушания господствующему курсу политики, и их «легальная» оппозиция политике контрреформ дала им хорошую школу для политической работы в последовавший позднее период нового общественного оживления.

Все же обстановка «затишья» оставляла немало свободного времени, которое можно было заполнять удовлетворением духовных интересов, лежавших вне сферы чисто политической. И я должен засвидетельствовать, что поколение 80-х годов отдавало значительную дань увлечению литературой, наукой и искусством. Характеризовать это поколение как чуть ли не сплошь состоявшее либо из прожигателей жизни, либо из смиренномудрых скопидомов, уходивших в растительное существование, нет никакого основания, хотя это делалось нередко с целью стилизованного изображения «периода реакции».

Каким же литературным течением отдавали преимущественно свои симпатии читатели-восьмидесятника? У ретроградных кругов были тогда свои излюбленные романисты — Маркевич, Авсеенко, Орловский и др., но их романы вовсе не пользовались широким успехом в читательской массе. Литературные симпатии большинства были направлены совсем на иную сторону, и мы опять-таки встречаемся здесь с доказательством того, что представление о полном

торжестве реакционных настроений в обществе того времени далеко не соответствует действительности.

Достоевский и Тургенев умерли в самом начале восьмидесятых годов. Гончаров давно уже покончил с писанием романов. Островский находился в периоде бледного заката своей яркой творческой деятельности, и его последние драмы производили впечатление старческой утомленности. Он умер в 1886 г. Но на арене литературы еще действовали Салтыков и Лев Толстой. О Салтыкове и громадном успехе его общественных сатир я уже говорил выше. Толстой именно в 80-х годах произвел большой шум отречением от художественного творчества, проповедью опрощения, непротivления злу, воздержания от угождения своей плоти во всех его формах, призывом к углублению в вопросы личного нравственного совершенствования и пренебрежительным отношением к заботам о реформировании политических учреждений.

Одно время увлечение «толстовством» охватило известную часть молодежи. Прозелиты «толстовства» бросали университет, обрекали себя на аскетическое существование, пробовали устраивать вдаль от городской жизни колонии с целью «жизни по Толстому», трудами рук своих, в коммунах единомышленников. Но это течение никогда не получало такого широкого развития, чтобы про него можно было сказать, что оно налагало печать на духовный склад целого поколения.

Конечно, роль Льва Толстого в духовной жизни русского общества была громадна. Но, разбираясь в существе этой его роли, приходишь к любопытным наблюдениям. Толстой воздействовал на общественную массу, — не говоря о членах его специальной паствы, которая никогда не была очень велика, — не содержанием своей проповеди, а теми дарами своей могучей души, которые, в сущности говоря, содержанию этой проповеди как раз противоречили. Толстой проповедовал философию непротivления злу, а в основе своей природы он был прирожденным бунтарем-протестантом. Восстать против господствующего течения — вот в чем состояло всегда непосредственное влечение его души, и восстать бурно, гневно и стремительно, так, чтобы все вздрогнули и почували, какая неудержи-

мая сила протестующего напора надвинулась на них. Вот эта-то бунтующая сила и вызывала общее трепетное восхищение от выступлений Льва Толстого — учительных и обличительных. Он провозглашал: «Не противься злumu», — но провозглашал это с такой бурной властью, что все приходило в восторг от неукротимости его духовной силы. Вот почему сам Лев Толстой, в сущности, никогда не был «толстовцем». «Толстовцы» это — ягнята, старающиеся с буквальной точностью выполнять предписания «учителя» о смирении и самоотречении. А Толстой был львом не только по имени, но и по душевному складу, и от «смирения» его душа всегда была отдалена на тысячи верст. В этом проповеднике непротivления общество всегда восторгалось боевым духом и, если было бы нужно привести такое его изречение, которое формулирует истинное существо его воздействия на общественную массу, то, конечно, таким изречением было бы вовсе не «не противься злumu», а — «не могу молчать».

В порыве увлечения своей проповедью самоусовершенствования Толстой осудил свое художественное творчество как ни к чему не нужную забаву. Но в то время как его правoverные ученики пережевывали на все лады его осуждения эстетики, сам Толстой вдруг загорался поэтическим вдохновением и подносил культурному миру неожиданный сюрприз в виде новых великих художественных созданий. Так, в 1886 г. появилась «Смерть Ивана Ильича», а в 1887 г. — «Власть тьмы», и появление этих двух шедевров Толстого составило два крупнейших события в русской литературе 80-х годов.

Всем сказанным я хочу указать на то, что вопрос об источниках и характере воздействия Толстого на общественное сознание поколения 80-х годов очень сложен и чрезвычайно опрометчиво поступают те, кто в поклонении Толстому в 80-х годах хотят видеть проявление убыви протестующих общественных настроений у «восьмидесятников». Из скитов и колоний опрошенцев-толстовцев не вышло никакого цельного «течения». А вот львиная сила толстовского гения восхищала людей, и чувствовали люди в этой силе зов вовсе не к смирению, а к активному проявлению своей личности.

Но Лев Толстой стоял на особенной высоте, и в конце концов преклонение перед его художественным даром охватывало всех без

отношения к различию общественных идеалов. А какие же писатели были тогда любимцами публики не только по их художественному дару, но и по их общественным тенденциям?

Чехов начал вырисовываться на горизонте литературы лишь в самом конце 80-х годов, расцвет его писательства относится уже к следующему десятилетию; пока же был только Антоша Чехонте, беззаботно разбрасывавший бриллиантовые брызги своего юмора на страницах «Будильника» и лейкиных «Осколков».

Кто же властвовал над умами с сердцами молодого поколения 80-х годов?

В стихотворной поэзии царил Надсон. Можно быть разного мнения о значительности его поэтического дарования. Я не принадлежал к его поклонникам и всегда находил, что восторги перед его музой были сильно преувеличены. Но увлекались им тогда чрезвычайно. И чем же он подкупал читателей?

Поэзия Надсона вся была проникнута призывами к народолюбию, к равноправию и братству людей, к свободе и к признанию достоинства человеческой личности. Итак, можно ли обвинять в измене прогрессивным идеалам то поколение, которое признало такого поэта певцом своих заветных чувств и стремлений?

И эти же 80-е годы были временем расцвета литературной славы Короленки. «В дурном обществе», «Сон Макара» сразу привлекли к молодому писателю любовь читающей массы. «Скажи мне, кого ты читаешь, и я скажу, кто ты таков». Восьмидесятники зачитывались Надсоном и восхищались Короленкой. Этим сказано все, и довольно распространенное мнение о том, что в 80-х годах образовался какой-то перерыв в традиции русской интеллигенции, кажется, уже и не требует дальнейшего опровержения.

Крупную роль в общественной жизни тогдашней Москвы играл театр. Московский Малый театр, этот Дом Щепкина, находился тогда в зените своего расцвета. Правда, не было уже в живых Шумского, а Самарин ушел со сцены, пораженный тяжелой нервной болезнью, и вскоре тоже скончался. Но сцена Малого театра блистала такими артистами, как Федотова, Ермолова, Никулина, Акимова, Медведева, Садовская, к которым с 1888 г. присоединилась Лешковская, а среди

артистов находились такие первоклассные художники сцены, как Ленский, Южин, Горев, Рыбаков, Садовский, Музиль, Макшеев, Правдин. Ведь каждое из этих имен — целая глава из истории русского драматического искусства. А соединение всех этих крупнейших дарований на одной сцене создавало такой восхитительный художественный ансамбль, что каждый спектакль Малого театра представлял собою торжество искусства, наполнявшее душу зрителя неизъяснимым эстетическим наслаждением.

Репертуар Малого театра слагался тогда из двух элементов. Во-первых, то были бытовые пьесы из текущей жизни, и тут первенствовали драмы и комедии Островского, и во-вторых, то были классические трагедии и драмы Шекспира, Шиллера, Гете, Виктора Гюго, Лопе де Веги. Островский разыгрывался великолепно, в комедиях «Волки и овцы», «Бешеные деньги», «На всякого мудреца довольно простоты» и проч. художественный ансамбль достигал необычайного совершенства. А в драмах Ермолова и Федотова потрясали зрителей силою драматической страсти. Особенное значение — и не только эстетическое — имел в обиходе тогдашней общественной жизни так называемый классический репертуар. Постановка «Орлеанской Девы», «Марии Стюарт», «Звезды Севильи», «Гамлета», «Отелло», «Ричарда III», «Эрнани» — все это были целые события, впечатления от которых западали в душу москвича на всю жизнь. В этих трагедиях величайшая трагическая актриса нашей эпохи Ермолова поистине «ударяла по сердцам с неведомою силою», раскрывая перед зрителями преисполненные героическим пафосом страдания женской души. Ермолову недаром называли нередко «Мочаловым в юбке». Она творила порывами, но эти порывы бывали так могучи, что они захватывали театральную толпу, словно стихийным вихрем, и уносили ее далеко-далеко от будничной действительности в светлое царство героической мечты. А партнершей Ермоловой являлась Федотова, ученица Щепкина и Самарина, актриса огромного таланта и тонкого и глубокого ума. Подобно тому как в 40-х годах на сцене Малого театра Мочалов и Щепкин, — один весь безотчетный порыв страсти, а другой великий аналитик, соединявший огненную страстность с глубокой детальной разработкой роли, — дополняли друг друга; совершенно так же в 80 — 90-х годах мочаловская стихия

Ермоловой восполнялась щепкинской стихией Федотовой, у которой все было тонко обдуманно, глубоко изучено и отшлифовано, однако отнюдь не в ущерб силе чувства. Вообразите же себе, свидетелями какого великого праздника искусства являлись московские театральные зрители, когда в трагедии Шиллера «Мария Стюарт» знаменитый диалог двух королей — Марии и Елизаветы — исполнялся Ермоловой и Федотовой и каждая из них воспаряла при этом на вершину своего вдохновения! Таких минут не забудешь во всю жизнь.

В этих классических трагедиях все крупнейшие артисты московского Малого театра умели органически соединять героический пафос с глубокой человечностью, с художественной правдой сценического изображения. То не были напыщенные и надуты декламационные вещания поставленных на ходули героев. Между выведенными на сцену героями и зрителем тут протягивалась духовная связующая нить, и, чувствуя в сценическом герое живого человека, зритель начинал ощущать, что ведь и сам он может превратиться в героя при известном сочетании жизненных условий. И пусть на следующее утро после спектакля будничная действительность разбивала эти мечты, все равно — пережитое ощущение оставляло свой след в каких-то потаенных складках человеческой души. Вот почему эти спектакли несомненно имели воспитательное общественное значение; со сцены как бы доносился призыв: «горе иметь сердца» и москвичу, порою готовому захлебнуться в стоячих водах безвременья, с подмостков Малого театра как бы бросался спасательный круг.

Не потому ли москвичи так любили этот Дом Щепкина и так ревностно наполняли его зрительную залу?

Величайший интерес вызывали в московской публике приезды из-за границы знаменитых гастролеров. Я не застал в Москве гастролей Сары Бернар. Но в качестве страстного театрала я чрезвычайно увлекся тем оживлением и теми эстетическими спорами, которые были вызваны в Москве в середине 80-х годов приездом двух немецких трагиков: Поссарга и Барная. Остановлюсь несколько на этом эпизоде, тем более что в связи с ним мне посчастливилось познакомиться с последним могикинином эпохи 40-х годов, с живым современником Хомякова и Грановского!

Поссарт и Барнай были представителями двух различных школ сценического искусства. У Поссарта все было направлено на внешний эффект. Прекрасный рост, чудный музыкальный голос, скульптурная пластичность поз давали ему возможность достигать ярких результатов. Но о художественной целостности исполнения он не заботился, лишь бы только каждый отдельный момент поразил зрителя внешней красотой. Его позы были картинны, но утрированно-искусственны; его декламация состояла из певучих завываний и трагических воплей. Напротив того, Барнай соединял с сильной трагической экспрессией смелые приемы художественного реализма. Оба они исполняли одни и те же роли, давая им совсем различные окраски, и от этого само собою напрашивалось сравнение между ними.

Оба гастролера имели громадный успех. Как видите, публика разделилась на партии: поссартистов и барнаистов, — и что творилось тогда в фойе театра в антрактах между действиями! Можно было бы подумать, что там идет сплошной митинг, на котором люди страстно обсуждают самые насущные свои интересы. Все разбивалось на кучки и кружки. В каждом кружке кипел горячий спор. Все кричали и сильно жестикулировали. Обсуждали каждую сцену, и поссартисты и барнаисты чуть ли не с пеною у рта обрушивались друг на друга.

А над всей этой волнующейся толпой воздымалась обрамленная гривой длинных седых волос голова высокого старца, который сам был похож на изображаемого на сцене короля Лира.

То был Сергей Андреевич Юрьев, известный всей Москве философ, журналист и театрал, переводчик Шекспира и Лопе де Веги, живой свидетель сценических триумфов Мочалова и Щепкина. В его лице поколение 80-х годов воочию видело перед собою представителя той памятной в истории нашего общественного развития плеяды, за которой закрепилось наименование «идеалистов 40-х годов». Это было прямо какое-то чудо. Я с трепетом взирал на этого старца и долго не мог прийти в себя от мысли, что вот этот самый человек некогда присутствовал при спорах Герцена с Хомяковым, беседовал с Белинским и Грановским. И самое пленительное было то, что этот

«отсталый из стан славной» идеалистов 40-х годов предстоял теперь перед нами не в виде полуживой руины, а полный огня и одушевления, весь охваченный кипением неугомонного духа. Культ театра составлял, кажется, в эти годы центральный пункт в духовных интересах этого бывшего посетителя Елагинского салона. О театре он мог говорить без конца с бурным увлечением, и тогда глубокие глаза этого старца горели юношеским огнем. И в антрактах в фойе театра он бросал в толпу, окружавшую его тесным кольцом, целые импровизации, в которых цитаты из Лессинговой «Гамбургской драматургии» перемежались с личными воспоминаниями из славного прошлого русской сцены. Это были как бы бесплатные приложения к театральному представлению, и серьезные театралы ценили их не менее самого спектакля. Я с истинным восторгом любовался этим старцем, когда он с запальчивостью восклицал: «Ваш Поссарт — просто великий сценический мошенник!», — намекая на то, что игра Поссарта состоит из искусственных эффектов. Он горой стоял за художественный реализм Барная, и так как это вполне совпадало с моим собственным настроением, то и нет ничего удивительного в том, что я скоро очутился в кабинете Юрьева. Произошло это следующим образом.

Я и мой приятель Сторожев, с которым мы сошлись на почве увлечения театром, а потом через много лет резко разошлись, когда он стал вилять хвостом перед большевиками, задумали сделать Барнаю на его бенефисе подношение особого рода. Мы перевели на немецкий язык статью Белинского об игре Мочалова в «Гамлете», написали к этой статье предисловие с разъяснением, кто такие были Белинский и Мочалов, и решили поднести Барнаю этот литературный презент, разумеется, в изящной папке, украшенной портретом Мочалова.

Вот тогда-то я и подошел в театре к Юрьеву поделиться с ним нашим замыслом и узнать его мнение насчет нашего плана. Старик пришел в восторг и, к моей великой радости, пригласил меня к себе потолковать о театре.

Еле дождавшись назначенного дня, я стрелой налетел к Сухаревой башне, близ которой на Садовой жил Юрьев в маленьком,

довольно ветхом домишке⁷. И вот — вообразите себе такую сценку: в маленьком кабинетике сидит за столиком юный студент, весь ушедший в слух и зрение. Стакан чая стоит перед ним на столике. А по кабинетнику шагает высокий старик, длинные седые волосы его развеваются локонами, он усиленно жестикулирует и густым басом без умолку говорит о театре, о том, как Мочалов играл Гамлета и Лира, о том, какие дальнейшие перспективы раскрываются перед русским театром и т.д. Он говорит, и ходит, и время от времени приостанавливается у столика, и прихлебывает чай... из моего стакана. Так он и выпил весь стакан, любезно им мне предложенный. То было проявление баснословной рассеянности Юрьева, о которой куча анекдотов ходила по Москве. Приведу два образчика. В одном либерально-великосветском салоне Юрьев после горячей тирады о конституции подошел к хозяйке проститься. Рядом с хозяйкой на пышном пуфе торжественно возлежала породистая кошка. Юрьев, к ужасу хозяйки, схватил кошку, положил ее себе на голову, думая, что надевает шляпу, и в таком виде направился к выходу. Юрьев был очень дружен с Островским. Как-то раз утром он говорит слуге: «Отнеси Островскому эту записку». Слуге идти не хотелось. Он выждал, когда барин поедет из дому, и подавая Юрьеву пальто, как бы между делом говорит ему: «Сергей Андреевич, вот тут какая-то записка к Островскому, может быть, вы отвезете ее». Юрьев, думая совсем о другом, машинально берет у слуги записку и, забывая, куда он хотел ехать, велит кучеру везти себя к Островскому. Приехав к Островскому, он, конечно, уже забыл о записке, просидел у Островского весь вечер в приятельской беседе, но уже уезжая, вдруг вспомнил про записку и говорит: «Ах, я забыл, ведь меня просили передать тебе какую-то записку». Развернул Островский записку и прочел в ней: «Никак не могу сегодня у тебя быть. Твой Юрьев».

7 Салтыков, очень любивший Юрьева, в одной из своих сатир писал: "Есть еще в Москве милые чудачки, которые каждое утро выходят из дому посмотреть — кто выше: Шекспир или Сухарева башня?"

Москва горячо любила Юрьева. Он умер, как и жил, — энтузиастом театра, свято выполняя призыв Белинского: «Идите, идите в театры; идите и умрите там». Ехал Юрьев вечером на извозчике и вдруг почувствовал себя дурно. Извозчик спрашивает: «Куда везти вас, барин?» — «В театр», — крикнул Юрьев и впал в бессознательное состояние. Извозчик привез седока в театр. Юрьева под руки ввели в театральные сени, и он — тут же скончался.

Много лет спустя Федотова говорила мне, вспоминая былое: «Мы, актеры, бывало, не на то смотрим, много ли публики в театре, а ищем глазами, пришел ли Юрьев. Коли пришел — ну, значит, вечер будет интересный; в каждом антракте он прибежит за кулисы и по косточкам разберет игру каждого актера; ни одного промаха не оставит без замечания, а коли похвалит, то-то была радость!»

Увлечение театром не мешало моим научным занятиям. Уже с третьего курса университета я взял себе у Ключевского тему для кандидатского сочинения и на два года с головой погрузился в памятники исторической старины. Я занялся историей служилого землевладения XVI–XVII столетия. С величайшим наслаждением вникал я в исторические источники и проштудировал в течение двух зим весь печатный материал указов и юридических актов, относящихся к поместному и вотчинному землевладению эпохи Московского государства. И конечно, как это всегда неизбежно бывает, тотчас от специального вопроса моих изысканий протянулись нити к целому ряду других смежных вопросов; мои штудии все расширялись, и к концу университетского курса я уже чувствовал себя, что называется, подкованным по части русской истории и мог замахивать к Ключевскому, не опасаясь явиться перед ним желторотым птенцом, понапрасну отнимающим время у своего учителя. Ключевский встречал меня чрезвычайно радушно, и те беседы, которые мне довелось с ним вести, принадлежат к лучшим моим воспоминаниям о тех далеких годах.

Наконец настал вождеденный день, когда я отнес Ключевскому увесистую тетрадь с моим кандидатским сочинением по истории служилого землевладения. Он взял ее себе на лето. Все мои экзамены в университете были покончены. Пора студенчества была завершена.

Цель жизни стояла перед моим сознанием с полной отчетливостью: я буду ученым историком, и предметом моих изучений будет история России. А пока, на ближайшее время, придется обзавестись уроками в гимназии. На первый случай мне удалось через моего близкого друга, учительствовавшего в гимназических классах при Лазаревском институте восточных языков, заполучить девять уроков по географии. В то время преподавать географию полагалось историкам. Уже гораздо позднее этот нелепый порядок был изменен и преподавание географии в гимназиях было передано естествоведам.

Итак, я — импровизированный географ! С осени мне предстояло начать свои уроки. Надо было хоть немного к тому подготовиться. Я нагрузился всякими учебниками и пособиями и уехал с ними в деревню, на дачу. Лето было прекрасное. Все время до начала учебных занятий я пролежал в сосновой роще, обложенный учебниками, и, вдыхая бальзамический аромат сосен, напитывал себя географической премудростью. А когда осенью я вернулся в Москву, меня ожидала там большая радость. Я зашел в канцелярию университета и увидел там Ключевского. Он сказал мне, что мое кандидатское сочинение дает ему основание предложить мне вопрос: не хочу ли я быть причисленным к его кафедре для подготовки к профессоруре. «Это — моя заветная мечта», — ответил я Ключевскому, а он заметил: «И мечта эта имеет все шансы осуществиться как нельзя лучше».

Через некоторое время мне удалось прочесть представление о моем оставлении при университете, поданное Ключевским в факультет. Краска бросилась мне в лицо, когда я прочитал лестные для меня строки, написанные мелким бисерным почерком Ключевского.

Началась новая пора моей жизни. Нечто новое начиналось и в жизни русского общества. «Затишье» приходило к концу. В 1888 году я окончил университет, а в 1891 г. разразился неурожай и голод и общество встрепелось. 1891 год явился решительною гранью в ходе общественных настроений. Начинаясь 90-е годы обещали быть во многом непохожими на только что изжитое десятилетие.

Глава V. Оживление

I

В июле 1891 г. в печати появилось письмо одного сельского священника из глуши Казанской губернии с извещением о том, что автору письма пришлось только что в одной деревне причастить 20 крестьян, изнемогших от голода, и некоторые из них затем умерли. Это сообщение не осталось одиноким. Такие же известия стали приходиться из других местностей той же Казанской губернии, а также из губерний Саратовской, Тамбовской и др.

Скоро перед обществом раскрылась уже со всей отчетливостью картина страшного бедствия, охватившего значительную часть европейской России. Неурожай постиг многие губернии, но зловещее значение этого бедствия состояло в том, что неурожаем был вызван подлинный голод в селениях неурожайного района. Люди вместо хлеба стали питаться такими суррогатами, которые, нисколько не насыщая организма, порождали тяжелые заболевания. Начался мор.

Внезапно налетевшая беда приняла такие размеры, что власти, подчас склонные прикрывать страшную действительность шаблонной картиной казенного благополучия, на этот раз не сочли возможным замалчивать грозного бедствия. В газетах появилось воззвание образованного в Саратове продовольственного комитета за подписью Саратовского губернатора Косича. В этом воззвании говорилось, что во многих местностях Саратовской губернии не родилось ровно ничего, не получено даже и семян, яровые все погибли, нет ни хлеба, ни соломы, все денежные и хлебные запасы истощены, и точно такой же голод свирепствует в соседних губерниях.

Все эти вести произвели потрясающее впечатление на общество. Чрезвычайные губернские земские собрания подсчитали размер пособий, необходимых для обсеменения полей и продовольствия населения в местностях, пораженных неурожаем, и оказалось, что на удовлетворение этой неотложной нужды не хватит наличных продовольственных капиталов — ни местных, ни общеимперского. Словом, и перед властью, и перед обществом вдруг встала задача —

отодвинуть все прочие дела и спешить на помощь туда, где смерть от голода уже начала косить беззащитное население.

Правительство стало отпускать экстренные ассигновки на продовольствие и обсеменение полей в 18-ти наиболее пострадавших губерниях. К началу декабря 1891 г. эти экстренные ссуды превысили 50 милл. рублей. А по всему фронту русской общественности раздался призыв: «На голод!» Всюду начали возникать местные комитеты, открывались на частные средства столовые, интеллигенция устремилась толпами в голодающие районы для организации помощи.

Реакционная пресса отнеслась было враждебно к этому движению, и в «Московских ведомостях» появились статьи с указаниями на искусственный характер и возможную политическую опасность «от всей этой шумихи». Но народное бедствие было слишком трагически реально, чтобы эти экивоки ретроградных публицистов могли произвести желательное для авторов впечатление. На этот раз власть поспешила санкционировать проявление частного почина, и уже 1 октября появился циркуляр министра внутренних дел, в котором прямо было признано необходимым, чтобы наряду с земскими учреждениями и официальными комитетами к оказанию помощи голодающему населению были допускаемы и частные «попечительства и комитеты», а 17 ноября 1891 г. был опубликован уже Высочайший рескрипт на имя наследника престола, в котором была отдана справедливость — «великодушным усилиям частной благотворительности, ставшей на святое дело христианского милосердия». Тем же рескриптом возвещалось об учреждении под председательством наследника престола Особого комитета для оказания помощи нуждающимся в неурожайных местностях, и в круг задач этого комитета было включено оказание поддержки усилиям частных благотворителей. Этот Особый комитет собирал пожертвования (за время своих действий — с декабря 1891 г. до конца февраля 1893 г. — он собрал около пяти милл. рублей от жертвователей и 8 с половиной милл. рублей выручил от двух благотворительных лотерей) и направлял жертвуемые суммы в распоряжение различных местных организаций. Одновременно с учреждением Особого комитета было учреждено еще Особое совещание под председательством Абазы для организа-

ции в пострадавших от неурожая местностях общественных работ. На эту цель правительством было ассигновано около 12 милл. рублей, а заведывание организацией общественных работ было возложено на генерала Анненкова.

Итак, власть решила не ставить преград проявлению частной инициативы в борьбе с голодом. И в 1891–1892 гг. (неурожаем повторился и в 1892 г.) «работа на голоде» захватила значительную часть общества и приняла характер общественного движения.

Одним из первых горячо откликнулся на народную беду Лев Толстой. Еще до того как Высочайший рескрипт 17 ноября 1891 г. заградил уста ретроградным газетчикам в их нападках на частную инициативу, Лев Толстой напечатал пламенный призыв к общественной самодеятельности в борьбе с голодом и сам немедленно отправился открывать столовые в голодающих районах. Тотчас в распоряжение Толстого со всех сторон полились пожертвования. Короленко принял также деятельное участие в организации помощи населению Нижегородской губернии и раскрыл в печати нашумевшую так называемую «Лукояновскую историю», т.е. неправильные действия местных властей Лукояновского уезда, которые стремились ко всякому сокращению продовольственной помощи.

Эта двухлетняя «работа на голоде», в которой приняли участие многочисленные добровольцы, повлекла за собой решительный поворот в общественных настроениях. Картины народного бедствия произвели на всех, кто «работал на голоде», потрясающее впечатление и вызвали в обществе глубокое раздумье. Дело было не в том, что Россию постиг неурожай хлебов. То было стихийное бедствие, объясняемое атмосферическими условиями. Но почему неурожай обрек крестьянское население неурожайных местностей на голодную смерть? Почему деревня оказалась беззащитной перед лицом стихийного бедствия? Почему у нее не нашлось тех запасов, которые могли бы помочь ей пережить без особых страданий неурожайный год?

Было совершенно очевидно, что ответа на эти вопросы нужно было искать уже не в атмосферических условиях, а в социально-политической обстановке. Становилось слишком ясным, что в этой социально-политической обстановке кроется какой-то глубокий

порок, который никак нельзя было долее оставлять без внимания, не рискуя разорением крестьянского хозяйства, которое составляло фундамент всей экономической жизни страны. В чем же состоит основная болезнь русского государственного организма и как ее лечить? Вот вопросы, которые встали тогда перед общественным сознанием и к которым общественное внимание устремилось не во имя отвлеченно-теоретических интересов, а под давлением жгучей тревоги за дальнейшие судьбы родины. Ужасы голодного 1891 года предстали перед глазами общества как некий итог предшествующего периода контрреформ, когда правительственная власть вела политику, не отвечающую насущным интересам и потребностям народной массы, а общество охладело к вопросам государственной жизни и заняло позицию равнодушного постороннего зрителя того, что совершается на государственной арене. Работа на голоде и вывела общество из этого временного столбняка.

Новое настроение прежде всего выразилось в среде земских деятелей. В начале 90-х годов в земских кругах обнаруживается значительное оживление и снова выдвигаются давнишние стремления к созданию представительного государственного строя. Правительство втуне старалось выкурить из земской среды политический либерализм посредством переработки Земского положения в 1890 г. Положение 1890 г. усилило зависимость земства от коронной администрации, но это стеснение самостоятельности земства только разжигало раздражение земцев против правительственного режима. Положение 1890 г. усиливало в земстве дворянский элемент, но ведь далеко не все дворянство было проникнуто ретроградными настроениями, и в начале 90-х годов дворянство уже довольно резко раскалывалось на ретроградов, вздыхавших о временах крепостничества, и на широко просвещенных сторонников либерально-демократических преобразований. И теперь это либерально-демократическое направление в земской среде стало заявлять о себе все более громко. Одним из очень показательных проявлений этого политического оживления, обратившим на себя общее внимание в то время, были выборы в Весьегонское (Тверской губ.) уездное земское собрание, состоявшееся осенью 1891 г. На первом (т.е. дворянском) избирательном съезде единогласно был избран в земские гласные Федор Измаилович

Родичев, одно имя которого приводило в раж реакционеров и на которого на страницах ретроградной прессы обрушивались самые яростные хулы за его убежденное и красноречивое отстаивание конституционных начал.

Под впечатлением грозного народного бедствия в земской среде вновь оживились конституционные стремления 60 — 70-х годов, которые только затаились на время в 80-х годах, но вовсе не исчезли бесследно. Не паллиативами, а коренными реформами государственного строя надо лечить недуги государственного организма, — такова была исходная точка этих стремлений. Прогрессивная часть земцев находила в этом случае поддержку и сочувствие и среди так называемого «третьего элемента», т.е. земских служащих — врачей, статистов, агрономов и т.п. Все указывало на то, что в стране начинается брожение политической мысли.

В 1894 г. вдруг опять всплыло одно из тех явлений, от которых общество уже успело поотвыкнуть за предшествующее десятилетие. Появилась и стала обращаться в публике прокламация тайного политического общества, именуемого «партией народного права». В прокламации говорилось, что партия ставит своей задачей добиваться политической свободы путем объединения всех оппозиционных сил. Основными положениями своей программы партия провозглашала — народное представительство, всеобщее избирательное право, свободу слова, печати, сходов, союзов, веры, неприкосновенность личности, самоопределение национальностей. То была политическая организация, возникшая в среде «третьего элемента». Ее средоточия находились не в столице, а в провинции — в Саратове, Орле, Смоленске. Полиция открыла в Смоленске тайную типографию этого общества, наиболее деятельные члены его были арестованы и отправлены в административную ссылку в глушь северных губерний, и общество было задумано почти в самом зародыше.

В 1894 г. в Москве происходил IX-й съезд естествоиспытателей и врачей. При этом съезде была образована при географической секции подсекция статистики. Это дало возможность съехаться в Москву из разных губерний земским статистикам, составлявшим одну из наиболее влиятельных групп в земском «третьем элементе».

Приезд земских статистов очень оживил Москву. В различных частных домах был устроен ряд политических обедов, на которых речи лились рекой, все в духе признания невозможности оставаться долее при старом порядке, который не удовлетворяет новым жизненным требованиям.

А через несколько месяцев после того неожиданно настал повод уже для открытого выражения этих стремлений.

В 1894 г. Александр III, производивший на всех впечатление человека несокрушимого здоровья, внезапно заболел тяжелой формой нефрита и 20 октября 1894 г. скончался.

Личность молодого нового императора, Николая II, была тогда совсем незнакома русскому обществу, и для всех составляло загадку, какое направление будет дано правительственной политике в новое царствование.

Перемена царствования тотчас возбудила надежды на просветление политического горизонта; ведь мы вообще охотно верим в то, чего нам хочется. Ловили малейшие признаки для предположительного обоснования своих надежд. Так, женитьба Николая II на принцессе Гессенской, почти совпавшая с его воцарением, учитывалась как обстоятельство, дающее основание ожидать, что новое царствование будет либерально-прогрессивным, а опирались эти оптимистические предсказания всего лишь на то, что Александра Федоровна слушала в Германии университетские курсы и имела степень доктора. Это оптимистическое настроение выразилось в том, что многие земские собрания обратились к новому монарху с приветственными адресами, в которых, правда в очень осторожных выражениях, указывалось на необходимость согласования правительственной деятельности с народными нуждами и общественными стремлениями. О сознании выборных народных представителей, о введении конституции в этих адресах не было сказано ни слова. Речь шла тут лишь о том, чтобы голосу земских людей был предоставлен свободный и открытый доступ к престолу, причем только в адресе курского земства к этому пожеланию был добавлен осторожный, хотя и прозрачный намек на то, чтобы голоса земских людей были выслушиваемы не только по делам местного характера, но и по вопросам,

касающимся «общих интересов». Однако ни в одном адресе не затрагивался вопрос о тех формах, в которые должно было бы облечь участие земских людей в обсуждении государственных вопросов. Даже в адресе тверского земства, который выделился из числа прочих относительной решительностью своих выражений, мы находим лишь самые общие намеки на то, что призыв земских людей к обсуждению государственных вопросов должен получить постоянный и урегулированный характер с целью обеспечения законности в управлении. «Мы уповаем, — сказано было в тверском адресе, — что счастье наше будет расти и крепнуть при неуклонном исполнении закона как со стороны населения, так и со стороны представителей власти, ибо закон должен стоять выше случайных видов отдельных представителей этой власти». (Курсив везде наш.) Далее говорилось: «Мы ждем, государь, возможности и права для общественных учреждений выражать свое мнение по вопросам, их касающимся, дабы до высоты престола могло достигать выражение потребностей и мыслей не только администрации, но и всего народа русского».

На основании текста этого адреса Богучарский высказал в своей книге «Активное народничество» то мнение, что в тот момент даже такие прогрессивные земцы, как Родичев и Петрункевич, стоявшие во главе тверского земства и явившиеся там вдохновителями этого адреса, не шли в своих стремлениях далее лишь совещательного народного представительства. Это мнение Богучарского, конечно, не выдерживает критики. Земские адреса 1891–1895 гг. вовсе не отразили полностью стремлений прогрессивной части земцев, и тот же Родичев, предлагая тверскому губернскому земскому собранию выработать адрес государю, сказал речь, в которой совершенно ясно указывал на необходимость конституционных гарантий.

Земские адреса 1894 г. были лишь осторожным пробным шаром, первоначальным нащупыванием почвы, а вовсе не исчерпывающим изложением подлинных стремлений прогрессивных общественных кругов.

Но чем осторожнее были выражения земских адресов, тем резче прозвучал ответ, который был на них дан новым императором. Скромный адрес тверского земства произвел в высших сферах

впечатление чуть ли не разрывной бомбы: так привыкли к абсолютной тишине за минувшие десять лет. Каким бы бледным показался этот самый адрес десять лет спустя, — в 1905 году! А теперь Николай II на докладе министра внутренних дел об этом адресе написал: «Я чрезвычайно удивлен и недоволен этой неуместной выходкой 35-ти гласных тверского губ. земского собрания». Ни дня кого не было тайной, кто внушил молодому государю такую резолюцию. Победоносцев решил во второй раз «спасти самодержавие» от подкопов. 17 января 1895 г. в Зимнем дворце состоялся Высочайший прием депутатов от дворянских обществ, земств, городов и казачьих войск, принесших поздравления по случаю бракосочетания государя. Обойдя депутации, Николай II произнес следующую речь, составленную Победоносцевым:

«Я рад видеть представителей всех сословий, съехавшихся для заявления верноподданнических чувств. Верю искренности этих чувств, искони присущих каждому русскому. Но мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями⁸ об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его мой родитель».

По замыслу Победоносцева, эта речь должна была сыграть точно ту же роль, какую некогда сыграл им же составленный манифест 29 апреля 1881 г., т.е. сразу и бесповоротно пресечь всякие поползновения к изменению наличного государственного строя и положить конец брожению умов.

Победоносцев не понял, что момент был теперь совсем иной. В апреле 1881 г. общество было ошеломлено убийством Александра II и стремилось успокоиться от бурных событий предшествующих лет, а революционное подполье было совершенно истощено и обессилено.

8 Тогда говорили, что в тексте стояло: беспочвенными метаниями, но государь оговорился.

Манифест 29 апреля 1881 г. только приложил, как бы сказать, последний штрих к уже обозначившемуся перелому в общественных настроениях. Теперь, в январе 1895 г., положение было совсем иное. Волна общественного возбуждения не спадала, а, напротив того, воздымалась и росла. Страшные народные страдания во время голода у всех были на свежей памяти, и все отдавали себе отчет в том, что нельзя по-прежнему стоять на одном месте и необходимо искать новых путей для оздоровления страны.

Вот почему царская речь 17 января 1895 г. вызвала в широких общественных кругах чрезвычайное раздражение. Немедленно появилась и пошла по рукам прокламация, составленная в форме обращения к Николаю II. Она начиналась словами: «Вы сказали ваше слово; вчера мы еще совсем не знали вас; сегодня все стало ясно; вы бросили вызов русскому обществу, и теперь очередь за обществом; оно даст вам свой ответ».

Если после манифеста 29 апреля 1881 г. все притихли и рассеялись по своим углам, то теперь произошло нечто прямо противоположное. Правда, не было никаких манифестаций и демонстраций, — такие проявления общественного возбуждения были еще делом будущего, — но во всех домах, где только собиралась значительная компания, ни о чем ином не было речи, как лишь о словах государя, и в тех запальчивых комментариях, которые при этом им давались, вы не могли не почувствовать, что день 17 января составил роковую историческую дату.

Те общественные круги, которые принадлежали к легальной оппозиции, были еще далеки от готовности к открытым выступлениям против правительства. Потребовалось еще около десяти лет для того, чтобы в этой среде политические страсти достигли температуры кипения. Но несомненно, что именно к середине 90-х годов восходит первоначальное решительное вступление широких кругов общества на тот путь политической борьбы, который привел затем к взрыву 1905 года. Земская среда с этого именно времени стала серьезно готовиться к политической схватке, окончательно изверившись в возможности согласования правительственной политики с передовыми общественными стремлениями.

На поверхностный взгляд это возбуждение от речи Николая II могло тогда казаться не заслуживающим особого внимания ввиду того, что оно выражалось в формах зачаточных. Иначе судил великий историк, сам тогда стоявший в стороне от либеральных кругов, но зорко следивший за ходом общественной жизни. Ключевский по смерти Александра III сказал хвалебную речь о покойном государе в заседании Общества истории и древностей, а потом повторил ее в университете с кафедры. Студенты освистали Ключевского за эту речь, а либеральные общественные круги резко порицали его, видя в этом его выступлении прислужничество перед двором. Обвинение в «прислужничестве» было совершено неосновательно. Никаких благ Ключевский за эту речь не искал и не получил. Читая теперь эту речь, видишь ясно, что все хвалы в ней относились лишь к миротворческой внешней политике Александра III и ни слова не было сказано о внутренней политике этого царствования. Но время было такое, что речь эта была принята всеми как выражение самого ретроградного духа, и популярность Ключевского на время сильно пошатнулась. А между тем этот якобы ретроградно настроенный историк отнесся к речи Николая II 17 января совершенно отрицательно. В это время я как-то вечером зашел к нему. И в откровенной беседе он сказал мне: «Попомните мои слова: Николаем II закончится романовская династия; если у него родится сын, он уже не будет царствовать».

II

Дальнейшие события скоро показали, что речь 17 января 1895 г. не была случайностью. Новое царствование не принесло никакого изменения в направлении правительственной политики. Правда, в октябре 1895 года состоялось назначение нового министра внутренних дел. Как мы уже знаем, Димитрий Толстой умер в 1889 г., не успев дожить до момента появления на свет его излюбленного детища — закона о земских начальниках; Толстой умер, когда этот закон еще вынашивался в утробе Государственного совета. Наследие Толстого пришлось принять И.Н.Дурново, назначенному тогда министром внутренних дел. Дурново не внес в свою деятельность никакого личного отпечатка, у него не было ни темперамента, ни

заостренной боевой программы, которыми обладал его предшественник. Это был рыхлый и скучный петербургский чиновник, готовый методически выполнять возложенное на него задание. Таким заданием в тот момент было доведение до конца предпринятой при Толстом перестройки здания, сооруженного в «эпоху реформ». Дурново и начал выполнять эту задачу, без страстного нажима, уступая в частностях наиболее настойчивым возражениям оппонентов, сглаживая наиболее острые углы в замыслах своего темпераментного предшественника, но при всем том неуклонно и последовательно проводя основные начала его политики: сужение самостоятельности органов общественного самоуправления, выдвигание на первый план в строе местного управления представителей поместного дворянства и, в ущерб принципу уравнивания сословий, наделение потомственных дворян рядом привилегий и преимуществ.

Под знаком этих начал были проведены при Дурново главные законоположения, подведшие итоги первому периоду политики контрреформ: Положение о земских начальниках (1889 г.), Земское положение 1890 года, Городовое положение 1892 г. И затем уже тогда, при Дурново, задуманы были определенные шаги, направленные на усиленное сужение компетенции земских учреждений, на отсечение от их ведения таких отраслей земского дела, в которых земства проявили как раз наиболее энергичную работу. Еще при жизни Александра III под руководством Дурново были изготовлены проекты нового продовольственного устава и устава лечебных заведений. Этими уставами предполагалось отстранить земство от организации продовольственного дела на местах и лишить земства и города всякой самостоятельности в устройстве лечебных заведений и руководства ими. То и другое предполагалось передать в руки коронной администрации, а органам общественного самоуправления предоставлялось лишь собирать необходимые средства с населения без права самостоятельно этими средствами распоряжаться.

И как нарочно, события сложились так, что текущая жизнь не замедлила обнаружить, насколько этот бюрократический поход на общественное самоуправление был мертворожден и нежизнен. Разразившиеся в 90-х годах голодовки заставили приостановить

введение нового продовольственного устава, ибо впасть почувствовала, что при грозном неурожайном бедствии невозможно будет обойтись без общественной самодеятельности, а затем налетела холерная эпидемия, и опять-таки на деле оказалось, что администрация без содействия широкой инициативы земства и городов не сможет справиться с этим новым бедствием, и 1 июля 1895 года последовало распоряжение отсрочить введение в действие устава лечебных заведений впредь до минования вызванных эпидемией экстренных обстоятельств. Эти факты, казалось бы, ясно указывали на то, насколько непродуманны и легкомысленны были бюрократические эксперименты по ломке земских и городских учреждений, насколько начатый поход на общественное самоуправление противоречил действительным народным потребностям.

Оказывалось, что задуманные в этом направлении меры приходилось тотчас брать назад, лишь только жизнь выдвигала особенно грозные задачи, требовавшие усиленной деятельности по обслуживанию народных нужд. Не означало ли это, что самая мысль о сведении к нулю общественной самодеятельности во славу всемогущества бюрократии была мертворожденной утопией? Одна только мера была проведена при Дурново, — почти уже накануне его ухода с поста министра внутренних дел, — в смысле благоприятном для земского дела. Законом 1 июня 1895 г. земства были освобождены от обязательных расходов на содержание казенных судебно-административных учреждений. Это существенно облегчало земский бюджет и открывало для земств возможность увеличивать ассигновки на удовлетворение местных нужд. Однако тот же закон, проявляя недоверие к способности земств рационально распоряжаться земскими средствами, предугаживал, что освобождающиеся таким образом средства земства могут расходовать исключительно на расширение и улучшение местных дорог.

И вот в октябре 1895 г. Дурново был переведен с поста министра внутренних дел на пост председателя Совета министров, а министром внутренних дел был назначен Горемыкин.

Что означала эта смена лиц? Если Дурново сосредоточил свою министерскую деятельность на завершении контрпреобразователь-

ных проектов Толстого, — то не означал ли уход Дурново с министерского поста признание правительством того, что контрпреобразовательная программа исчерпана и настала пора испробовать какие-либо новые пути? Люди, тосковавшие по возможности утешиться какими-нибудь надеждами на просветление политического положения, стали доискиваться в прошлой деятельности вновь назначенного министра каких-нибудь фактов или хотя бы намеков, указующих на его образ мыслей. Горемыкин с 1884 г. по 1891 г. состоял обер-прокурором второго департамента сената, а с 1891 г. был назначен товарищем министра внутренних дел. В свое время он составил и напечатал систематические сборники законоположений о крестьянах, и вот это-то обстоятельство и дало оптимистам повод к высказыванию надежды на то, что Горемыкин обнаружит готовность направить деятельность своего ведомства на попечение о нуждах крестьянства вразрез с политикой контрреформ. Однако находились и пессимисты, которые только головами покачивали и оценивали замену Дурново Горемыкиным словами: «После дурного всегда приходится горе мыкать».

На поверку уже в это первое свое четырехлетнее стояние у власти Горемыкин обрисовался перед обществом в тех самых чертах, которые затем так выпукло обнаружались в его последующей политической карьере. Горемыкин представлял собою типичнейшее порождение петербургских канцелярий. Государственный организм представлялся ему бездушным механизмом, а задачу министра он полагал в том, чтобы служить в этом механизме столь же бездушным винтом, автоматическидвигающимся по раз навсегда заданному направлению. Подслушивать биение жизненного пульса в управляемой стране, учитывать значение выдвигаемых вопросов и задач — было совершенно несвойственно этому исполнительному чиновнику, для слуха которого все жизненные шумы заглушались шелестом листов «входящих» и «исходящих» бумаг. Легко понять, что от такого министра нельзя было ожидать не только каких-либо широких планов и смелых нововведений, но и хотя бы самого скромного почина в постановке свежих государственных вопросов. При вступлении Горемыкина в должность министра внутренних дел внутренняя политика, как мы уже знаем, была утверждена на определенном пути,

двигалась в совершенно определенном направлении. Чего же было больше желать? Оставалось только аккуратно вертеть колеса налаженной машины, а спрашивать себя о том, верен ли избранный предшественниками путь, не ведет ли он к каким-нибудь грозным опасностям, — администраторы типа Горемыкина всегда считали совершенно праздным занятием.

Достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на законодательные мероприятия и правительственные распоряжения, проведенные за четыре года правления Горемыкина, чтобы тотчас убедиться в том, что колесо правительственной машины продолжало вертеться при нем в прежнем направлении.

В отношении местного самоуправления были, правда, проведены две меры, направленные на облегчение условий земской работы: в январе 1899 г. земствам был отпущен один миллион рублей на производство оценочных работ, а через несколько месяцев после того вышел закон, коим повышалась доля земства при распределении между казною и земством поземельного сбора. Но этим и ограничились проявления доброжелательства власти по отношению к земским учреждениям. Правда, за это время земские учреждения, так же как и судебные уставы Александра II, были распространяемы на новые районы империи; так, судебные уставы были в 1896 г. распространены на Архангельскую губернию и на Сибирь⁹, а в 1899 г. — на Туркестанский край и Закаспийскую область. Что же касается земских учреждений, то Горемыкин изготавил проект введения земства в 9 западных губерниях и в губерниях Астраханской, Оренбургской и Ставропольской.

Но на новые районы земские и судебные учреждения были распространяемы в денатурированном виде, с такими глубокими отступлениями от основных начал судебных уставов и Общего земского

9 Обильную пищу любителям острот доставило тогда то обстоятельство, что первое дело, поступившее на рассмотрение вновь открытых в Сибири судов, было дело о покраже чемоданов у министра юстиции во время пребывания его в Сибири на открытие этих судов.

положения, что, например, от земских учреждений оставалось при этом почти одно только имя.

А затем приходится отметить, что земское самоуправление вообще отнюдь не пользовалось благоволением Горемыкина, и всякого рода репрессии и препоны изливались при нем на земство обильным дождем. Неутверждения должностных лиц, избранных земскими собраниями, стали хроническим явлением. То и дело опротестовывались и затем не утверждались формально законные постановления земских собраний. Попытки некоторых земств стать на путь существенного расширения некоторых сторон своей деятельности встречали решительное противодействие со стороны министерства; так, курское и харьковское земства натолкнулись на непреодолимые препятствия к введению ими в своих губерниях всеобщего обучения. А когда была сделана попытка организовать совещательные съезды председателей губернских земских управ по вопросам земского хозяйства, министерство тотчас наложило на эту попытку решительный запрет. И в то же время были разрешены совещания предводителей дворянства. Это приводит нас к вопросу о направлении правительственной политики в области социальных отношений. И тут Горемыкин также шел по дороге, проторенной Толстым и Дурново.

В апреле 1897 г. было образовано Особое совещание о нуждах поместного дворянства под председательством того же Дурново. Для участия в этом Совещании были вызваны из разных губерний дворянские деятели; среди них не оказалось полного единства, и в печать стали проскальзывать слухи о том, что разногласие обнаружилось по вопросу об объеме тех преимуществ, которыми надлежало бы отличить дворянское сословие: одни настаивали на предоставлении дворянству привилегий политических и административных, другие предпочитали ограничиться преимущественно экономическими и финансовыми льготами. А правительство шло прежним путем: постепенно осуществляло законодательным порядком главнейшие пожелания дворянства в смысле расширения его сословных преимуществ, но при этом делало известную скидку с дворянских домогательств, вводя их в несколько укороченные границы.

Образование названного Сопещения вызвало оживленное обсуждение дворянского вопроса. Ретроградная печать с «Московскими ведомостями» во главе помещала широковещательные статьи о необходимости покончить со всеми «уравнительными» тенденциями «эпохи реформ» и укрепить привилегированное дворянство на вершине сословной иерархии широким применением материальной поддержки дворянства на общегосударственные средства.

Такова и была программа той воинствующей, части дворянства, которая несколько позднее организовалась в Союз объединенного дворянства с своим Советом, сыгравшим немалую политическую роль уже в 900-х годах, когда он стал на страже политической реакции. Но уже в 90-х годах из среды самого дворянства раздавались и иные голоса. Люди, дорожившие сохранением за дворянством общественного авторитета, протестовали против политики выпрашивания у правительства подачек и находили, что дворянство должно идти к выполнению своей общественной миссии на собственных ногах, а не на костылях субсидий и подачек. Горячие статьи на эту тему писал тогда Чичерин в «Петербургских ведомостях» кн. Ухтомского. Чичерин был противником социальной нивелировки. Он находил, что землевладельческое дворянство должно играть важную роль в местной жизни, и доказывал, что эта роль ему и принадлежала как раз после отмены крепостного права, когда в должностях мировых посредников и в земстве дворяне являлись руководителями местной жизни, между тем как именно в период контрреформ в 80-х и 90-х годах этому авторитетному положению дворянства был нанесен удар, когда земство, а в его составе и дворянство, были принижены и «бюрократия врезалась в самое сердце уезда». К такому же принижению дворянства, по мнению Чичерина, вела и замена прежних выборных мировых посредников назначенными земскими начальниками. И этого морального упадка, утверждал Чичерин, не могут возместить материальные подачки, связанные с учреждением дворянского банка.

Чичерин настаивал на том, что дворянство должно на собственных ногах преодолеть экономический кризис, не поступаясь независимостью своего положения.

Это был голос протеста против политики контрреформ со стороны человека, который жил мечтою о том, чтобы русская общественная жизнь получила развитие на английский манер и чтобы землевладельческое дворянство стало оплотом независимой русской общественности. Но и эта чичеринская схема уже не удовлетворяла ту значительную часть дворянской молодежи, которая вступала на общественное поприще в конце 80-х и в начале 90-х годов и которая, вопреки Чичерину, прямо становилась в ряды сторонников социального уравниения, не видя в нем никакого зла, а напротив, усматривая в нем естественный вывод из всего исторического развития русской социальной жизни. То были те молодые отпрыски дворянской среды, которым предстояло вскоре затем влиться в конституционно-демократическое движение, развернувшееся в земских кругах в конце 90-х годов.

Разумеется, правительственная власть не обнаруживала никакой склонности к приятию ни чичеринской, ни демократической точки зрения. Она предпочитала поддерживать именно политику подачек, стараясь несколько умерять дозу этих подачек и наблюдая строго за тем, чтобы благодетельствуемое им дворянство не выходило из субординации и не вовлекалось в политические мечтания.

Еще до отставки Горемыкина последовали некоторые практические результаты работ Совещания о дворянских нуждах. Так, 25 мая 1899 г. вышел закон о заповедных имениях потомственных дворян: попытка положить искусственный предел дроблению дворянского землевладения. Уже с начала 80-х гг. XIX столетия этот вопрос стал настойчиво выдвигаться в дворянских проектах. Сначала авторы таких проектов настаивали на введении обязательной заповедности дворянских имений. С течением времени все чаще стала выдвигаться мысль о заповедности факультативной. В 1892 году была образована комиссия под председательством Абазы для разработки соответствующего законопроекта. Особое совещание воспользовалось результатами работ этой комиссии, и закон 25 мая 1899 г. близко подошел к предположениям этой последней.

Этот закон далеко не в полной мере удовлетворял желания, выражавшиеся в дворянских проектах. Им устанавливалась не постоян-

ная, а лишь временная заповедность имений. Заповедность была сделана обязательной лишь для самого ее установителя и для следующего за ним владельца, дальнейшим же владельцам было предоставлено право отменить заповедность по духовному завещанию, а в случае пресечения рода учредителя или при отсутствии среди ближайших родственников потомственных дворян заповедность прекращалась обязательно. Кроме того, установление заповедности было обставлено условиями, суживающими возможность широкого развития этого института. И наконец, не получили осуществления выраженные в дворянских проектах домогательства различных привилегий для владельцев заповедных имений. Привилегии намечались разнообразные, например, чтобы владелец заповедного имения имел не один, а два голоса на дворянских и земских выборах, чтобы владельцы таких имений признавались без избрания *eo ipso* [В силу этого (лат.)] земскими гласными по тому уезду, в котором находятся их усадьбы, и т.п. Ничего подобного в законе 1899 г. введено не было.

Затем, в том же 1899 г. вышел закон о пансион-приютах для дворянских детей, обучающихся в среднеучебных заведениях. Эти пансион-приюты должны были содержаться на счет казны, а именно из казны давалась одновременно сумма, потребная на устройство такого пансион-приюта, и затем ежегодно казна оплачивала половину издержек по содержанию пансион-приюта, а другая половина издержек падала на средства соответствующего дворянского общества.

Опять-таки и в этом случае дворянство ожидало большего: сторонники дворянской привилегированности домогались учреждения отдельных сословных учебных заведений для дворян, т.е. уничтожения всесословной школы. На этот путь правительство не встало.

Воспитанники дворянских пансион-приютов должны были обучаться во всесословных гимназиях и реальных училищах, а сословный интернат давал им приют, кров, пищу и воспитание. В эти приюты в первую очередь принимались бесплатно сыновья дворян, занимающих выборные должности в дворянских и земских учреждениях или ранее прослуживших в таких должностях не менее 9 лет; а

во вторую очередь — сыновья недостаточных дворян, проживающих в своих имениях и занимающихся сельским хозяйством.

Еще и в другом отношении в этом законе авторы дворянских проектов не получили полного удовлетворения. Они полагали, что обучение и воспитание дворянских детей будет всецело взято на средства казны. Как мы только что видели, им пришлось примириться на половинных издержках.

Итак, хотя и охлаждая несколько пыл дворянских домогательств, правительство все же приступило к осуществлению программы, начертываемой Особым совещанием о нуждах дворянства, и заинтересованные круги дворянства имели все основания ожидать, что за этим началом последует еще более желательное для них продолжение.

А в области вопроса крестьянского в это время господствовал полный штиль. Еще при министерстве Дурново был предпринят общий пересмотр Положения о крестьянах. Как повелось, было учреждено Особое совещание и губернские совещания на местах. Однако вопросы, поставленные на обсуждение губернских совещаний, касались лишь различных частных в устройстве крестьянских учреждений. При Горемыкине работы этого Совещания несколько не продвинулись и предположения министерства в области этого вопроса были покрыты «мраком неизвестности».

Но некоторые шаги, предпринятые тогда независимо от этого Особого совещания, во всяком случае, показывали с достаточностью, что все толки о Горемыкине как о таком министре, который поставит разработку крестьянского вопроса на какие-то новые рельсы, были не более как измышлениями праздного воображения. При Горемыкине в министерстве внутренних дел был изготовлен законопроект о порядке найма сельскохозяйственных рабочих. Этот законопроект, позднее ставший законом, устанавливал самое резкое неравенство в положении договаривающихся сторон в пользу землевладельцев-нанимателей и к невыгоде для крестьян, нанимающихся на сельскохозяйственные работы.

А затем законом 2 июня 1898 г. в Сибири были учреждены крестьянские начальники. Это было не что иное как вариация института

земских начальников, но с еще большим усилением дискреционной власти этих начальников над крестьянским населением, к которому присоединялись в этом отношении и местные инородцы.

Итак, и в отношении общественного самоуправления, и в вопросе сословном Горемыкин послушно шел по стопам предшественника. На поверхностный взгляд ничто не изменилось в политическом положении, и более всех в этом был убежден сам Горемыкин, не отдававший себе отчета в том, что он продолжает прежнее дело уже при новой обстановке. Изменилось главное: изменилось настроение общественной массы. Правящая бюрократия привыкла пренебрегать этим элементом государственной жизни и ставить ни во что роль общественного мнения. И, конечно, общество было в то время лишено всяких узаконенных органов для непосредственного воздействия на политику власти. Но это вовсе не означало, что превозобладание в обществе тех или иных политических настроений проходило бесследно для течения государственной жизни. В 80-х годах царило общественное затишье, и реакционная правительственная политика развертывалась, что называется, без сучка и задоринки. А в начале 90-х годов, как уже было указано в предшествующем изложении, общество встрепенулось и правительственные мероприятия, проникнутые всецело прежним духом, стали вызывать совершенно новый отклик со стороны различных общественных групп. Загоралась политическая борьба. Первые явственные симптомы этого поворота обозначились именно в четырехлетие горемыкинского управления (1895–1899), и Горемыкину пришлось направлять государственную машину не в атмосфере столь достолюбезной ему канцелярской тишины, а среди тревожных стычек с проявлениями общественной оппозиции, которая все крепла и разгоралась.

III

Вторая четверть 90-х годов ознаменовалась сильным оживлением общественной жизни. Мы видели выше, что это оживление началось еще в последние годы царствования Александра II в связи с работой на голоде в 1891–1892 гг., что при смене царствования в 1894 г. оно приняло форму усиленного движения в земской среде и

выразилось в земских адресах с указаниями на необходимость создания народного представительства и встретило резкий отпор в речи Николая II 17 апреля 1895 г. Однако этот отпор только подлил масла в огонь разгоравшегося общественного возбуждения. Никого он не испугал, но лишь рассеял иллюзии о возможности политического обновления мирным путем, по инициативе «сверху». Но если обновлению суждено прийти «снизу», то — откуда и как?

Этим-то именно вопросам были посвящены жгучие, страстные споры, захватившие передовую часть общества в середине 90-х годов. То была пора бесконечных ожесточенных полемических турниров между «народниками» и «марксистами». Со времени знаменитых споров между западниками и славянофилами русское общество еще не переживало такого остро пароксизма идеологической борьбы. Но если полемика между западниками и славянофилами велась в свое время в четырех стенах немногих салонов, в среде избраннейших кружков передовых мыслителей, то споры между марксистами и народниками в 90-х годах захватили самые широкие общественные круги и одно время, можно сказать, почти всецело наполнили собою содержание умственных интересов русского общества. Притом же люди 40-х годов витали в отвлеченно-теоретических построениях, которые хотя и имели несомненное отношение к вопросам практической политики, но, по условиям того времени, отношение это могло быть опять-таки только умозрительным. Не то было в идеологической полемике 90-х годов. Тут — теоретические предпосылки о законах исторического развития России рассматривались как непосредственное обоснование той системы действий, которая должна была немедленно лечь в основу общественного поведения, направленного на подготовку свержения существующего порядка. Вот почему эти споры и принимали тогда такой резко запальчивый характер, накаляя общественную атмосферу.

Марксизм вовсе не был тогда совершенною новостью для мыслящей части русского общества. Ведь от Маркса отправлялись в свое время и основоположники народнической идеологии. Но Марксову теорию классовой борьбы они старались тогда перефасонить приме-

нительно к местным условиям тогдашней России. Утвердившись на мысли, что в России нет и не будет рабочего пролетариата в западноевропейском смысле этого слова, идеологи русского народничества выдвинули учение о том, что в России не фабрично-заводской пролетариат, а крестьянство явится тем наиболее обездоленным классом, который, борясь за свои интересы, тем самым добьется переворота во всем общественном строе. Картины народного разорения и народных страданий, развернувшиеся на голодовке 1891–1892 гг., укрепляли людей народнического умонастроения в той мысли, что именно оттуда, из обездоленной деревенской массы налетит революционный вихрь. Но теперь наперекор этому течению выступила новая группа, которая выдвинула то положение, что схема Маркса должна быть признана непреложным всемирно-историческим законом, из-под действия которого не может быть изъята и Россия, которая только через развитие капитализма и через последующую экспроприацию экспроприаторов рабочим пролетариатом, в точном согласии с рецептом Маркса, «дойдет до грядущего блаженства». Впечатления от крестьянской голодовки приводили эту группу к совсем иным заключениям, нежели народнически настроенных людей. Русская крестьянская деревня представилась русским марксистам отмирающим пережитком, который только тормозит поступательный ход русского капитализма. Нужно не поддерживать искусственно этот пережиток, а содействовать его скорейшему исчезновению. Нужно раскрестьянить крестьянство, нужно «выварить мужика в фабричном котле» и превратить его в пролетария, усилив тем ту армию фабричного пролетариата, который предстоит в будущем завоевать счастье для всего человечества. Под знаменем «чистого марксизма» возникла тогда русская социал-демократическая партия, во главе которой стал проживавший за границей Плеханов, а в России пламенным знаменосцем марксизма выступил молодой ученый Петр Бернгардович Струве, в 1894 г. выпустивший книжку «Критические заметки по вопросу об экономическом развитии России», произведшую тогда впечатление манифеста нового общественного движения. «Признаем нашу некультурность и пойдем на выучку к капитализму» — таким призывом заканчивалась эта книга, и этот призыв стал тогда ходячей крылатой фразой. Для одних в этой

фразе резюмировались их упования, для других в ней заключался тот враждебный лозунг, на борьбу с которым они готовы были затратить все свои силы.

И борьба вспыхнула и запылала. Куда бы вы ни появились, вам прежде всего предлагали вопрос: вы марксист или народник? Журнальная полемика 90-х годов вся была сосредоточена на ломании полемических копий между марксистами и народниками. «Русское богатство» с Михайловским во главе стало главным боевым органом народничества. Марксисты затевали разные журнальные предприятия: «Новое слово», «Начало» и др., но им не везло, их журналы гибли жертвою цензурных репрессий и политической провокации. Живо помню, как мне пришлось присутствовать в одном частном доме при споре Ивана Ильича Петрункевича с группой молодых марксистов, каждый из которых при споре потрясал новой книжкой «Начала» в ярко-красной обложке. «Начало» вышло вместо только что перед тем закрытого администрацией «Нового слова», и Буренин не преминул заметить в фельетоне в «Новом времени»: «Почему это новый журнал назван «Начало», отчего бы его не назвать «Продолжением»?»

Специально марксистские журнальные предприятия таким образом не могли упрочиться, и марксистская мысль нашла себе приют в «Мире Божиим», переименованном затем в «Современный мир», который все же являлся для марксистов более приютом, нежели боевой цитаделью. Как бы то ни было, в те годы ни один журнал не мог приобрести серьезного влияния, не став определенно на какую-либо сторону в этом столкновении двух идеологий. «Русская мысль», руководимая Гольцевым, сознательно заняла тогда в этом споре нейтральную позицию, и несомненно именно по этой причине популярность этого журнала в то время пошла на убыль.

Полемика марксистов и народников не ограничивалась сферой журналистики. Она кипела, можно сказать, по всем линиям общественной жизни. Научные диспуты, заседания ученых обществ, не говоря уже о студенческих сходках, были охвачены той же полемикой. Под редакцией Чупрова и Посникова и при участии многих ученых статистиков появился тогда в Москве сборник статей, посвященный

вопросу о влиянии хлебных цен на состояние крестьянского хозяйства. В сборнике этом правильно было усмотрено противомарксистское направление, и марксисты пожелали дать бой ученым, не примыкавшим к марксистской догме. В заседаниях Вольно-экономического общества в Петербурге было устроено обсуждение названной книги, на которое приехали и москвичи с Чупровым во главе. Несколько дней подряд продолжались прения, и страсти так разгорелись, что на почве чрезмерного возбуждения разыгрался даже совсем неожиданный эпизод, особенно пикантный именно потому, что героем его оказался почтенный ученый муж.

В газету «Новое время» было прислано письмо в редакцию для напечатания. Письмо было подписано фамилией профессора Яроцкого. Яроцкий в прениях в Вольно-Экономическом обществе поддерживал точку зрения авторов московской книги. А в упомянутом письме содержалось извещение о том, что он, Яроцкий, готовится к печати обширное исследование о выгоде для крестьянского хозяйства неурожаев. Яроцкий, никогда не писавший такого нелепого письма, в величайшем недоумении явился в редакцию «Нового времени», и там ему предъявили оригинал письма, подписанного его фамилией. Яроцкий немедленно узнал почерк профессора Исаева. Исаев тоже участвовал в прениях в Вольно-экономическом обществе, резко и раздраженно нападал на сторонников обсуждавшейся книги, а в том числе и на Яроцкого. Сомнения не было: Исаев устроил штуку с письмом, желая этим выставить Яроцкого перед публикой в шутовском виде. Газета выдала злополучное письмо на руки Яроцкому; тот потребовал третейского суда; суд был составлен из лиц, отлично знавших почерк Исаева, и Исаеву ничего не оставалось, как сознаться в своем некрасивом и нелепом поступке, причем он объяснил, что с его стороны это был «прием иронии». Разумеется, суд отнесся с самым суровым осуждением к этому поступку, и долго еще после этого Исаеву не было проходу от острот, — устных и печатных, — по его адресу, а выражение «прием иронии» было использовано газетными юмористами чрезвычайно усердно.

Упомянул я об этом нелепом эпизоде только потому, что по нему можно судить, до какой страстности доводили тогда споры о

народничестве и марксизме даже серьезных людей науки. Что же говорить о молодежи?

Во всех высших учебных заведениях студенты и курсистки разделились на два враждебных стана — марксистов и плодников, — и пошла между ними перманентная словесная канонада, причем по дурной русской привычке спорящие не столько защищали свою позицию убежденными доводами, сколько обрушивались на противников с обвинениями в политическом малодушии, ну а кстати уже и во всевозможных прочих политических грехах. Марксисты громили народников за то, что народники ставят палки в колеса в деле сплочения рабочего пролетариата в грозную силу, могущую стать орудием борьбы против существующего строя, а народники обвиняли марксистов в том, что марксисты просто играют в руку капиталистам, проповедуя необходимость развития крупной промышленности, и аграриям, восставая против расширения крестьянского землевладения и нового земельного передела. Эти взаимные комплименты неизменно сопровождались свистом и шиканьем по адресу противников, обзываемых предателями, прислужниками власти и проч. и проч.

Всякое почти публичное выступление ученого или общественного деятеля, — хотя бы по вопросу, далекому от жгучей темы о марксизме и народничестве, — сопровождалось шумными демонстрациями, борьбой аплодисментов с свистом и шиканьем, если только лектор принадлежал к одному из борющихся лагерей. В то время усердно полемизировал с марксистами профессор Кареев.

«Бывало, — рассказывал мне он сам, — на какой-нибудь сходке говоришь речь, а тут же примостятся два-три студента- марксиста и, приложив к губам два пальца, все время издают пронзительный свист, выражая тем гражданское негодование против профессора, осмеливающегося критиковать марксистскую догму».

И вот приехал однажды Н.И.Кареев в Москву для прочтения реферата в Историческом обществе при Московском университете. Председателем этого Общества был Герье, и я уже говорил в начальной главе этой книги, какое это было скромное и чинное Общество, находившееся в строжайшей субординации у своего патриархального председателя. Там не только не бывало никогда никаких demonstra-

ций, но почти не бывало и посетителей, кроме ближайших учеников строжайшего Герье. Это был самый тихий затончик, куда не долетало отголосков жизненного шума. И вот приехавший из Петербурга Кареев должен был прочитать там доклад на какую-то историческую тему, специальную, не политическую. Задолго до начала заседания входная дверь начала беспрерывно хлопать, впуская новых и новых посетителей, все больше из учащейся молодежи. Народу набилось видимо-невидимо. Было ясно, что тема доклада не могла сама по себе привлечь такую массу разнообразной публики. А по воинственному настроению многих собравшихся оставалось заключить, что готовится либо орация, либо враждебная демонстрация, смотря по тому, к какому стану принадлежит большинство явившихся. Герье ходил совершенно обескураженный и охваченный сильным волнением. Он никак не ожидал такого наплыва публики и, по обыкновению, не уведомил полицию о предстоящем собрании, и вдруг — такой пассаж! «Отчего же вы не уведомляете полицию, как полагается по правилам?» — спрашивали его те, кому он поверял свои тревоги. «Да зачем же я буду ее уведомлять, — отвечал он в отчаянии, — ведь у нас же никогда никого не бывает!»

Заседание вышло шумное. Были и аплодисменты, были и свистки, словом, произошла очередная стычка между марксистами и народниками, хотя самый доклад был тут совершенно ни при чем. На следующий день Кареев читал в аудитории Исторического музея публичную лекцию, кажется о Грановском. На этот раз собрались все больше его сторонники, и лектор был награжден дружными овациями по его адресу.

Помню еще один вечер в Москве из этой же поры. В Юридическом обществе был объявлен доклад П.Б.Струве о крепостном хозяйстве. Крепостное хозяйство первой половины XIX столетия! Какое было дело до этого студенческой массе, наполнившей актовую залу университета такой толпой, что люди стояли плечом к плечу? Конечно, до крепостного хозяйства этой толпе никакого дела не было. Но ведь на кафедре должен был показаться апостол марксизма, имя которого вызывало столько восторгов со стороны одних и столько нападок со стороны других. Как же было не взглянуть на

него, хотя бы одним глазком? Впрочем, зала, видимо, была переполнена поклонниками лектора, представителями социал-демократической молодежи. Эти социал-демократические кавалеры и девицы вели себя чрезвычайно возбужденно. Для чего-то они перекликались из одного угла громадной залы в другой весьма воинственными голосами, словно кому-то хотели этим заявить: «Дескать, знай наших, мы марксисты, мы всех за пояс заткнем». Наконец на кафедре появился с нетерпением жданный лектор. Разразилась неистовая буря аплодисментов и восторженных кликов. Она долго не смолкала. Председательствовал профессор гр. Комаровский, который из сил выбился, звоня в колокольчик. Но колокольчика совсем не было слышно. Наконец пары были выпущены, и аудитория поуспокоилась. Струве начал свой доклад. Поклонники ожидали от него митинговой речи, а он читал специальный научный доклад, в котором давал предварительный очерк тех мыслей, которые были позднее им развиты в книжке о крепостном хозяйстве. Я смотрел по сторонам и видел, что социал-демократические барышни совсем увяли, да и кавалеры нахмурились. Ведь они пришли совсем не ради ученой премудрости, а ради все той же изо дня в день повторяющейся словесной потасовки. По окончании доклада маленький невзрачный человек попросил слова и стал писклявым голосом возражать докладчику. Он не соглашался с новаторскими мыслями докладчика, он отстаивал общепринятую точку зрения прежней либеральной историографии, и этот человек, возражавший знаменосцу марксизма, был... Михаил Покровский, тот самый, который ныне является официальным хранителем марксистской догмы в историографии СССР.

Все эти эпизоды и сценки очерчивают ту возбужденную атмосферу, которая создавалась в 90-х годах борьбой марксистов и народников. Но, разумеется, дело не исчерпывалось этим внешним возбуждением, этой взбитой пеной поверхностных увлечений. Марксисты уже приступали к деятельной пропаганде своих идей в среде фабричных рабочих, имея в виду чисто практическую цель: подготовку массовых стачек. А в кругах, примыкавших к народническим настроениям, начали формироваться боевые революционные организации, оживало политическое подполье, разбитое и замершее в

80-х годах, а теперь вновь приступившее к собиранию сил и к подготовке к террористическим актам, направленным на отдельных сановников (к плану цареубийства уже не возвращались: он был теперь признан ошибочным), и к возбуждению аграрного движения в крестьянских массах. Результаты этих подготовлений и этой агитации начали сказываться в первые же годы последующего десятилетия.

Предупредить эти новые взрывы, обезвредить подпольную революционную агитацию можно было только одним способом: предоставлением обществу свободных, легальных путей для его самостоятельности и решимостью власти пойти навстречу выдвигаемым жизнью насущным требованиям. Но этот именно способ оздоровления политической жизни правящей властью как раз и отменялся. В правящих кругах господствовало убеждение, что новые признаки тревожного настроения в стране ничего серьезного в себе не заключают и легко могут быть искоренены энергичными репрессиями. Пример быстрой ликвидации «смуты» в начале 80-х годов казался представителям власти неопровержимым доказательством правильности такого убеждения. А о том, что за протекшее время произошел серьезный перелом в настроениях общественной массы и меры, оказавшиеся действительными в начале 80-х годов, теперь, в 90-х годах, могут вызвать прямо противоположные последствия, — представители власти не хотели и слышать.

И вот, продолжая осуществлять законодательную политику Толстого и Дурново, т.е. продолжая углублять пропасть между властью и широкими кругами общества, Горемыкин время от времени уже гремел перунами по отношению к проявлениям оппозиционного духа, сыпал репрессии на общественных деятелей, стремившихся вовсе не к революционным переворотам, а к расширению закономерной общественной самостоятельности, и, разумеется, эти репрессии только разжигали в обществе политические страсти.

Оживление общественных интересов в 90-х годах выражалось не только в горячих дискуссиях между марксистами и народниками. В земских собраниях вновь все явственнее стало обозначаться стремление, не ограничиваясь вермишелью текущих дел, выдвигать

на очередь общие вопросы, связанные с насущнейшими нуждами страны. С особенной настойчивостью земские собрания начали теперь выдвигать в своих обсуждениях и ходатайствах два вопроса: о введении всеобщего обучения и об отмене телесных наказаний для крестьян. Можно сказать, по всей земской России прокатилась сплошная волна требований удовлетворения этих двух первоочередных задач. То были, как бы сказать, заглавные пункты земской платформы данного момента. Но за платформой стояла и программа. Это была давняя земская программа, которую пришлось на время свернуть в период общественного затишья и которая теперь вновь развертывалась и выдвигалась на сцену в рядах земских деятелей, освеженных и пополненных новыми кадрами: на поприще земской деятельности выступала целая фаланга молодых деятелей, которые к исходу 80-х годов закончили университетское образование и вынесли из него твердые конституционно-демократические политические принципы. Они пошли работать в земство и для того, чтобы обслуживать текущие народные нужды, и потому, что смотрели на земское самоуправление как на самую надежную опору для возобновления борьбы за установление в России правового демократического строя. Эти молодые земцы встретились на поприще земской работы с представителями старшего поколения, связанными непосредственно с прогрессивными традициями 60-х и 70-х годов, и оказалось, что те и другие могли понять друг друга с первого же слова, у них нашлись и общий язык, и общие идеалы. Эта-то дружная встреча старых и молодых земских конституционалистов и демократов и дала возможность поднять и протянуть далее нить прогрессивного земского движения, оборванную в безвременье 80-х годов. Предстоявшие этапы возобновлявшегося движения и для стариков и для молодежи очерчивались вполне ясно: во-первых, объединение отдельных земств в общеземский союз и, во-вторых, выступление этого общеземского союза с программой государственного переустройства на основе демократического народного представительства.

Один из типичнейших представителей того поколения передовых земских деятелей, которое выступило на арену в начале 90-х годов, кн. Д.И.Шаховской в своей автобиографии (в книге: «Русские ведомости» 1863–1913 гг. Сборник статей. Москва, 1913 г.) передает

свой разговор П.Б.Струве и К.К.Бауером в 1894 г. На вопрос своих собеседников, как представляет он себе выход из политического тупика, Шаховской ответил: «В виде самочинного собрания представителей земства, которое потребует конституции». И Шаховской, вспоминая об этом, добавляет: «Какой наивностью показалась тогда моим друзьям-марксистам такая мечта и как близко подошла потом к ней действительность!»

В середине 90-х годов предпринимались пока лишь очень осторожные предварительные шаги к объединению земств. В мае 1896 г. в Москве состоялась коронация Николая II. На коронацию вызваны были в Москву председатели всех губернских земских управ. Тут-то председатель Московской губ. земской управы Д.Н.Шипов предложил устраивать ежегодные съезды председателей управ для обсуждения общеземских вопросов. Эта мысль вызвала общее одобрение, и было решено первый такой съезд устроить осенью в Нижнем Новгороде во время всероссийской выставки. Никаких конспиративных замыслов не соединялось с этим предприятием. Напротив того, земцы сознательно ставили своей задачей добиться легального общеземского объединения, дабы такое объединение явилось с течением времени внушительной силой на поле открытой политической борьбы. Шипов сообщил Горемыкину о предположенном в Нижнем Новгороде съезде председателей земских управ, и Горемыкин в устной беседе с Шиповым сказал, что ничего не имеет против такого съезда. Съезд действительно состоялся в августе 1896 г. и прошел вполне благополучно. Вите даже прислал на этот съезд представителя от министерства финансов ввиду того, что в программу съезда был внесен разбор закона 1895 г. о порядке оценочных работ. Кроме того, председатели управ обсуждали вопрос о сельскохозяйственном кризисе, о народном продовольствии, о всеобщем начальном обучении, о взаимоотношениях земств губернских и уездных¹⁰ и др. А затем тут же было выработано Положение о таких

10 Этот вопрос был выдвинут Шиповым и возбудил оживленную и продолжительную полемику в земской среде. Шипов и его сторонники в этом вопросе стремились усилить руководящую роль губернского

съездах, с тем, чтобы они устраивались периодически, и намечено было бюро для предварительной подготовки вопросов, подлежащих обсуждению на съездах. Граф Гейден выразил пожелание, чтобы была установлена связь этих съездов с Вольным экономическим обществом, где он председательствовал. Словом, под руководством опытного организатора Шипова привыкшие к общественной работе земские деятели немедленно начали закладывать фундамент для серьезной и прочной постройки общеземского объединения. Следующий съезд председателей управ был намечен в Петербурге в 1897 г.

Однако Министерство внутренних дел тотчас встревожилось, почуяв, что в земской среде забродили старые дрожжи; в скромном начинании строго легального характера правящая бюрократия — и не без основания — усмотрела зародыш такого течения, в конечном итоге которого вырисовывалось страшное для нее слово: конституция.

И Горемыкин поспешил воспретить намеченный в Петербурге съезд, в мотивировке своего запрета признав это явление «нарушающим строй нашего государственного порядка».

Одного только никак не могла взять в толк правящая бюрократия: что этого течения уже невозможно было остановить подобными запретами и что нужно было признать его, как неизбежное следствие

го земства по отношению к уездным земствам данной губернии для внесения большей планомерности в земскую деятельность. Предполагалось, между прочим, что при этом явится возможность более или менее уравнительно распределять средства уездных земств с целью поддержки более нуждающихся из них. Несомненно, что при этом, наряду с практическими соображениями о нуждах сельского хозяйства, имелось в виду и общая задача подготовки общеземского объединения. Но в земской среде обнаружилось и такое течение, которое отстаивало полную независимость уездных земств. Резко выступил против Шипова Чичерин, который даже усматривал в планах усиления влияния губернского земства на работу уездных земств какие-то социалистические тенденции. Полемика по этому вопросу разгорелась тогда довольно сильно.

назревшего жизненного процесса, и всячески облегчить безболезненное приспособление государственного строя к новым жизненным потребностям.

Съезды председателей земских управ прервались. Но прошло три-четыре года, и процесс общеземского объединения вылился в гораздо более крупные формы, о которых речь будет дальше.

Однако уже и в то четырехлетие, которое нас занимает сейчас, кристаллизация общественных сил начала принимать разнообразные формы. При земствах возникают корпоративные организации различных групп земских служащих — земских учителей, врачей, агрономов, статистиков, страховых агентов и проч., а самарский губернатор Кондоиди, открывая в 1899 г. самарское губернское земское собрание, пустил крылатое словечко, прочно вошедшее затем в общепотребительную терминологию: он назвал эту организующуюся при земстве массу наемных земских служащих третьим элементом (правительство, земство и — третий элемент — наемные земские служащие) и усматривал в рождении этого третьего элемента большую политическую опасность для существующего государственного строя. В сущности, этот столь пугавший самарского губернатора «третий элемент» представлял собою не что иное, как одну из групп так называемой разночинной интеллигенции, занявшей видное место в общественной жизни со времени освободительных реформ 60-х годов. И эта разночинная интеллигенция, несшая на своих плечах разнообразные отрасли культурной работы в стране, также начала теперь выступать на общественной арене организованными группами по признаку своих профессиональных задач.

С середины 90-х годов начинают играть все более заметную роль в формировании общественного мнения профессиональные съезды, на которых земский «третий элемент» встречался и выступал рука об руку с общественными работниками, действовавшими и вне рамок земской организации, а также и с прогрессивными земцами и городскими деятелями, и таким образом эти профессиональные съезды получали характер органов выражения широкого общественного мнения. И этим съездом вскоре пришлось также внести свою значительную долю участия в последующую политическую борьбу.

В середине 90-х годов эти съезды также находились еще у самого начала своего развития; они еще не выносили заостренных политических резолюций, но уже начали присоединять к своим постановлениям по чисто профессиональным вопросам указания на неотложную необходимость тех или других общегосударственных мероприятий. Уже 1896 год был обилён такими съездами. В Москве один за другим прошли всероссийские съезды: сельскохозяйственный, съезд по техническому образованию, Пироговский съезд врачей, — и на всех этих съездах были приняты резолюции с требованием отмены телесного наказания и введения всеобщего начального обучения. Более жгучих политических вопросов в резолюциях пока еще не затрагивалось, но и в прениях по отдельным докладам, и еще более в частных беседах, устраивавшихся по случаю съездов, происходило горячее обсуждение политического положения, и во всех этих речах чувствовалось одно: что период общественной подавленности миновал, уста раскрылись, общество заговорило и попытки остановить начавшийся общественный подъем могут привести лишь к тому, что шлюзы будут прорваны вздымающейся волной. Недаром «Московские ведомости» в 1896 г. писали: «Что-то очень уже много развелось у нас разных съездов».

Впрочем, повторяю еще раз: в 90-х годах все это движение было еще в зародыше, и Чехов, слава которого в эти годы уже гремела, мог заполнять свои изящно-печальные изображения русской действительности картинами уныния, безвольной тоски, праздно-распущенности и лени русского интеллигента. Все это были глубоко правдивые картины; но только они далеко не захватывали всей тогдашней действительности, что, по-видимому, сознавал и признавал и сам Чехов. Ведь, считая чеховское изображение русского общества той поры за исчерпывающую картину всей тогдашней жизни, оставалось бы признать, что перед нами стоячее болото, обреченное все сплошь затянуться плесенью и не дающее никакой надежды на просвет и движение. А между тем сам Чехов не раз говорил тогда в беседах с друзьями: «Я совершенно убежден, что через немного лет в России уже будет конституция».

Опытные наблюдатели политической жизни чувствовали, что поверхность необъятного народного моря уже бороздится бризом, предвещающим бурю. А правящая власть ничего не хотела знать о таких опасениях, считала их чистой фантазией и полагала, что такие фантазии высказываются либо чрезмерно пугливыми обывателями, либо теми, кто желает запугать власть, чтобы тем толкнуть ее на уступки либеральным требованиям. Представители власти были убеждены, что настроения народной и общественной массы ничего угрожающего в себе не заключают, а весь шум производится только небольшой кучкой беспокойных честолюбцев; стоит им дать острастку, и настанет опять тишина и спокойствие. Время от времени такая острастка и давалась, и жертвами ее обыкновенно оказывались полезнейшие общественные учреждения, совершавшие серьезную культурную работу, далекую от заговорщических замыслов.

Так, в 1896 г. вдруг разразилась гроза над петербургским и московским Комитетами грамотности. То были чрезвычайно почтенные учреждения, занимавшиеся распространением книг, — беллетристических и научно-популярных, — в широких кругах малоподготовленных читателей. С деятельностью московского Комитета грамотности я был знаком близко, так как сам принимал участие в его работах. Этот Комитет состоял при московском Обществе сельского хозяйства, и заседания его собирались в помещении состоявшей при том же Обществе земледельческой школы на Смоленском бульваре. В то время, когда я был приглашен к участию в работах Комитета, его деятельность имела поистине грандиозный размах. Она была раскинута на всю Россию. Сельские школы, библиотеки и читальни всех местностей империи были так или иначе связаны с этим Комитетом, который являлся для них неисчерпаемым источником книжных и других учебных пособий. Большую пользу приносили также всем деятелям по народному образованию издававшиеся Комитетом ежегодники с систематическими сводами критических отзывов о вышедшей за год учебной и научно-популярной литературе. В составлении этих критических отзывов принимали участие многие московские педагоги всех специальностей, разделявшиеся для этой цели на несколько комиссий. Я был приглашен руководить исторической комиссией и потому стал очень близко к деятельности Комите-

та. Никаких политических тенденций, никакой политической агитации не вкладывалось в эту деятельность. То было чисто культурное дело, поражавшее громадным размахом своих связей, раскинутых по всей России. Комитет грамотности пользовался чрезвычайной популярностью в стране, что было совершенно понятно, ибо полезность его работы для развития народного образования была очевидна для всех беспристрастных людей. И обильные пожертвования непрерывно поступали отовсюду в распоряжение Комитета. Отрадно было наблюдать за этим расцветом всероссийского общественного просветительного предприятия, и, конечно, при нормальных условиях государственной жизни власть должна была бы только приветствовать и поощрять такой серьезный отклик общества на нужды просвещения и видеть в нем лишь подспорье для правительственной деятельности в том же направлении.

Но... повторилось в других формах то, что некогда — при Екатерине II — произошло с просветительными предприятиями Новикова. Показался нежелательным и опасным самый факт яркого проявления общественной инициативы и сплочения множества людей у некоторого общего дела, — безотносительно к вопросу о самом содержании их деятельности. «Московские ведомости» изрекли свое «*saveant consules*» и открыли поход против Комитета грамотности. Ничего крамольного в работе Комитета, как уже сказано, не заключалось. Но главный орган ретроградного направления держался правила: «Если нет крамолы, ее надо выдумать». Ретрограды вообще были обеспокоены начавшимся оживлением общественной самодеятельности. Комитеты грамотности обеих столиц были избраны мишенью для нанесения показательного удара.

Победоносцев произнес в Кабинете министров обличительную речь, наполненную совершенно вздорными, нисколько не отвечающими действительности слухами о том, что творится в Комитетах грамотности. Там заседали и работали серьезные педагоги, профессора, учителя, а Победоносцев рисовал фантастическую картину буйных сборищ «стриженных девиц» (это его указание вообще было анахронизмом, навеянным воспоминаниями о 60-х и 70-х гг., стрижка женских волос тогда давно уже перестала служить вывеской «ниги-

лизма», да и самый «нигилизм» давно уже испарился, как пережитое поветрие) и крамольных агитаторов. Никакого расследования деятельности Комитетов не было произведено, а просто-напросто решили одним ударом покончить с этими «рассадниками революционного духа». Обычная история тех лет: в погоне за «революционным духом» власть обрушивалась на совершенно лояльные просветительские организации, в то время как под самым ее носом под легким и прозрачным покрывалом подпольной конспирации вызревали действительные центры зачинавшейся революционной борьбы.

И вот 17 ноября 1895 г. было опубликовано Высочайше утвержденное Положение Кабинета министров об отделении петроградского Комитета грамотности от Вольно-Экономического общества и московского Комитета — от Московского общества сельского хозяйства и о причислении обоих Комитетов в Министерство народного просвещения под наименованием «Обществ грамотности». 12 марта 1896 г. был издан и устав для этих обществ, составленный с определенной целью убить в них всякий дух общественности. Эти частные общества были теперь переорганизованы наподобие казенных присутственных мест. Выборные председатели заменены назначаемыми министром народного просвещения; члены правления, избираемые общим собранием Общества, подлежали утверждению министерства. Прием новых членов в состав Общества по баллотировке отменялся, и вступление в Общество было открыто для всякого желающего, сделавшего установленный членский взнос. Публичность заседаний Общества сводилась к нулю, ибо помимо членов устав разрешал допускать на заседания не более трех сторонних лиц с дозволения председателя. А самое главное: деятельность Общества грамотности была обставлена такими ограничениями, что у Общества оказывалось менее прав в сфере просветительной деятельности, нежели у каждого отдельного частного лица. Для производства какой-либо анкеты, для издания Обществом какой-либо книги и т.п. требовалось каждый раз особое разрешение министерства. Получалось довольно странное положение: Общество грамотности не могло без разрешения министерства издать, скажем, избранные сочинения Пушкина, тогда как если члены Общества в качестве частных лиц пожелали бы выпустить такое издание или на свои средства, или,

подыскав издателя, они могли бы сделать это, не обращаясь к министерству за разрешением.

Закрытие Комитетов грамотности произвело удручающее впечатление и вызвало сильное раздражение в общественных кругах. В самом деле, эта мера свидетельствовала о том, что власть в каком-то ослеплении способна обрушиться на лояльнейшие и полезнейшие проявления общественной самодеятельности, не справляясь о действительном характере разрушаемых ею общественных учреждений.

Члены петербургского Комитета грамотности единодушно пришли к решению не входить в Общество грамотности, не видя возможности при новом уставе продолжать прежнюю работу сколько-нибудь плодотворно. В Москве мнения разделились. Часть членов стояла за уход, другая часть во главе с такими популярными деятелями, как Чупров и Гольцев, считала необходимым продолжать работу и при новом уставе. Надо отметить, что в Москве дело осложнялось одним особым обстоятельством. Почт перед самым введением нового устава в московский Комитет грамотности поступило от неизвестного лица крупное пожертвование в 63 тысячи рублей на устройство новых школьных библиотек. И вот многие члены московского Комитета не считали возможным покинуть Общество, оставив без своего наблюдения выполнение воли щедрого жертвователя. Сторонники немедленного ухода возражали на это, что пожертвование было сделано прежнему Комитету грамотности до его преобразования и потому жертвователь имеет полное право востребовать свое пожертвование обратно ввиду совершившейся перемены и это уже его дело — доверить свое пожертвование новому составу исполнителей его воли или ликвидировать вообще свое благое намерение. Но и на эти доводы противники ухода имели ответ; они указывали, что суть дела не исчерпывается юридическими соображениями о правах жертвователя и что надо подумать и о потребностях населения в учебных библиотеках и сделать все для того, чтобы пожертвование достигло своей цели.

Для обсуждения осложнившегося вопроса было созвано совещание в доме Варвары Алексеевны Морозовой. Этот дом вообще играл важную роль в общественной жизни Москвы. Варвара Алексее-

евна, владелица крупнейших фабричных предприятий, образованная, живая, проникнутая общественными интересами, стояла в самой тесной близости к прогрессивным кругам московского общества и, наряду с широкой благотворительностью, принимала самое активное участие в различных просветительных организациях. Московская либеральная профессура и журналистика многим были обязаны В.А.Морозовой, которая всегда готова была поддержать всякое просветительное начинание, и делала она это потому, что ей действительно были дороги прогрессивные общественные идеалы. Когда 17 октября 1905 г. вышел манифест о конституционных свободах, Варвара Алексеевна прежде всего поспешила с поздравлением в редакцию «Русской мысли», к В.А.Гольцеву и сказала ему: «Ведь я в молодости от вас первого услышала об основах конституционного права».

Итак, совещание о судьбе Общества грамотности не случайно собралось в зале великолепного особняка В.А.Морозовой на Воздвиженке. Сколько раз эта зала служила местом всевозможных собраний, на которых обсуждались разные общественные начинания!

В качестве члена Комитета грамотности я присутствовал на этом совещании, и у меня сохранилось о нем яркое воспоминание. Обширная зала была переполнена. Кого тут не было! Здесь можно было сразу обозреть всех выдающихся общественных деятелей Москвы, имена которых хорошо были известны всей России. Председательствовал А.И.Чупров — этот популярнейший тогда профессор и общественный деятель. Кстати, скажу два слова об этом замечательном человеке. В 80-х и 90-х годах в личности Чупрова нашел себе блестящее воплощение особенный, своеобразный, чисто московский тип «мирского» коновода во всех общественных делах. Употребляя старинный термин наших предков, можно с полным основанием сказать, что Чупров был поистине «излюбленным человеком» всей Москвы. Никто его на этот пост не выбирал формальным голосованием (в Московской Руси излюбить значило выбрать на общественную должность), но он был непререкаемо и бесповоротно признан за такового общественным мнением Москвы, нигде не оформленным, но тем не менее совершенно твердо закрепленным в общественном

сознании. Москва всегда умела безошибочно наметить таких излюбленных людей и, наметив их, уже оставалась им верна неотступно в своей горячей любви, доверии и преданности. Много было у Москвы любимцев в среде актеров. Но стоило вам спросить любого москвича, — из какой угодно социальной среды, — кто в Москве самая любимая артистка, и вы могли не сомневаться, что все и каждый неизменно ответят вам: «Ермолова». Много адвокатских знаменитостей гремело в московских судах, но на такой же вопрос об адвокатах всякий москвич не задумываясь ответил бы вам: «Плевако». А если бы вы спросили, кто в Москве самый популярный общественный деятель, ответ был бы непременно один и тот же: «Чупров».

И эта популярность была как нельзя более заслужена Александром Ивановичем Чупровым. Это был человек блестящей даровитости. Его тонкий и гибкий ум представлял собою великолепнейший инструмент для глубокого исследования сложных научно-теоретических вопросов. И было великим наслаждением слушать его рассуждения, когда он выступал оппонентом на магистерских и докторских диспутах по экономическим наукам. Он рассуждал превосходно, и с прозрачною ясностью выступали тогда перед слушателями тончайшие моменты обсуждаемой проблемы. И приходилось тогда со вздохом говорить самому себе: «Какой крупнейший ученый погибает в этом человеке!» А погибал в нем крупнейший ученый потому, что у него совсем не оставалось времени для погружения в кабинетную исследовательскую работу. Раз навсегда он, можно сказать, отдал себя на растерзание московскому обществу в качестве неперемного участника всех просветительных начинаний и предприятий. Представить себе такое предприятие без того, чтобы в числе его деятельнейших направителей не стоял Чупров, не было никакой возможности. Я назвал бы Чупрова добровольным «братом милосердия» при всех московских общественных организациях. Ибо присутствие Чупрова в этих организациях было не оценено не только потому, что он своими указаниями, проистекавшими из глубокого и многостороннего опыта, мог в высшей степени содействовать правильной постановке дела, но еще более и потому, что он своим моральным авторитетом и редкими качествами сердца умел сплачивать людей вокруг общего дела, устраняя или парализуя всю ту ложную игру самолюбий, которая так

часто разлагает и губит полезные начинания. Подобно тому, как солнечный луч уничтожает тлетворные бактерии и микробы, так мягкая и ласковая улыбка Чупрова, в которой просвечивало его душевное благородство, не раз сдерживала борьбу низких страстей, грозившую расстроить то или иное общественное дело. А вместе с тем участие Чупрова немедленно сообщало всякому начинанию особый блеск, ибо он был замечательным оратором, и никто лучше его не мог бы популяризировать в широких общественных кругах идею того дела, за которое он брался. Что же мудреного в том, что Чупрова, можно сказать, рвали на клочки во все стороны. Москва никогда не оскудевала инициативой по части разных общественных начинаний, и при этом почти всякое московское предприятие этого рода немедленно начинало получать всероссийский размах и всероссийское значение, и никто не мог себе и представить, чтобы при этом можно было бы обойтись без Чупрова. А Чупров не умел отказывать в этих случаях. Отказывать он не умел и не мог, потому что внутренний голос призывал к исполнению общественного долга. Вот почему он не имел времени, что называется, «двигать науку», хотя и обладал для этого богатыми данными по складу своего ума. Много времени отдавал он участию в «Русских ведомостях», где большинство передовых статей по экономическим вопросам принадлежало его перу, а время, свободное от университетского преподавания, уходило у него на участие в бесчисленных общественных организациях. Зато крепка была та нравственная связь, которая соединяла Чупрова с московским обществом. Были еще и другие нити, протягивавшиеся между ним и многими и многими москвичами. Чупров обладал редкой личной добротой. Всякий — знакомый и незнакомый, мог смело прийти к нему за советом или содействием, зная наперед, что не встретит отказа. И шли к нему непрерывным потоком люди всякого возраста и всякого социального положения со своими нуждами и печальми, кто за помощью, кто за советом в каком-нибудь трудном вопросе личной жизни.

Хорошо помню, как я, только что окончив университет и приступая к подготовке к магистерскому экзамену, пришел к Чупрову в его приемный день поговорить насчет программы по экзамену по политической экономии. Я был поистине поражен видом той комна-

ты, в которой ожидали своей очереди люди, желавшие в тот день видеть Чупрова по делу. Какое разнообразное собрание людей наполняло эту довольно обширную комнату! Тут была и группа молодых ученых — учеников Чупрова, тут были молодые девушки, солидные земские деятели, какой-то иностранец, какие-то старушки и старички в затрапезных одеждах и проч. и проч. Словом, в первую минуту можно было подумать, что вы попали не в приемную ученого профессора, а в приемную какого-нибудь знаменитого доктора, имеющего обширную практику в самых разнообразных слоях населения. Но нет: из-за прикрытой двери кабинета до вас доносился звучный, ясный голос Чупрова, выводивший вас из сомнения: вы попали именно туда, куда вам нужно. И каждому из этих людей было до Чупрова какое-нибудь важное дело — общественное или чисто личное; по очереди призывались посетители в кабинет профессора, и там научная беседа сменялась совещанием о каком-нибудь предстоящем общественном выступлении, а потом профессору приходилось выслушивать какую-нибудь интимную исповедь страдающей души, и он давал свои ободряющие советы и указания. Слава о доброте Чупрова вызывала иногда и весьма комические эпизоды. Неожиданно в квартире Чупрова появилась клетка с дроздом. И рассказывали, что принес этого дрозда какой-то старичок, обратившийся к Чупрову со следующей просьбой: «Дорогой профессор, я должен покинуть Москву, и приходится мне расстаться с моим дроздом, который жил у меня много-много лет, который мне дорог как самое близкое мне существо. Я не буду спокоен, если не буду уверен, что остался мой дрозд в руках у хорошего человека. Успокойте старика, примите дрозда на свое попечение, тогда я умру спокойно». Чупров растерялся от неожиданности и сказал, беспомощно разводя руками: «Что же я буду делать, батенька, с шипим дроздом; никогда у меня дроздов не бывало, я совсем не знаю, как с ними надо обращаться». Но старик продолжал слезно настаивать на своей просьбе. Так и остался дрозд под гостеприимным кровом доброго профессора.

Итак — проф. Чупров занял председательское место на совещании у В.А.Морозовой. После того как собранию была доложена сущность дела, подлежащего обсуждению, первым попросил слова Иван Ильич Петрункевич. Тут я впервые услышал речь этого про-

славленного земского деятеля. Имя его облетело всю мыслящую Россию в семидесятых годах, когда он выступил в черниговском губернском земском собрании инициатором заявления о необходимости введения конституции в России. За это его немедленно постигла административная кара, он был выслан в город Варнавин Костромской губернии; с лечением времени он получил возможность работать в тверском земстве, и лишь только в девяностых годах, как описано выше, оживилось политическое движение в земской среде, Петрункевич явился одним из авторитетнейших руководителей этого движения. В 1896 году он находился в полном расцвете своих сил. На описываемом совещании он выступил убежденным сторонником немедленного демонстративного ухода всех членов из Общества грамотности. Его речь произвела сильное впечатление. То был великолепный образчик политического красноречия. Все нарастающая нервная сила слышалась в каждом слове оратора. А в то же время слушателя брала в плен блестящая и острая, я бы сказал — стальная логика, с которой парировались всевозможные возражения против защищаемого оратором основного положения. Петрункевич отчетливо выяснил всю неправомерность правительственной меры и необходимость общественного против нее протеста. Он наглядно показывал далее, что при новом уставе плодотворная работа станет невозможной. Лишь только затихли бурные аплодисменты, вызванные речью Петрункевича, слово попросил Гольцев, заявивший, что будет говорить в защиту прямо противоположного мнения. Ораторская манера Гольцева была совсем иная, нежели у Петрункевича. Тут не было нарастающей силы стальной пружины. Гольцев говорил голосом тихим, вкрадчивым, его речь всегда была полна переходных модуляций от язвительного остроумия к лирическому пафосу и обратно. Гольцев настаивал на том, что неправомерно не одно только данное правительственное распоряжение, а неправомерна вся совокупность правительственной деятельности при наличном режиме и что поэтому, становясь на точку зрения предыдущего оратора, надлежало бы прекратить всякую вообще общественную работу и замкнуться в личной жизни. В дальнейших прениях громадное большинство говоривших высказывалось за уход из Общества в виде протеста против нового устава. Профессор всеобщей литературы Н.И.Сторо-

женко, человек очень милый, отличавшийся добродушным юмором, пытался внести в прения успокаивающую шутивную ноту и сказал несколько слов на ту тему, что страхи перед нажимом чиновников на дела Общества преувеличены. «Коли не дадут чиновникам, надзирающим за Обществом, хороших окладов, так никто из них усердствовать не будет».

Наконец прения окончились, и Чупров в качестве председателя приступил к заключительному слову. Обведя собрание ласковым взглядом своих добрых глаз, Чупров сказал: «Господа, я не рассчитываю кого-либо убедить; конечно, каждый уже составил себе определенное мнение. Но от себя я скажу следующее: одно для меня ясно — мы хороним Общество грамотности. Похоронить крупное общественное дело легко; вновь создать его будет в высшей степени трудно. И если есть еще колеблющиеся принять то или иное решение, то я просил бы их принять во внимание это соображение».

В конце концов громадное большинство членов вышло из Общества. Небольшая группа осталась в надежде, что удастся фактически смягчить наиболее тяжелые черты нового устава. Однако надежда эта не оправдалась. Правыми оказались пессимисты. Министерство народного просвещения стало пресекать всякую инициативу Общества и отклоняло почти все ходатайства, самые невинные, как, например: запретило Обществу издать народные сказки Пушкина, тогда как любой частный издатель мог бы беспрепятственно осуществить такое издание. Деятельность Общества грамотности совсем захирела, и грандиозное просветительное общественное дело пошло намарку. Кто от этого выигрывал, кому это было полезно?

В 1899 г. такой же удар разразился над другим учреждением, занимавшим авторитетнейшее положение в общественной жизни. Я разумею московское Юридическое общество, состоявшее при университете. В первой главе этой книги я указал на то, в чем состояла воспитательно-политическая роль этого общества. Конечно, спокойное и научное освещение основных начал правопорядка не могло вызывать сочувствия у властей, проникнутых ретроградными настроениями. Но в деятельности Общества не было ничего противозаконного, оно держалось на почве строгой лояльности, печать серьезного

академизма лежала на всех его работах, и казалось, Общество могло считать себя застрахованным от катастроф.

Вышло иначе. В 1899 г. праздновалось столетие со дня рождения Пушкина. В университете по этому случаю состоялся торжественный акт. Многочисленная публика наполнила актовъй зал. В первом ряду заседал московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович и многие высшие чины московской администрации. Кирпичников и Стороженко произнесли приличествующие случаю речи. Потом Ключевский сказал одну из тех своих речей, которые неизменно вызывали всеобщей восторг своеобразием мыслей, блеском остроумия, художественностью формы. Затем начались приветствия от различных обществ, состоящих при университете. Тут-то вошел в кафедру Муромцев для прочтения приветственного адреса от Юридического общества. Он стоял на кафедре такой красивый и импозантный, с высоко поднятой и несколько назад закинутой головой, каким его видали семь лет спустя на председательской трибуне Государственной думы, и твердым и громкозвучным голосом, отчетливо отчеканивая каждое слово, читал свой адрес, в котором поэзия Пушкина характеризовалась как поэтическое выражение достоинства человеческой личности, стремившейся к свободному самоопределению вопреки налагаемым на нее путам властной опеки. Вся зала аплодировала с бурным воодушевлением. Только в первом ряду, где сидело «начальство», не раздалось ни одного аплодисмента. И это было неспроста.

Прошло немного времени, и было объявлено, что Юридическое общество закрыто по распоряжению министра народного просвещения. Так легко власть губила общественные учреждения, существовавшие много лет, окруженные всеобщим уважением и ни разу не выступавшие за пределы законности. Что же кроме ожесточения и ропота могли вызывать такие меры в широких общественных кругах? В только что рассказанном случае пикантно было одно обстоятельство: Московскому университету, от которого отсекалось одно из крупнейших состоявших при нем обществ, этот удар был нанесен от имени министра, который сам вышел из среды профессоров этого университета и еще недавно был его ректором. То был Николай

Павлович Боголепов. Долгое время он занимал в Московском университете кафедру римского права и был избираем на должность ректора. Это был человек высокого роста, прямой как палка, с неподвижным каменным лицом. Его так и прозвали Каменным гостем. Он был человек честный, безусловно порядочный, но тупой, с неповоротливыми мозгами, которыми он ворочал, словно мельничными жерновами. По должности ректора университета он стал известен вел. князю Сергею Александровичу, занимавшему пост московского генерал-губернатора, и очень понравился последнему. Что-то общее было и в фигуре и в натуре этих двух людей. И Сергей Александрович походил на высокую прямую палку, увенчанную бесстрастным и неподвижным лицом, и от него также трудно было добиться сочувственного отклика на живую мысль. В 1895 г. Боголепов по желанию великого князя был назначен попечителем учебного округа и пробыл на этом посту до 1898 г., когда — все той же протекцией — он был сделан министром народного просвещения. Когда обрушилась гроза на московское Юридическое общество, Боголепов не сделал ничего для того, чтобы защитить родной ему университет. Нет сомнения, что он и не чувствовал к этому никакого побуждения и вполне одобрял эту репрессивную меру. Никто не мог упрекнуть Боголепова в сведении при этом каких-либо личных счетов. Хотя Боголепов всегда принадлежал к консервативной группе профессоров и деятельность университетских конституционалистов — Муромцева, Ковалевского, Чупрова и др., руководивших Юридическим обществом, — была ему антипатична, но все признавали, что не в личных антипатиях было тут дело: просто в своем ограниченном кругозоре Боголепов не отдавал себе отчета в пагубном характере этой меры и убежденно стоял за элементарные приемы патриархального управления.

К таким же приемам склонен он был прибегать и для усмирения студенческих волнений, которые в это время вспыхнули с новой силой во всех университетских городах. Студенческие волнения почти не прерывались в течение всех 90-х годов, и, главное, они принимали теперь гораздо более организованный характер, нежели это было в 80-х годах. Уже в конце 80-х годов в Московском университете возник так называемый «Союзный совет объединенных землячеств». Правда, не все землячества и не все студенчество

признали себя подчиненными этому Союзному совету, но все же количество подчинившихся было настолько значительно, что Союзный совет получил возможность по своему усмотрению организовывать студенческие манифестации и руководить их развитием. Не может быть сомнения в том, что этот Союзный совет вовсе не ограничивался стремлением влиять на ход университетской жизни по вопросам студенческого быта, а находился в известных отношениях с революционными политическими организациями и старался придать студенческим волнениям характер политического движения. Возникнув в Московском университете, Союзный совет объединенных студенческих землячеств постепенно занял положение центрального руководящего органа по отношению к студенчеству высших учебных заведений и других университетских городов, и это дало возможность координировать студенческие политические манифестации по всей России. Это обстоятельство сообщало студенческим волнениям такую внушительность, какой они ранее не имели. Кроме того, теперь была выдвинута новая форма студенческих протестов против существующих порядков. Раньше все ограничивалось принятием протестующих резолюций на довольно бесформенных и хаотических студенческих сходках. Теперь стала применяться форма студенческих забастовок. По указаниям Союзного совета студенты прекращали занятия впредь до удовлетворения выставленных требований. Удобство этой формы состояло в том, что к ней с гораздо большей легкостью могла примыкать широкая студенческая масса. Перестать ходить на лекции и в лаборатории гораздо легче, нежели идти на протестующую сходку с риском прямо оттуда попасть в Бутырскую тюрьму. Притом же непосещение лекций было довольно распространено среди студенчества и без всякой связи с какой-либо политикой. Поэтому достичь огульного прекращения занятий и придать этому характер политического протеста было для Союзного совета вовсе не трудно, он наперед знал, что «забастовка протеста», хотя бы на самом деле в ней сознательно участвовала и малая доля студенчества, приобретет видимость внушительных размеров, ибо где же там разбирать и устанавливать, кто из студентов не идет на лекции «по принципу» и кто — просто пользуется случаем устроить себе сверхкомплектные каникулы. Конечно, начальство могло бы просто

исключить бастующих студентов. Но это было вовсе не «просто», когда забастовка охватывала все университеты и исключения приняли бы массовый характер.

В 1895 г. разразились студенческие волнения во всех университетах и других высших учебных заведениях. Пароль был дан: требование отмены университетского устава 1884 г. и восстановление устава 1863 г., допущения в университеты женщин, отмены инспекции и т.д. На одной сходке полиция арестовала весь состав Союзного совета; в захваченных при этом бумагах были найдены указания на то, что Совет входит в сношения с П.Н.Милюковым, который был тогда приват-доцентом, и Милюков был выслан из Москвы в Рязань. На рязанском вокзале проводить Милюкова собралась несметная толпа студентов и прочей публики. Через некоторое время Милюков получил приглашение занять кафедру истории в Софии, освободившуюся за смертью Драгоманова, и уехал в Болгарию.

Между тем Союзный совет восстановился в новом составе и немедленно приступил к организации новых студенческих волнений. Весь 1896 г. прошел в непрерывных университетских волнениях. Поводы для них избирались различные. То протест против назначения на медицинскую кафедру в Москве одного ассистента, не пользовавшегося уважением студентов и добившегося назначения происками и угодничеством; то — новые требования отмены университетского устава 1884 г., то — устройство манифестаций по случаю полугодового дня катастрофы на Ходынском поле (эта страшная катастрофа разразилась в мае 1896 г. во время коронации Николая II: на Ходынском поле были устроены народные увеселения и раздача подарков и вследствие нераспорядительности полиции произошла в несметной толпе давка с большим количеством человеческих жертв) и так далее. За всеми этими поводами скрывалась, однако, чисто политическая цель: использовать легкую возбудимость молодежи для устройства противоправительственных манифестаций в надежде, что это послужит первым толчком для оживления революционного движения в стране. В одном из воззваний, выпущенных Союзным советом, прямо было сказано, что Совет ставит себе главной целью подготовку политических борцов из среды студенчества. В ноябре

1896 г. Союзный совет в новом своем составе опять был арестован, а затем последовали дальнейшие аресты, несколько сот студентов из Московского университета были исключены, и некоторое количество было подвергнуто высылке. После этого около двух лет университетская жизнь с грехом пополам катилась по обычному руслу. Но с началом 1899 г. университетские волнения вспыхнули с новой силой. Началось с беспорядков, происшедших 8 февраля на акте Петербургского университета. И тотчас по всем университетским городам пошли студенческие забастовки. Ученье совсем прекратилось. Тогда на бывшего военного министра Банковского было возложено расследование причин и хода событий, связанных с студенческими волнениями. Производя это расследование, Ванновский приехал и в Москву. В университете он принял профессоров среди пустых аудиторий. Ключевский потом говорил мне: «Ни от одного министра народного просвещения я еще не слышал такого умного слова, какое сказал нам этот старый генерал. Он сказал профессорам: а вы, господа, не удручайтесь, ведь кроме преподавания, которое теперь прервалось, у вас есть еще и другое занятие: научные исследования». Занятия так и не возобновились до конца учебного года. Ванновский кончил расследование к маю 1899 г., и на основании представленного им государю доклада государь объявил неудовольствие университетским начальствам и учебному персоналу высших учебных заведений за то, что ими не было проявлено должного авторитета, а чинам полиции поставлены на вид их неумелые и несоответственные распоряжения и высказано сожаление по поводу того, что местное общество нигде не только не содействовало властям в умиротворении молодежи, но, наоборот, одобряло волнующихся студентов и вмешивалось в сферу правительственных распоряжений.

Снова наступил некоторый перерыв в студенческих волнениях, и снова ненадолго. Впереди еще предстояли большие осложнения в этой области.

Итак, внутри страны не было спокойствия. Общество волновалось. Авторитет правительства расшатывался. Чувствовалось приближение какого-то кризиса. И в это самое время правительство без всякой нужды, с каким-то легкомысленным ослеплением еще усили-

вало и без того сложное политическое положение, решив приступить к ломке государственной автономии спокойной и лояльной Финляндии. Первые шаги в этом направлении были сделаны еще при Александре III: в 1890 г. введено было новое устройство почтовой части в Финляндии в смысле большего подчинения местных финляндских почтовых установлений русскому министру внутренних дел по главному правлению почт и телеграфов; а 1 января 1891 года был введен в Финляндии обязательный прием русских кредитных рублей и русской разменной монеты финляндскими казенными и общественными учреждениями, как сказано было в тексте этого распоряжения, «впредь до установления полного единообразия в монетной системе между империей и великим княжеством». В том же, 1891 году произошла сложная история с Уголовным уложением для Финляндии. В 1888 г. финляндский сейм принял внесенный правительством проект Уголовного уложения, и в январе 1889 г. это Уголовное уложение было утверждено государем с тем, чтобы оно вступило в действие с 1 января 1891 года. Но к этому времени из кругов, враждебно настроенных к автономии Финляндии, стали раздаваться голоса о необходимости внести в это Уложение изменения, изъяв из него некоторые статьи, клонящиеся к ущербу жителей империи, совершивших проступки на территории Финляндии. Применение Уложения было остановлено Высочайшим манифестом. Уложение внесено вновь в сейм для переработки, а в печати был уже поднят вопрос о необходимости изменить порядок рассмотрения касающихся Финляндии законопроектов с тем, чтобы в таковом рассмотрении могли участвовать соответственные учреждения империи. В «Московских ведомостях» стали появляться статьи, где прямо требовалось уничтожить автономию Финляндии в области законодательства. В Финляндии началось волнение. По открытии сейма в январе 1891 г. ландмаршал и тальманы сословий довели до сведения монарха о том, что край охвачен тревогой по поводу правительственных мероприятий последнего времени. В ответ на это представление последовал Высочайший рескрипт на имя финляндского генерал-губернатора. Содержание рескрипта было проникнуто двойственностью, которая не могла содействовать рассеянию тревоги. Правда, в рескрипте Александр III поручал генерал-

губернатору передать от имени монарха гражданам Финляндии, что он «расположен относиться с прежним благоволением и доверием к финскому народу, неизменно охраняя дарованные этому народу российскими монархами права и преимущества», и даже было прибавлено, что «в намерение государя не входит изменять начала действующего порядка внутреннего управления», — но в то же время указывалось в рескрипте и на «недостаточную определительность законоположений, касающихся отношений великого княжества Финляндского к империи» и высказывалось сожаление по поводу «превратного понимания действительного значения мер, принимаемых в видах достижения общих всем частям государства российского потребностей».

Впрочем, пока на этом дело остановилось. Но в конце 90-х годов нажим на Финляндию проявился в самой резкой форме и привел к тому, что эта дотоле совершенно спокойная окраина империи была охвачена сильнейшим возбуждением и недовольством. 17-го августа 1898 г. финляндским генерал-губернатором был назначен Бобриков, бывший начальник штаба войск гвардии и петербургского военного округа. Это назначение имело характер совершенно определенного политического симптома. Бобриков явился в Финляндию с определенным заданием выкурить оттуда дух автономии и заложить прочное основание русификации управления Финляндией. Недолго пришлось ждать результатов этого нового курса. «Московские ведомости» открыли на своих страницах настоящую травлю Финляндии. Финское население пришло в состояние крайнего озлобления. И когда в Гельсингфорс приехал корреспондент «Московских ведомостей», не нашлось ни одного дома и ни одной гостиницы, в которых согласились бы пустить его на ночлег. Он был принужден в тот же день уехать обратно.

3 февраля 1899 г. были опубликованы «Основные положения о порядке издания таких законов, кои имеют действовать по всей империи со включением великого княжества Финляндского или, предназначаясь только для Финляндии, будут иметь отношение и к общегосударственным потребностям империи». Этот новый порядок представлял собою прямое нарушение той политической автономии,

которая была предоставлена Финляндии Александром I и которая неизменно подтверждалась всеми его преемниками на русском престоле. Теперь по законопроектам вышеуказанного рода финляндскому сенату и сейму предоставлялось только подавать свои заключения в общеимперский Государственный совет, в котором в этих случаях должны были участвовать в обсуждении законопроекта финляндский генерал-губернатор, министр-статс-секретарь по Финляндии и некоторое количество финляндских сенаторов, особо для того назначенных Высочайшей властью.

Немедленно вслед за тем в Государственный совет был внесен в порядке вновь установленных правил законопроект о преобразовании отбывания воинской повинности населением Финляндии. Финляндский сейм обратился к государю с адресом, под которым стояло более 500 тысяч подписей и в котором до сведения государя доводилось, что Финляндия охвачена тревогой ввиду преобразований, проведенных в нарушение ее автономии. Этот адрес был привезен в Петербург депутацией из 500 человек. Министр-статс-секретарь по делам Финляндии отказался принять депутацию, но взялся представить адрес государю. Ответом на адрес явился Высочайший рескрипт на имя финляндского генерал-губернатора от 22 июня. В этом рескрипте генерал-губернатору повелевалось объявить во всеобщее сведение, что суждения, выраженные в адресе, неправильны и идут вразрез с общегосударственной пользой.

Итак, к политическим тревогам, разраставшимся внутри русского общества, прибавился еще резкий конфликт правительства с Финляндией. Власть как бы не отдавала себе отчета в тех опасностях, которые создавались для нее всеми ее мероприятиями, носившими характер бросания вызова обществу.

Летом 1899 года были опубликованы Высочайше утвержденные правила об отдаче в войска для отбывания воинской повинности студентов, исключенных из высших учебных заведений за участие в беспорядках. При этом принимавших в беспорядках особо вредное участие повелевалось отдать в войска на три года. Вскоре оказалось, что, проводя это распоряжение, Боголепов подписывал себе смертный приговор. А пока он выдвинул на очередь серьезный вопрос о

реформе средней школы и образовал для того комиссию с участием преподавателей из разных учебных округов.

Такова была обстановка, в которой в ноябре 1899 г. Горемыкин вдруг был отставлен от должности министра внутренних дел. Из приведенных выше фактов достаточно ясно видно, что Горемыкин с полной последовательностью продолжал политический курс периода контрреформ во всех основных частях и чертах его. И тем не менее ретроградные круги, приобретавшие все большее влияние на правящую власть, не были удовлетворены Горемыкиным. Горемыкин казался им слишком бесцветным, а им хотелось колоритных эффектов и шумного вызывающего задора в проведении их политики. И, может быть, не было ничего характернее для описываемого момента, как именно то обстоятельство, что тогда недостаточно антилиберальным был признан... Горемыкин!

Горемыкин был теперь заменен Сипягиным. И действительно, Сипягин оказался фигурой весьма колоритной. Но эта его колоритность была такого рода, что вместо умиротворения она могла только еще более заострить опасные конфликты. Теперь ретроградный курс был двинут уже на всех парах, и в результате — общественное брожение стало принимать уже такие формы, которые означали, что в России наступил канун политического кризиса. Сеялись ветры, а о том, что пожать придется бурю, направители правительственной политики, казалось, и не помышляли.

IV

За эти годы (1889–1899) я лично стоял в стороне от чисто политической деятельности. Окончив в 1888 г. университетский курс, я получил уроки географии, а потом и истории в гимназических классах Лазаревского института восточных языков и все свободное время отдавал подготовке к экзамену на степень магистра. С каким наслаждением, вернувшись с уроков домой и пообедав, засаживался я за летописи, за исторические акты, за Полное собрание законов! Я ушел целиком, что называется, с головой в эти занятия и все более убеждался в том, что научное исследование в области русской истории составляет мое истинное жизненное призвание. Я не торо-

пился заканчивать свою подготовку и все расширял рамки своих занятий, знакомясь и с источниками, и с специальной литературой. Около пяти лет ушло у меня на эту работу. Зато в течение этого времени я приобрел солидный запас сведений по целому ряду крупных вопросов русской истории и почувствовал твердую почву под ногами для дальнейших специальных изучений. За это время у меня завязалось близкое личное знакомство с профессорскими кругами. Оживленным центром общения московских историков были тогда журфикисы у П.Г.Виноградова, о которых я уже говорил в первой главе этой книги. Более тесный кружок собирался у Милюкова, а по воскресным утрам — у С.Ф.Фортунатова.

В 1892–1893 гг. я покончил с магистерскими экзаменами. Вслед за тем предстояло приступить к писанию диссертации.

Давно уже меня манила к себе работа в исторических архивах. Однако, покончив с магистерскими экзаменами, я решил в течение года отдохнуть от напряженных предыдущих занятий, с тем чтобы затем уже надолго погрузиться в бездонную пучину московских и петербургских архивов для большой исторической работы по архивным первоисточникам. Впрочем, этот годичный отдых оказался лишь относительным. Меня пригласили читать лекции по русской истории на так называемых «коллективных уроках». В 1889 г. правительство закрыло существовавшие в Москве высшие женские курсы профессора Герье, в течение ряда лет с большим успехом выполнявшие в Москве роль частной высшей школы для женщин по гуманитарным наукам. В университеты женщин тогда не пускали, и с закрытием курсов Герье женщинам, окончившим среднюю школу и желавшим получить университетское образование, некуда было обратиться. Но — гони природу в дверь, она влетит в окно. Существовало в Москве очень почтенное Общество воспитательниц и учительниц. Женщины, занимавшиеся педагогической деятельностью, вступив в это Общество, получали от него разнообразное содействие и поддержку. Между прочим, потеряв место, они получали в общежитии Общества даровую комнату впредь до приискания заработка. В этом-то Обществе и нашлись энергичные особы, решившие создать при Обществе курсы по предметам университетского преподавания для женщин.

Душою этого предприятия стала Анна Николаевна Шереметьевская, преподавательница IV женской гимназии, сестра знаменитой артистки Ермоловой. Все свое время, свободное от гимназических уроков, Анна Николаевна отдавала этим новым курсам. Это была обаятельная женщина, добрая, ласковая, чувствительная, обладавшая способностью спланировать людей для общей работы и умевшая придавать этой общей работе такой приятный характер, что все участники чувствовали себя в дружной приятельской компании.

Началось дело умышленно очень скромно. Важно было, чтобы не получилось впечатления, будто предпринимается попытка демонстративно восстановить только что закрытые правительством женские курсы. Достичь этого хотели без шума, мало-помалу, не привлекая внимания властей. И действительно, Общество воспитательниц и учительниц имело право, согласно своему уставу, устраивать для своих членов библиотеку, читальню, собеседования, отчего же было бы и не присоединить к этому прочтение нескольких курсов приглашенными лекторами? Первоначально лекторами были приглашены несколько преподавателей средней школы, количество слушательниц было небольшое, и всему этому скромному предприятию нарочно было дано возможно более невинное и, надо сказать, довольно нелепое название: «коллективные уроки». И вот затем в течение двух-трех лет из этого маленького семени выросло целое дерево.

Коллективные уроки приобрели популярность сначала в Москве, а потом и за ее пределами. Число слушательниц стало быстро увеличиваться. Всем желающим поступить на эти курсы приходилось сделать самый небольшой взнос в Общество воспитательниц и учительниц, и они становились членами этого Общества и тем самым могли посещать курсы. Коллективные уроки стали превращаться в настоящие высшие женские курсы университетского характера. Руководительницы решили, что настало время смелее обнаружить их действительный замысел — заменить бывшие курсы Герье, погубленные мнительностью учебного начальства. Число читаемых курсов на коллективных уроках было значительно пополнено, и преподавателями стали приглашаться уже университетские доценты и магистранты и даже некоторые профессора. И вот тогда-то

и явилась ко мне, — только что окончившему магистерские экзамены, — Анна Николаевна Шереметьевская, с которой я раньше не был знаком. В один из весенних вечеров 1893 года, когда я в своем кабинетике предавался сладостному кейфу в приятном сознании, что мною только что с полным успехом пройден такой важный этап предначеченного мною самому себе пути, как сдача магистерских экзаменов, — я вдруг услышал шуршание женского платья и серебристый смех. Я оглянулся: в дверях кабинета стояла очень милая дама с живыми черными глазами и от души смеялась. Через секунду мы сидели друг против друга и, словно давнишние добрые друзья, вели оживленную беседу. Оказалось, что смех ее относился к беспорядочному виду моего кабинета, по которому были раскиданы части моего костюма, — я лежал перед тем на диванчике в полном неглиже, — и к моей обломовской пазе валяющегося на диване мечтателя. «Да вы какой-то Обломов, — смеясь говорила Анна Николаевна, — а я пришла звать вас на работу, которая потребует от вас энергичной деятельности». И она стала рассказывать мне о коллективных уроках и о тех планах их дальнейшего развития, которые были поставлены на очередь. Она просила меня взять на себя чтение курса русской истории. «Что ж, — подумал я, — это предложение приходит для меня очень кстати, я заполню этим предстоящий год до начала моих архивных работ». Я немедленно согласился, и Анна Николаевна, убедившись, что я нимало не похож на Обломова, с увлечением начала посвящать меня в свои планы. Итак, еще не став университетским доцентом, я уже должен был через какие-нибудь два-три месяца приступить к чтению лекций университетского типа. Тут-то мне и пригодились мои неспешные и обширные приготовления к магистерским экзаменам. У меня уже был готов достаточный запас накопленных знаний для того, чтобы с ними выйти на кафедру. Оставалось только испробовать себя в качестве публичного лектора. Ну, по этой части я был в себе уверен. Еще гимназистом четвертого класса я произнес мою первую публичную речь перед многочисленной публикой на железнодорожном вокзале при проходах из Оренбурга нашего гимназического инспектора, уезжавшего в другой город.

Коллективные уроки и стали для меня прекрасной школой для подготовки к последующей деятельности университетского преподавателя.

Выходило так, что, отлагая на год начало моих архивных исследований, я не терял времени даром для моих планов относительно будущего. Было еще и другое обстоятельство, побуждавшее меня повременить с архивами. Весною 1893 г. я стал женихом. Обстоятельства складывались так, что свадьба могла состояться только через год. И этот год до свадьбы я решил посвятить всецело моей невесте. Коллективные уроки и тут явились кстати. У меня с моей невестой получалось общее дело: я буду писать свои лекции (то был единственный мой курс, который я читал по писанному тексту, со второго года моей лекторской деятельности я уже навсегда отказался от этого приема и стал говорить с кафедры без всяких записок), а она будет их переписывать и будет их посещать, и слушать, и делать мне свои критические замечания, а критик она была строгий, чуткий и понимающий дело.

Так, выяснив план своей жизни на ближайший год, я — спокойный и счастливый — уехал на лето путешествовать по Кавказу и Крыму. Чудная была поездка! Я впервые увидел красоты кавказской и крымской природы, впервые увидел море и наслаждался в полной мере этими новыми впечатлениями. А из Москвы летели ко мне письма той, которая дала мне затем тридцать лет безоблачного семейного счастья, пока не надорвали ее великие испытания и тяжелые удары большевистского лихолетия, которых она не вынесла.

С осени 1893 г. я и начал читать лекции на коллективных уроках. Первый мой курс был посвящен истории России в XVIII в. А потом я продолжал работать в этом симпатичнейшем учреждении и во все последующие годы его существования. Оно просуществовало ряд лет вплоть до того момента, когда Герье выхлопотал-таки разрешение на возобновление в Москве высших женских курсов, которые были тогда устроены уже не как частное, а как правительственное учреждение, находившееся в ведении Министерства народного просвещения. Любопытно отметить, что возникновению этого государственного женского университета Москва — а вместе с тем и

вся Россия — была обязана именно быстрому росту коллективных уроков. Это скромнейшее вначале учреждение в несколько лет развилось в такое крупное дело, что в правящих сферах наконец пришли к заключению, что отделаться от высшего женского образования все равно никак не удастся, так уж лучше взять это дело в руки правительственной власти, не оставляя его на произвол частной инициативы.

Превращение коллективных уроков из скромного малозаметного начинания в настоящие высшие женские курсы проходило на моих глазах и при моем участии. В 1893 г. я начал читать там свой первый курс еще в небольшой зале в квартире Общества воспитательниц и учительниц, которая помещалась на Арбате над аптекой. Почти все слушательницы помещались за длинным столом, стоявшим посреди залы. Было очень уютно, словно это была не публичная лекция, а приятельская беседа. И отношения между лекторами и слушательницами тотчас же приняли приятельский характер. Кроме меня там стали читать также Д.М.Петрушевский и С.Ф.Фортунатов курсы по всеобщей истории, а скоро к нам присоединился О.П.Герасимов, который стал читать историю русской литературы.

Все мы были связаны тесной дружбой. О Фортунатове я уже много говорил выше. С Д.М.Петрушевским я познакомился на журфисках П.Г.Виноградова. Петрушевский был учеником киевского профессора всеобщей истории Лучицкого. Из Киева он приехал в Москву работать над диссертацией, предмет которой — социальная история средневековой Англии — связывал Петрушевского с крупнейшим специалистом в этой области П.Г.Виноградовым. На семинариях Виноградова, а потом и на виноградовских журфисках я и сошелся с Петрушевским. Нас как-то сразу потянуло друг к другу. Однажды с виноградовского журфиска мы пошли вместе по улицам ночной Москвы. Был уже второй час ночи. Я завел Петрушевского к себе. У меня оказались остатки курицы от обеда. И долго просидели мы над этой курицей в оживленной дружеской беседе. Уже светало, когда мы расстались, чувствуя, что эта ночная беседа навеки закрепила нашу дружбу: и ни одно облачко никогда не бросило ни малейшей тени на наши дружеские отношения.

Петрушевский сразу пленил и очаровал меня всем своим духовным обликом. На вид суровый, порою даже мрачный, страстный и гневно вспыльчивый, он обладает душой, исполненной нежности, глубокой нравственной чистоты и светлого, сверкающего юмора. Когда его страстная душа находится в смятении от тяжелых переживаний и горьких дум, он может просидеть в компании целый вечер мрачнее тучи, в угрюмом молчании. Когда ему приходится встретиться лицом к лицу с явлениями, возмущающими его нравственное чувство, он вспыливает гневом неудержимым, и тогда — не позавидуешь тому, на кого обрушится его благородное негодование. Тогда он дает волю своему языку, беспощадно острому как бритва и в гневном вдохновении может уничтожить человека одним словом, одной фразой, которая навеки припечатывается на репутации этого человека, сразу с чрезвычайной меткостью освещая его истинную непривлекательную подоплеку. И приходилось слышать, как люди, которым не поздоровилось от бритвенного языка Петрушевского, называли его «ругателем», «мизантропом» и т.п. А посмотрели бы вы на «ругателя» и «мизантропа», когда он находится в любезной его сердцу приятельской компании, — каким юмором блеснит тогда его речь, какое заразительное веселье вносит он в беседу своими неожиданными остротами, какой нежностью преисполнено его отношение к людям, к которым он чувствует уважение и любовь! Когда он стал профессором, у него никогда не переводились ученики, обожавшие его, несмотря на то, что он — учитель строгий и требовательный и для того, чтобы заслужить его одобрение, нужно обнаружить способность к серьезному и нелегкому труду. Сам серьезный и крупный ученый, автор превосходных монографических исследований по социальной истории Англии и столь же превосходного общего очерка социально-экономической и политической истории средневековой Европы, выдержавшего ряд изданий, Петрушевский всегда требует и от своих учеников строгой дисциплинированности научной мысли и превосходно умеет обучать способных к тому учеников искусству стать настоящим ученым. Вот почему студенты всегда так высоко ценили его семинарии и вот почему наиболее даровитые участники его семинария всегда становились не только его преданными учениками, но и близкими друзьями своего учителя.

Такая же тесная дружба связывала меня и с Осипом Петровичем Герасимовым, погибшим в большевистской тюрьме. Это был человек выдающийся по силе ума, характера и воли. Мы одновременно были в университете, но сошлись в тесной дружбе уже по окончании университетского курса. Оба мы в конце восьмидесятых годов подружились с Александром Алексеевичем Кудрявцевым. Это был ученик Павла Гавриловича Виноградова. Он окончил университетский курс в тот год, в котором я и Герасимов поступили в университет. Преподавая историю в Лазаревском институте, Кудрявцев готовился к магистерскому экзамену. Познакомившись с ним случайно, я нашел в нем лучшего друга, какой когда-либо встречался на моем жизненном пути. Это был человек в высшей степени тонкой духовной организации, с душою чистой и нежной, с разносторонними умственными интересами — научными, литературными, художественными, с привязчивым, любящим сердцем, обладавшим какой-то магнетической притягательной силой по отношению к тем людям, которые могли оценить редкие качества его ума и сердца. Он и его жена стали моими лучшими друзьями: эта семья сделалась средоточием тесно спаявшегося дружеского кружка, члены которого обрели здесь светлый источник чистых радостей от дружеского общения. Кудрявцев и его жена, я, Петрушевский, Петр Иванович Беляев, ставший впоследствии исследователем древнерусского права, Зинаида Сергеевна Иванова, под псевдонимом «Н.Мирович» написавшая книгу о г-же Ролан, много писавшая по женскому вопросу и принимавшая энергичное участие в женском движении, и Герасимов составляли основное ядро этого кружка, к которому затем примыкало много других лиц, стоявших уже в менее тесной близости к нам.

Герасимов был рожден для того, чтобы стать руководителем какого-нибудь крупного общественного дела. Он мог сделаться, — при наличии благоприятных условий, — и выдающимся государственным деятелем. Сильная воля, большой организаторский талант, широкий и ясный взгляд на вещи, свободный от ходячих шаблонов и партийных шор, способность управлять людьми и вести их за собою — таковы были его отличительные свойства. Он был превосходным преподавателем истории в средней школе, отлично читал лекции по литературе на коллективных уроках, но ему было тесно в рамках этой

деятельности. По натуре он был боевым общественным человеком. Впоследствии он сделался директором московского дворянского пансион-приюта и пользовался горячею любовью воспитанников. На этом посту он незадолго до революции 1905 г. вступил в решительную борьбу с попечителем московского учебного округа Шварцем, который стал издавать незаконные распоряжения, нарушавшие права гимназических педагогических советов. Эта борьба выдвинула Герасимова. Когда Витте стал формировать первый конституционный кабинет, Герасимов получил предложение занять место товарища при министре народного просвещения Толстом и принял это предложение. Когда затем Толстого сменил Кауфман, Герасимов остался товарищем министра при первой и второй Думах и вышел в отставку, когда Кауфмана сменил тот самый Шварц, с которым Герасимов вел борьбу и который должен был покинуть пост попечителя московского учебного округа, когда Герасимов стал товарищем министра. При Толстом и при Кауфмане Герасимов играл выдающуюся роль в министерстве народного просвещения, применяя свои своеобразные и смелые идеи по организации управления учебным делом. Старые деяновские и боголеповские традиции были решительно отброшены в сторону, широкий простор был предоставлен частной и общественной инициативе в устройстве школ самого разнообразного типа, энергично было приступлено к подготовке введения всеобщего обучения и т.д. Эти смелые и широкие планы были оборваны, когда вскоре после роспуска Второй Думы Кауфман был заменен Шварцем и Герасимов немедленно вышел в отставку. Во время великой войны Герасимов применил свой организаторский талант к заведованию лазаретами и другими учреждениями Городского союза на Северо-Западном фронте. С образованием Временного правительства в 1917 г. министр народного просвещения Мануйлов опять пригласил Герасимова в товарищи министра по отделу средней школы. При большевиках Герасимов, разумеется, был заключен в тюрьму. На допросах он держал себя бесстрашно, и, без сомнения, он был бы расстрелян, но от расстрела его избавила смерть естественная: он поступил в тюрьму уже изнуренный тяжелой болезнью и скончался в тюремной больнице, не дождавшись окончания своего дела.

Вот те люди, с которыми мне пришлось в 1893 г. начать лекторскую деятельность на коллективных уроках. Это была самая тесная дружеская компания, и работа при такой обстановке могла доставить лишь истинное наслаждение.

Скоро аудитория наша стала быстро разрастаться. Уже в том же 1893 году пришлось подыскивать новое помещение для лекций. Слушательницы валили к нам валом. И этот приток все увеличивался в последующие годы. Нелепое название «коллективные уроки» стало чрезвычайно популярным. Нам пришлось последовательно перекочевывать в новые и новые помещения, все более обширные. Лекции читались то в доме Сабашниковых на Арбате, то в доме Ланина на Тверской, и наконец мы водворились в том помещении в Мерзляковском переулке у Арбатских ворот, где затем основались и государственные женские курсы, пока им не удалось перейти в великолепный новый аудиторный корпус у Девичьего поля.

Коллективные уроки разрастались и в отношении количества и разнообразия читавшихся на них курсов. Теперь там читались курсы и по гуманитарным и по естественным наукам, и в состав лекторов вступили некоторые профессора с очень громкими именами. Достаточно сказать, что список лекторов был теперь украшен мировым именем Сеченова. Этот знаменитый старик был не по годам бодр и свеж и, как это свойственно настоящим великим людям, был очарователен в простоте и приветливости своего обращения. Переполненная аудитория, затаив дыхание, слушала его лекции по физиологии, а после лекции в лекторской он пленял нас остроумной беседой, лакомясь виноградом, который всегда приготавливался для него на блюдечке: маленькая старческая прихоть, которая с величайшей готовностью и точной аккуратностью удовлетворялась администрацией курсов под наблюдением Шереметьевской. Читал там лекции и профессор Мензбир, и химик Коновалов, и историк Виппер. Fortunатов собирал громадную аудиторию, читая курсы по истории Соединенных Штатов Северной Америки и по истории Великой французской революции. И все мы, лекторы коллективных уроков, работавшие там дружной сплоченной семьей, сходились вечером по средам к Шереметьевским, где за скромным ужином велись ожив-

ленные приятельские беседы. Анна Николаевна сияла от удовольствия, гордясь своими коллективными уроками, муж ее, преподаватель математики Всеволод Петрович Шереметьевский, приправлял беседу живыми остротами, Степан Федорович Фортунатов наполнял комнату оглушительными взрывами звонкого смеха, рассказывая разные эпизоды из жизни профессорского мира. Нередко бывала на этих вечерах сестра Анны Николаевны, великая артистка Ермолова, при всей своей всероссийской славе на редкость скромная, даже застенчивая, а иногда появлялся брат хозяина — Владимир Петрович Шереметьевский, славившийся по Москве чтец художественных произведений и талантливый преподаватель словесности. Его называли Черномором. И точно, он был почти карлик и носил широкую, предлинную бороду. С появлением Черномора веселье собравшейся компании достигало апогея. Владимир Петрович был чрезвычайно живой и остроумный человек, и шутки, одна другой замысловатее, потоком лились из его уст. Славные это были вечера, и отрадно вспомнить о них.

Летом 1894 года сыграл я свадьбу, вторично — на этот раз уже с женой — проехался по Кавказу и Крыму и с осени проник, наконец туда, куда давно уже устремлялись мои заветные мысли. Я приступил к занятиям в том огромном архиве Министерства юстиции, в котором было сосредоточено делопроизводство старинных государственных учреждений Московской Руси и империи XVIII столетия. Архив этот помещается в великолепном громадном здании в Москве, на Девичьем поле. Тема для занятий давно уже была мною намечена. Ключевский ее одобрил. Я решил вспахать огромное и никем еще до меня не тронутое поле. В названном выше архиве хранится делопроизводство Главного магистрата за все XVIII столетие — учреждения, ведавшего тогда управлением городами, — и некоторых городских магистратов. Оно состоит из бесчисленного количества связок различных бумаг и книг. До тех пор никто еще не прикасался к этому огромному архивному фонду. Плошинский, Пригара и особенно Дитятин подробно изучили законодательство XVIII столетия об управлении городами на основании Полного собрания законов. Но как применялось это законодательство на практике, что представляло собою фактическое состояние разных отраслей городской жизни в

России XVIII столетия, каковы были действительные результаты петровских нововведений в устройстве русских городов, проведенных по иноземным образцам, и в какой мере эти нововведения не на бумаге, а в действительности видоизменили жизненный строй русского города, — на эти вопросы научная литература никакого ответа не давала и дать не могла, пока оставался нетронутым архивный материал, относящийся до делопроизводства магистратских учреждений XVIII столетия. И передо мною вставала заманчивая задача: открыть для науки совершенно новый угол русской исторической жизни. Уже одно это делало для меня чрезвычайно привлекательной разработку названной темы.

Но были и другие соображения, еще более утверждавшие меня в этом намерении. Хотя я еще не вступал на путь политической деятельности, будучи погружен всецело в кабинетные занятия наукой, тем не менее мои политические убеждения уже совершенно сложились. Я уже был убежденным конституционалистом и не сомневался в том, что рано или поздно придет и для России пора преобразования государственного строя на основе политической свободы. И тут для историка вставал естественный вопрос: какие предпосылки для возможности такого преобразования можно было бы найти в нашем историческом прошлом? Ни Московская Русь, ни империя XVIII–XIX столетий не знали конституционных учреждений. Но и в Московской Руси, и в империи XVIII–XIX столетий существовало местное общественное самоуправление — сельское и городское. Мы знаем, что в западноевропейских странах прототипом общегосударственных конституционных учреждений в значительной мере послужило средневековое городе кое самоуправление. Вот это-то обстоятельство и возбуждало во мне интерес к изучению коммунальных учреждений в русских городах, особенно с того времени, когда Петр I сделал попытку преобразовать городское самоуправление по западноевропейским образцам. Передо мною вырисовывалась тема, отвечавшая одновременно и научно-теоретическим и общественно-политическим моим интересам. И наконец, к этим мотивам присоединялся еще один, касавшийся уже не возможных результатов, а самого процесса предстоящей мне исследовательской работы. Меня манила к себе такая работа, при которой мне пришлось бы воссозда-

вать картину известного исторического процесса на основании мозаического подбора мельчайших фактов, рисующих повседневное течение былой действительности. Я хорошо понимал, что работа такого рода потребует очень длительного времени и отдалит для меня вождеденный момент получения ученой степени. Но это меня нимало не заботило. Я предвкушал такую работу, как наслаждение творчеством, а разве не естественно стремиться к продлению, а не к сокращению наслаждения? Тот материал, который я избирал для аналитической разработки — делопроизводство магистратских учреждений, — как нельзя более удовлетворял также и этой моей потребности.

Мне предстояло иметь дело с бесчисленным количеством отдельных актов, в которых отражалась то та, то другая сторона городской жизни XVIII столетия. Нащупать единство в этом пестром разнообразии — вот была творческая задача, в связи с которой архив становился для меня привлекательнейшим местом, какое только я мог вообразить себе! Когда я приступил к занятиям в Московском архиве Министерства юстиции, директором этого Архива был преемник Калачова профессор Нил Александрович Попов. Подобно Ключевскому, он был учеником Соловьева и некоторое время читал в университете совместно с Ключевским русскую историю. Но в то время, когда я поступил в университет, преподавание русской истории всецело сосредоточилось в руках Ключевского, а Попов стал читать курсы по истории южных славян, которою давно занимался, выпустив большую книгу «Россия и Сербия». В молодости Попов, по слухам, обладал небезынтересной наружностью и одно время являлся соперником Льву Толстому, когда последний ухаживал за своей будущей супругой — Сонечкой Берс. Впоследствии Попов женился на дочери своего учителя Соловьева. В то время, когда Попов предстал передо мною сначала в качестве профессора, потом в качестве директора архива, в его наружности трудно уже было отыскать следы былого интересного кавалера.

Это был очень пожилой человек, быстро приближавшийся к старости, довольно тучный, с большой плешью и длинными щетинистыми усами, закрывавшими рот. Он не блистал даровитостью. Писал он довольно много на самые разнообразные исторические темы, но в

этих писаниях не было ничего своеобразного, никакой интересной, оригинальной идеи, и все сводилось к простому изложению сырых материалов. Курсы, которые он читал нам, были довольно скучны, тут опять не было ничего, кроме пересказа фактов, которые можно было узнать из любого руководства, а манера чтения лекций отличалась монотонностью. Читал он эти лекции по листочкам, пожелтевшим от долгого употребления, и временами при чтении их с кафедры мысли лектора, кажется, улетали куда-то совсем в сторону от излагаемого предмета. По крайней мере, мне вспоминается один такой случай. Была весна. В небольшой аудитории, где читал Попов, кафедра стояла у самого окна. Окно было открыто. Во время лекции подул весенний ветерок, и три бумажных листочка с кафедры упорхнули в окно и исчезли «в сиянье голубого дня». Но Попов этого не заметил и, не смущаясь перерывом в содержании, продолжал себе механически считать с своей пожелтевшей рукописи. Большим достоинством его нравственной личности было удивительное добродушие. Бок о бок с ним Ключевский блистал ослепительным талантом первоклассного ученого и художника-лектора. Попов совсем был заслонен своим знаменитым коллегой. Но ни тени зависти и недоброжелательства не возбуждали в Попове триумфы Ключевского, и они находились друг с другом в самых приятельских отношениях. Архивом Попов управлял, как добрый и ласковый папаша. Большой его заслугой было то, что он освежил состав архивных служащих, пригласив туда на службу целую группу молодых историков, только что окончивших университетский курс. Это обстоятельство сразу внесло в деятельность архива струю серьезной научности. И некоторые из приглашенных Поповым в архив молодых людей выполнили затем очень ценные работы по описанию архивных документальных фондов, составив эти описания согласно с научными требованиями. Назову для примера «Описание документов Сибирского приказа», составленное Оглоблиным; описание Патриарших приказов, принадлежащее Шимко; издание «Уставной книги поместного приказа» и «Десятен», выполненные Сторожевым и т.д.

Наряду с этой ученой молодежью другую группу служащих архива составляли старики-архивариусы, прошедшие в архиве чуть ли не весь свой век, живые обломки патриархальной старины, молодые

и зрелые годы которых прошли в архиве еще в те времена, когда архив ютился в подвалах старинных екатерининских зданий, а штат служащих в архиве набирался из невежественных, на медные гроши учившихся канцеляристов. Эти «Старые архивные крысы», достигшие положения заведующих отделениями, перешли вместе с архивом в его новое, блестяще оборудованное помещение на Девичьем поле и принесли с собою туда старые подьяческие традиции. Типичнейшими представителями этого вымиравшего поколения старозаветных архивариусов были Зерцалов и Холмогоров.

В научном отношении они были вполне невежественны, но сила их заключалась в том, что они превосходно знали состав архива, знали, где что лежит и какие именно документальные богатства таятся в тех частях архива, которые еще оставались неописанными. Надо знать, что представляет собою этот Московский архив Министерства юстиции, чтобы понять, какая важная роль принадлежала этим старикам-начетчикам. Ведь архив этот — суший бумажный океан, необозримый и бездонный. Лишь очень малая часть этого океана охвачена сколько-нибудь удовлетворительными описями. Остальное — представляло таинственную загадку, в которой можно было на толкнуться случайно на самые неожиданные открытия. Зерцалов и Холмогоров всю жизнь провели в том, что непрерывно, словно водолазы, ныряли по глубинам этого океана и замечали встречавшиеся им там сокровища. У каждого из них были свои, для личного сведения составленные описи, которых они ни за что никому не показали бы, ибо то был их талисман, составлявший секрет их могущества. Но беда их заключалась в том, что по отсутствию исторического образования они не могли определить степени научного значения открываемых ими сокровищ. А между тем у них было свое авторское самолюбие, была охота видеть свою подпись под статьями в научных журналах. И вот когда появлялся в архиве молодой ученый и начинал производить изыскания, Зерцалов приглядывался к тому, что этому ученому нужно, чем он интересуется. Зерцалов оказывал при этом ученому неоценимые услуги, делясь с ним частицей своего знания потаенных уголков архивного океана. Но при этом, смекнув, до чего добирается ученый исследователь, этот архивный водолаз порою несколько наиболее ценных жемчужин

припрятывал до поры до времени для себя. Выходила книга, написанная ученым и снабженная многочисленными ссылками на архивные документы. И тогда-то Зерцалов выступал в печати с критическими указаниями на неполноту использованного материала и щеголял своими припрятанными жемчужинами.

Выходило так, что он учнее признанного ученого, хотя без помощи этого последнего он сам никогда бы не догадался, что эти жемчужины имеют значение для науки. Вообще, Зерцалова прельщала авторская известность. Издав тонкой брошюрой какую-нибудь старую опись церковной утвари того или иного храма, он раздавал знакомым экземпляры описи, непременно начертывая на обложке: «От автора», — хотя автором по всей справедливости надлежало признать безвестного составителя старинной описи. Впрочем, иногда печатая важные документы, Зерцалов сопровождал издание действительно интересным предисловием. Это означало, что на важность документов ему указал Ключевский, да и предисловие было составлено при деятельном участии Ключевского. Но в качестве автора и издателя на книге красовалось имя одного Зерцалова. Зато Зерцалов, можно сказать, обожал Ключевского и готов был достать ему со дна архивного моря все, что только было возможно. На одной публичной своей лекции Ключевский сделал ссылку на какое-то издание Зерцалова и назвал его фамилию. Надо было видеть, какая блаженная улыбка расцвела на сморщенном лице старого архивариуса! Я думаю, он готов был бы тут воскликнуть: «Мгновение, остановись!»

Я сказал уже, что Попов управлял архивом, как благодушный папаша. Все его там любили. А он по воскресеньям приглашал на вечер всю свою ученую молодежь, которой предоставлялось резвиться с барышнями, в то время как в кабинете собиралась профессорская компания и тут Ключевский давал полную волю своему остроумию. За ужином можно было видеть иногда Владимира Соловьева, брата супруги Попова, и знаменитый философ порою удивлял присутствующих своими эксцентричностями. Он ставил перед своим прибором несколько рюмок с водкой и с серьезным видом осенял их широкими крестными знаменами, отгоняя дьявола, прежде чем их выпить. А иногда среди беседы вдруг вынимал из бокового кармана сюртука

женскую туфельку, смотрел на нее с нежностью и, поцеловав, прятал обратно в карман. То была реликвия одного давнего романтического увлечения философа.

По смерти Попова директором архива стал профессор Самоквасов. Это был высокий, плотный мужчина, с широким лицом, большими глазами навывкат и круглой бородой совсем такого вида, который бывает у торжественных кучеров. Когда Самоквасов подъезжал к университету в коляске, остряки говорили: «Почему это на козлах сидит профессор, а в коляске кучер?» Самоквасов занимался раскопками курганов и историей русского права. Но, кажется, археолога готовы были бы уступить его целиком историкам-юристам, а эти последние охотно отдали бы его безраздельно археологам. Не берусь судить о его археологических исследованиях, не считая себя компетентным в этой области. Но его историко-юридические труды обличали в нем крайнее легкомыслие и невежественность. Он напечатал свой курс «Истории русского права». Эту книгу прямо можно было бы принять за мистификацию, за сознательную пародию на произведение квазиученого невежды. Я тогда в этом смысле и написал юмористический разбор этого творения под заглавием «Историк-юморист» и напечатал его в «Русской мысли» под псевдонимом «Утис». Тайну этого псевдонима я открыл тогда только Ключевскому, и он хохотал от души, читая мое, как он выразился, «озорство».

В архиве Самоквасов начал выкуривать несколько патриархальные, благодушные нравы, укоренившиеся при Попове; неодобрительно отнесся он и к тем ученым очеркам, которые появились при Попове в «Описаниях архива» из-под пера молодых историков. Он решил засадить всех за составление инвентарных описей архивных документов и требовал, чтобы служащие архива не отвлекались от этой работы составлением очерков исследовательского характера. Это вызвало большое раздражение среди молодых архивистов. В сущности, Самоквасов был прав. Только проводить эту реформу можно было бы более тактично.

Заниматься в архиве Министерства юстиции было очень удобно. Обширная зала с большими столами была к услугам занимающихся. Окна были большие. Свету было много. А надзирал за этими

столами и за теми, кто в этой зале занимался, премилейший и прелюбезнейший человек по фамилии Советов, обладавший геркулесовой физической силой и чрезвычайно кротким и мирным характером. Этот кроткий Геркулес не мог жить без купания. Он купался и в течение всей зимы в проруби, несмотря ни на какие морозы.

В этой-то прекрасной зале я провел много-много дней за архивными документами, работая над подготовкой своих диссертаций. И часы этих архивных занятий всегда вспоминаются мне как отраднейшие часы моей жизни. Доводилось мне действовать на многообразных поприщах; был я и профессором, и редактором журнала, и газетчиком, и театралом, и митинговым оратором, и членом парламента, и т.д. Многое из этого делал я просто по чувству общественного долга. Но, окидывая мысленным взором все свое прошлое, я могу «в твердом уме и полной памяти» сказать, что истинное душевное удовлетворение я испытывал только там, в архиве, погружаясь мыслью в смысл старинных текстов, стараясь не пропустить в них ни малейшего намека, ни малейшей черточки, которые могли бы доставить мне какой-либо блик света на занимавшие меня исторические вопросы.

Быть может, иным покажется непонятным этот мой архивный энтузиазм. А мне вот непонятно, как можно этого не понять.

Подумайте только: ведь в архивных документах таятся особые чары. Вы начинаете их читать. Перед вами мелькают отрывочные факты давно угасшей действительности. Каждый факт сам по себе мелочен и ничтожен. Но вы продолжаете чтение изо дня в день, связка за связкой, и скоро вашу мысль начинает обволакивать какая-то особая, новая для вас жизненная атмосфера, и вы уже с волнением следите за тем, как раздвигаются рамки первоначально поставленного специального вопроса и как этот специальный вопрос начинает связываться со всем контекстом воскресающей перед вами давно отошедшей в прошлое эпохи.

Семь лет почти ежедневно сидел я в архиве от 9 часов утра до 3 часов и накопил такую гору выписок из архивных документов, что для их обработки потребовалось еще около двух лет. Между тем с 1897 г. я начал еще читать лекции в университете в качестве приват-

доцента. Я читал специальные курсы по истории крестьянской реформы 1861 г., один курс был посвящен очерку внутреннего состояния России в первую половину XIX столетия, один курс — русской историографии и т.д. Конечно, подготовка к этим курсам замедляла работу по диссертации.

Наконец, в 1903 г. была отпечатана моя магистерская диссертация под названием «Посадская община в России XVIII столетия». Книга получилась в 50 печатных листов. Она была насыщена совершенно новым архивным материалом и раскрывала полную картину жизненного строя русского города XVIII века. Ключевский сказал мне на диспуте: «Вашу книгу еще долго надо будет не столько критически разбирать, сколько изучать». Каргина у меня получилась совсем не та, какую рисовал Дитятин на основании одних законодательных памятников. Я показал, что магистратские учреждения, скопированные Петром I с иностранных образцов, составили всего только показной верхний слой городского самоуправления, под которым в течение всего XVIII столетия вплоть до городской реформы Екатерины II продолжал существовать типичный посадский мир, унаследованный империей XVIII в. от Московской Руси, с его органом — мирским посадским сходом. В моем распоряжении были многочисленные мирские приговоры различных посадов, и на основании этого материала я мог начертить подробную картину того посадского самоуправления, которое существовало тогда не на бумаге, не в официальных регламентах, а в действительности, на практике. Вместе с тем я подробно изучил социальный состав посадского населения того времени и посадские службы, повинности и подати, т.е. посадское тягло.

Я мог считать себя удовлетворенным результатами моей работы. Книга была встречена очень одобрительно специальной критикой, но дороже всего было мне то, что ее одобрил и высоко оценил мой знаменитый учитель — Ключевский. Эту оценку он высказал и на моем магистерском диспуте.

Диспут состоялся в декабре 1903 года. Громадная актовая зала университета была битком набита народом. К этому времени я был уже известен публике и моими лекциями, и моими журнальными

статьями, пока еще только научно-историческими, в политическую публицистику я еще не пускался. В «Русской мысли» тогда был уже напечатан мой литературный первенец — статья «Иван Грозный и его оппоненты», а в «Русском богатстве» — статья о Домострое и развитой в нем политической доктрине. Я уже сотрудничал в «Образовании» и в «Журнале для всех», где помещал более популярные очерки по русской истории. Все это привлекало внимание к моему диспуту. Густой толпой пришли на диспут и мои гимназические ученики, и студенты, и мои слушательницы с коллективных уроков. Но, конечно, главной приманкой было то, что официальным оппонентом должен был выступить Ключевский, а ведь слушать, как диспутирует Ключевский, было величайшим наслаждением для тонких ценителей научных споров. И мое появление на кафедре, и моя вступительная речь были встречены дружными аплодисментами всей залы. Возражали Ключевский и Любавский. Ключевский представил ряд частных замечаний, на которые мне нетрудно было дать свои разъяснения. И в высшей степени отрадно было мне слышать указания Ключевского на крупную научную ценность моего труда. Все заметили, что Ключевский на этот раз вел диспут совсем не в обычном тоне: совсем не было «игры кошки с мышкой», соединенной с легким экзаменом диспутанту; Ключевский вел диспут таким тоном, который ясно давал понять всем присутствующим, что он признает в своем ученике собрата по науке, и вот этот-то тон его был для меня лучшей наградой за мои долголетние труды.

Диспутационный обед я устроил на следующий день в ресторане «Прага», в котором обыкновенно справлялись университетские праздники. Я пригласил всех московских историков и других своих близких приятелей. Не было только Милокова, который находился за границей. Обед прошел чрезвычайно оживленно. Речи лились рекою. Говорили Ключевский, Гольцев и все мои товарищи по доцентуре. Сказала юмористическую речь и моя жена так удачно, что все пришли в восторг, а Гольцев все восклицал: «Я поседел на таких обедах, а никогда еще не слышал ничего подобного».

Долговременная работа в архивах дала мне случай познакомиться со многими не московскими историками, которые приезжали

в Москву для архивных занятий. Тогда я сошелся с В.А.Мякотинным, давним приятелем Петрушевского. Он собирал тогда в московских архивах материалы для своего труда по социальной истории Малороссии. Из Петербурга приезжали Дьяконов и Лаппо-Данилевский. Дьяконов сразу располагал к себе своим простым, непринужденным и приветливым обращением. Лаппо-Данилевский слыл за человека чопорного и замкнутого. Однако я скоро заметил, что он просто принадлежит к числу тех людей, которые наружной чопорностью прикрывают свою застенчивость. Я с первого же раза стал с ним разговаривать как ни в чем не бывало, беззаботным тоном доброго приятеля, как бы совсем не замечая его стесненности, и вот я почувствовал, что он мне за это благодарен, что это помогает и ему сбросить с себя холодную официальность, и с тех пор наши беседы всегда велись легко и непринужденно и отношения наши неизменно носили чисто товарищеский характер.

Вскоре после того как я стал заниматься в архивах, завсегдаями архива сделались также мои младшие коллеги, — сначала М.М. Богословский, несколько позднее также и Н.А.Рожков.

Богословский был одним курсом моложе меня. Он также был оставлен Ключевским для подготовки к профессорскому званию после того, как подал Ключевскому медальную работу о писцовых книгах, о которой Ключевский отзывался с большой похвалой. Богословский говорил басом, имел вид степенного и положительного человека, ступал твердо, его телодвижения были медленны, но вески. На первый взгляд можно было принять за человека тяжелого во всех отношениях. Но достаточно было сойтись с ним поближе и познакомиться с его произведениями, как вы с удовольствием находили в нем человека тонкого, изящного и острого ума и ярко выраженной талантливости. К либеральным идеям он относился с немалым скептицизмом и был упорен в отстаивании своих мнений. 15 архиве он засел за документы эпохи Петра Великого, и из этих его изучений вышла содержательная и талантливая книга «Областная реформа Петра Великого». Он защитил ее и получил степень магистра незадолго до моего магистерского диспута.

Возражали ему Любавский и я. Диспут был очень интересный и велся всеми нами в самом джентльменском тоне товарищей по науке. Через несколько лет Богословский выпустил докторскую диссертацию — «Земское самоуправление на русском Севере в XVII столетии». Эта книга представляет собою еще более крупный вклад в науку, нежели его магистерская диссертация. В основу ее положен огромный архивный материал, почерпнутый из делопроизводства Приказа Устюжской Четверти, хранившегося тогда в бывшем московском архиве министерства иностранных дел на Воздвиженке (теперь архивные фонды перетасованы по-новому по разным архивам, что создает величайшие затруднения при пользовании прежними историческими трудами в отношении ссылок на архивные документы). Для сведущих людей ясно, какая громадная работа должна была быть совершена Богословским для овладения этим материалом, во-первых, чрезвычайно многочисленным и, во-вторых, чрезвычайно дробным. Исследовательский талант Богословского проявился во всей силе в том, что он сумел изваять из этой громадной глыбы архивных документов стройное скульптурное изображение мирского быта северного русского Поморья и осветил при этом многие стороны этого быта, ранее представлявшиеся ученым в довольно туманных очертаниях. И на докторском диспуте Богословского я вместе с Любавским выступал официальным оппонентом. Мы спорили очень оживленно, не без шуточной язвительности с обеих сторон, и публика несколько раз весело аплодировала каждому из нас.

Возвращаюсь, однако, к тому времени, когда мы оба ежедневно заседали в архиве Министерства юстиции за соседними столами, собирая материалы для магистерских наших диссертаций. Вскоре к нам присоединился третий компаньон. Николай Александрович Рожков прибыл в Москву в середине 90-х годов из Перми, где он был учителем истории в местной гимназии. В фундаментальной библиотеке этой гимназии оказалось богатое собрание книг по русской истории. Это и дало возможность Рожкову там, в Перми, подготовиться к магистерскому экзамену. Сдав этот экзамен при Московском университете, он и остался в Москве для архивных работ по подготовке диссертации. Он засел за изучение писцовых книг, извлекая из

них данные для своего исследования о сельском хозяйстве в России XVI столетия.

Мы трое — я, Богословский и Рожков, — просидев подряд несколько часов над архивными документами, рады были поразмять члены и шли из архива пешком, предаваясь оживленной приятельской беседе. Если бы кто-нибудь следил тогда за ежедневной совместной прогулкой трех молодых доцентов, вряд ли ему пришло бы на мысль, что это идут три будущих политических противника: будущий кадет, будущий октябрист и будущий большевик.

Рожков оживлял нашу беседу безудержным весельем: румяный, всегда смеющийся залихватый смехом, жизнерадостный любитель нескромных анекдотов, — он казался созданным для того, чтобы прожить жизнь без горя и забот. Он высказывал тогда самые определенные народнические воззрения, и, скажи мне в то время кто-нибудь, что он скоро превратится в твердокаменного марксиста, я бы никак этому не поверил.

Диссертацию свою он написал очень быстро, обогнав и меня и Богословского. Но зато на диспуте ему и пришлось выдержать порядочную головомойку от Ключевского, который беспощадно по косточкам разобрал методологические несовершенства этой работы. И в самом деле в методологическом отношении книга Рожкова «Сельское хозяйство в России XVI столетия» представляет собой труд весьма слабый. Для установления процессов, интересующих автора, он сопоставлял факты, относящиеся к совершенно различным районам России, и не принимал во внимание различия местных условий.

Вторым оппонентом был я. После того как Ключевский жестоко разнес диспутанта, я старался несколько смягчить создавшееся впечатление, но все же и мне пришлось указать на ряд промахов весьма существенных. В недостатках работы Рожкова сказалась черта, оставшаяся ему свойственной и в последующей его деятельности. Рожков никогда не признавал, что в каком-нибудь вопросе, — научном, политическом, общественном, — могут существовать какие-нибудь темноты, какая-нибудь неопределенность. Для него все всегда было ясно и несомненно, он в любую минуту мог взяться

выложить вам сразу истину как на блюдечке. И ответы на вопросы, связанные с темой его диссертации, у него были готовы заранее, прежде чем он развернул писцовые книги. Материал оставалось лишь пригнать к готовой схеме.

Докторской диссертации Рожков уже не написал. Тут скоро совершилось его превращение в марксиста. Превращение было какое-то моментальное, без переходных ступеней от прежнего народничества. Но я должен засвидетельствовать, что этот стремительный скачок был им сделан с полной искренностью. Вообще он всегда был искренен, и дело не расходилось у него со словом. И надо сказать, что твердокаменный марксизм как нельзя более подходил к характеру его ума, всегда стремившегося все рая навсегда расставить по определенным клеточкам и полочкам. Увлеченный новым направлением, он бросился в политическую борьбу. Я видел, как на похоронах Баумана в Москве он нес красное знамя. Приходилось мне преломлять с ним полемическое копье на политических митингах, о чем я еще буду говорить в дальнейшем. Потом он вошел в редакцию большевистской газеты «Борьба», и ему пришлось уйти в подполье. Но конспиратор он был оригинальный. Лучшим способом спрятаться он считал ежедневное посещение театра. Конечно, он был арестован, долго просидел в тюрьме, вышел оттуда с очень расстроенным зрением и был отправлен на поселение в Иркутск. Он возобновил свою научно-литературную деятельность: написанные им книги, в том числе «История России» в нескольких томах, имеют свою ценность как исследование хозяйственных отношений, в которых он подчас подмечал и выдвигал явления, которым прочие исследователи уделяли меньше внимания. Но когда он пытался прилагать свои схемы к явлениям умственной культуры, это выходило у него безвкусно и топорно.

С водворением большевистской власти он вернулся из Сибири и тотчас резко разошелся с прежними товарищами по партии. Дело было в том, что он-то оставался верен марксистской догме, но большевики в своей деятельности вывернули ее наизнанку. И он не мог с этим примириться. Частные органы печати не были еще уничтожены, и он напечатал в одном из них письмо, где в резко негодующих

выражениях отмежевался от большевиков и, разумеется, опять попал в тюрьму. В конце концов он был освобожден, ибо написал-таки что-то вроде покаянного письма. Он был поставлен во главе какого-то учебного института и на этом посту умер.

Я не разделял его воззрений, и мне случалось с ним сталкиваться в политической борьбе. Но я всегда отдавал ему должное в отношении искренности его поведения. Кругозор его был узок, он был всегда «в шорах». Но он мыслил и действовал по крайнему своему разумению; стремление спекулировать на ходких лозунгах было ему совершенно чуждо.

Несколько моложе Богословского и Рожкова был еще один специалист по русской истории, который не разделял наших архивных увлечений и никогда в архивах не работал. То был Михаил Покровский, нынешний официальный большевистский историограф. Маленького роста, с пискливым голоском, он выдавался большой начитанностью, бойкостью литературной речи и умением прошпиговать ее саркастическими шпильками по адресу противников. По виду тихенький и смиренный, он таил в себе болезненно острое самолюбие. Он не отличался, подобно Рожкову, простодушной прямолинейностью ума. И если в настоящее время от продолжительной практики поза прямолинейного большевика, быть может, окончательно срослась с ним, то его путь к этой позе был довольно зигзагообразен. Я уже говорил выше о том, как он ознаменовал первый свой дебют в публичных дебатах выступлением против марксизма на докладе П.Б.Струве в Юридическом обществе.

Позднее, уже в 1905 г., Покровский участвовал в совещаниях, посвященных образованию конституционно-демократической партии, и в прениях по намечаемой для этой партии программе принимал сторону более правого течения; а незадолго до того появилась его статья в сборнике о мелкой земской единице, изданном кружком «Беседа», руководимым князьями Долгоруковыми. Итак, буквально накануне того как стать большевиком, для которого кадеты являлись людьми, одержимыми всеми смертными грехами, Покровский соприкасался с кадетскими кругами довольно близко. Мы видели, что и в Рожкове произошло моментальное преобразование политического

лица. Но Рожков, как уже сказано, был вообще весьма топорен в своем простодушии, и твердокаменная догматика марксистов естественно привлекла его к себе по соответствию с природой его ума. Покровский же был человек с экивоками, и та прямолинейность, которую он на себя вдруг натянул, производила впечатление искусственности и мало шла к нему. Не в прирожденной прямолинейности приходилось искать объяснения его метаморфозе, а в чем-нибудь другом. С университетом у него как-то не вышло правильного общения. Он приготовился к магистерскому экзамену и сдал его, но на этом экзамене у него произошло какое-то столкновение с Ключевским, подробности которого мне неизвестны. После этого Покровский от университета отдалился, пробных лекций не прочел и в состав приват-доцентуры не вступил. Не готовил он и диссертации. Он читал лекции на коллективных уроках и на педагогических курсах, преподавал историю в женском институте, написал много статей для коллективной хрестоматии по средневековой истории под редакцией проф. Виноградова, работал в Комиссии для чтения, о которой сейчас будет особая речь, но от университета сторонился.

Итак, девяностые годы прошли у меня главным образом в работе в архивах, в писании диссертации да в преподавании на коллективных уроках, в университете и в гимназических классах Лазаревского института. Однако уже тогда была нить, связывавшая меня, если не прямо, то косвенно, с общественным движением момента. В то время оживившееся в обществе стремление к активной деятельности в ожидании, когда откроется возможность политической работы, нашло себе исход в участии в различных организациях по содействию самообразованию. Самообразование — это слово стало вдруг чрезвычайно популярным. Стали возникать журналы научно-популярного характера, разные «Вестники», «Обзоры» и т.п., жирным шрифтом присоединявшие к своим заглавиям эти два магических слова: «Для самообразования», — заранее обеспечивавшие журналу хотя бы на первых порах хорошую подписку. Появились на этой почве и такие издания, которые носили характер литературной спекуляции. Но это увлечение самообразованием нашло себе широкий отклик и среди серьезных ученых, с помощью которых оказалось

возможным создать очень солидные предприятия, направленные на распространение знаний в широких общественных кругах.

Такой характер носила, например, изданная под редакцией Янжула и Милюкова «Книга о книгах» — систематический мотивированный указатель литературы по различным отраслям знания. Но самым крупным и солидным предприятием этого рода была возникшая в Москве в начале 90-х годов так называемая Комиссия по организации домашнего чтения, представлявшая собою опыт устройства в России того, что в Англии и Америке носит название University Extension.

Я довольно глубоко вложил в это дело, и так как мне в течение нескольких лет пришлось стоять к нему очень близко, а также и потому, что деятельность этого учреждения составила довольно яркий и характерный эпизод в общественной жизни той поры, — я позволю себе несколько остановиться на моих воспоминаниях об этом интересном просветительном опыте.

Мысль о таком предприятии зародилась в Москве в 1893 или 1894 г. Первая выступила с этой мыслью почтенная общественная деятельница Елизавета Николаевна Орлова, прекрасно ознакомившаяся с постановкой University Extension в Америке и правильно рассчитавшая, что в России с ее громадными расстояниями и чрезвычайной отдаленностью городов и селений от университетских центров и скудостью образовательных учреждений в глухих провинциальных углах — предприятие типа University Extension должно иметь большой успех и вызвать величайшее сочувствие в населении. Представьте себе человека с серьезными умственными интересами, заброшенного в провинциальную глушь, томящегося в одиночестве и вдруг получающего возможность вступить в непосредственную переписку со столичными профессорами и пополнять свое образование под их письменным руководством! Ведь для многих и многих это будет источником таких радостей, о которых они и не мечтали!

Е.Н.Орлова обратилась к П.Н.Милюкову за содействием по осуществлению ее замысла. Милюков отнесся горячо к этому делу и тотчас же развил чрезвычайную энергию, пустив в ход всю свою настойчивость и организаторскую способность для того, чтобы с

самого начала поставить это дело прочно и солидно и обеспечить ему репутацию серьезного просветительного предприятия. Дело было задумано по-русски, т.е. широко, с размахом сразу на всю Россию. И как увидим, такая постановка вполне себя оправдала.

Прежде всего надо было обеспечить формальную сторону дела. Только что были разгромлены Комитеты грамотности. Появление нового общественного предприятия, посвященного популяризации знаний, могло привлечь к себе подозрительное внимание властей и подвергнуться запрету. Надлежало подыскать надежную легальную форму для этого предприятия, и притом такую, которая носила бы в одно и то же время и достаточно скромный характер, дабы не возбуждать мнительности властей, и достаточно авторитетный, дабы завоевать доверие общества. О том, чтобы получить разрешение на учреждение какой-нибудь совершенно самостоятельной организации, — нечего было и думать. Только один исход был возможен: прислаться к какому-нибудь уже существующему учреждению, прочному и не внушающему подозрений в глазах начальства и имеющему право образовывать при себе комиссии с задачами просветительного характера. Существовало в Москве «Общество распространения технических знаний», находившееся под покровительством одного из великих князей. Спасительное словечко — «технических»! Оно сразу указывало на то, что никакой политикой в этом Обществе и не пахнет. При этом Обществе был образован Учебный отдел, который ни в чем не проявлял своей деятельности, но приносил громадную пользу, ибо при этом Учебном отделе образовывались комиссии, и надо сказать, что все эти комиссии ничего общего с распространением технических знаний не имели. То были комиссии преподавателей средней школы, собиравшихся для обсуждения педагогических вопросов¹¹. Это было очень удобно. Учебный отдел образовывал ту

11 Была там и комиссия преподавателей истории. В ней участвовали все наиболее интересующиеся своим предметом молодые преподаватели. Проф. Виноградов, став во главе этой комиссии, затеял и со свойственной ему энергией осуществил под своим руководством крупное дело: была составлена и издана в четырех томах известная «Книга для

или иную комиссию просто своим журнальным постановлением, ни в каком дальнейшем утверждении не нуждавшимся. Отчего же было бы не устроить под тем же крылышком и комиссии по University Extension? Так и сделали. Комиссии этой придали нарочно такое название, которое звучало бы вполне скромно, без всякого намека на желание распространять университетское образование независимо от казенных университетов. Титул у нового начинания получился весьма длинный: Комиссия по организации домашнего чтения, состоящая при Учебном отделе Общества распространения технических знаний.

В большой зале Политехнического музея созвано было организационное собрание вновь нарождающейся комиссии. Собрание было блестящее по своему составу. Все наиболее авторитетные и наиболее живые и отзывчивые на общественные запросы представители московской профессуры были здесь налицо. Милоков всех объездил, всех заинтересовал и подвинутил. Были тут Чупров, Виноградов, Веселовский, Стороженко, Умов, Млодзевский, Цераский, почти вся молодая приват-доцентура, многие преподаватели средних учебных заведений. Милоков и Орлова возглавляли собрание. Единодушно было решено устроить настоящий «университет вне университетских стен», т.е. выработать программы занятий в объеме университетского преподавания по всем отделам университетского курса, за исключением медицинских наук. Полный курс по каждому отделу был рассчитан на четыре года. Таким образом, предстояло издать в течение четырех лет четыре сборника программ. Каждый из этих сборников должен был содержать программы по всем отделам университетского преподавания соответственно одному из четырех годов полного университетского курса. Каждая программа должна была состоять из: 1) перечисления основных пособий, 2) указаний порядка пользования этими пособиями, 3) поверочных вопросов к этим пособиям и 4) тем для сочинения на основании изученных

чтения по истории средних веков» — коллективный труд членов этой комиссии.

пособий. Отпечатанные сборники программ поступали в продажу, а внесшие в комиссию установленную годичную плату право присылать в комиссию письменные ответы на поверочные вопросы и сочинения на заданные темы и получать из комиссии от соответствующих специалистов критические разборы их ответов и сочинений и нужные руководящие указания для дальнейшего. Для каждого отдела наук был избран главный руководитель, который должен был распределять отдельные части составляемой программы между специалистами данной группы. Так, руководителем по наукам математическим был избран проф. Млодзевский, по астрономии — проф. Церасский, по физике — проф. Умов, по химии — проф. Коновалов, по геологии — В.Д.Соколов, по биологии — проф. Мензбир, по общественным наукам — проф. Чупров, по истории всеобщей и русской — проф. Виноградов и Милюков, по литературе — проф. Стороженко, по философии — приват-доцент Белкин и проф. Лопатин, ибо было признано нужным составить две программы по философским наукам применительно к двум различным направлениям философской мысли — позитивному и метафизическому. Оставался вопрос о финансовой стороне издания программ и пособий. Решено было войти в сношения с крупнейшим московским издательством, обладавшим наиболее мощным распространительным аппаратом. Конечно, то было издательство Сытина. Сметливый Сытин тотчас же понял, какая крупная рыбина сама плывет ему в руки. Мы уже знаем, что слово самообразование в то время стало самым модным лозунгом, а отвечающее этому лозунгу предприятие, руководимое крупнейшими учеными, несомненно обещало самый широкий успех. Сытин с полной охотой взялся издавать эти программы. Вместе с тем было образовано особое товарищество, фактически состоявшее из руководителей Комиссией домашнего чтения, но юридически от нее обособленное (все — тактические хитрости: чтобы в случае какой-нибудь неприятности со стороны начальства по отношению к одному из этих учреждений другое могло бы уцелеть), для издания — у того же Сытина — серии пособий в связи с программами Комиссии. Эта серия получила название «Библиотеки для самообразования». Сытин издавал книги этой серии великолепно: каждый томик имел приятный щегольский вид, отличная бумага,

картонные переплеты сиреневого цвета, изящный формат — все привлекало читателя уже одним внешним видом.

Дело, намеченное на вышеуказанных основаниях, было двинуто на всех парах. Работа закипела, и успех превзошел ожидания. Обеим сторонам: и руководителям и абонентам, пользовавшимся услугами Комиссии, — это предприятие принесло большое удовлетворение и доставило много радости.

Можно сказать смело, что участие в работах Комиссии по организации домашнего чтения составило для университетской ученой молодежи 90-х годов, — для доцентов, магистрантов, оставленных при университете, ассистентов и т.п., - во-первых, отличную школу в смысле предварительной практики по руководительству занятиями университетского масштаба и в смысле подведения итога своим собственным знаниям, которые приходилось приводить в законченную систему, составляя программы для сборников Комиссии, а во-вторых, возможность заполнить свой досуг такой работой по их научной специальности, которая приводила их в живое общение с внутренней жизнью страны, с людьми, рассеянными по всему лицу русской земли и принадлежащими ко всевозможным слоям населения. Это раздвигало жизненный горизонт молодых кабинетных ученых и оживляло их внутренний душевный мир. Была и еще немаловажная сторона в этом деле, сыгравшая благотворительную роль для университетской ученой молодежи той поры. Комиссия домашнего чтения оказалась тем средоточием, около которого наибольшая часть этой ученой молодежи всех специальностей объединилась на живом и важном общественном деле в дружное сообщество. Сколько людей именно на собраниях этой Комиссии перезнакомились и близко сошлись друг с другом в общей работе! А затем та же общая работа в Комиссии объединила эту ученую молодежь и с авторитетными представителями профессуры. Здесь мы сходились с нашими учителями, так сказать, на равной ноге, как соработники в общем деле, и легко понять, насколько это обстоятельство нас друг с другом сближало. Надо отдать полную справедливость тем выдающимся профессорам, которые приняли участие в работах Комиссии. Если для ученой молодежи эти работы, как сказано выше, были привлека-

тельны не только ради содействия общественной пользе, но и ради ее собственных интересов, то профессорами, обремененными массой всякого иного дела, двигало в данном случае только сознание общественного долга. И среди них нашлись такие, которые вложили в это дело свою душу. Я уже говорил, что Милюков взвалил на свои плечи главную работу при возникновении Комиссии и при первых шагах ее деятельности, т.е. самые трудные и ответственные начальные моменты зарождения нового дела, когда еще предстояло всех нужных людей заинтересовать новым предприятием, свести их в одну компанию, побудить к работе, выяснить основные контуры совершенно нового начиная, так сказать, проложить те рельсы, по которым это новое дело могло бы затем двинуться беспрепятственно к намеченной цели. Легко понять, сколько тут надо было преодолеть трудностей всякого рода. Эту-то организационную работу и выполнил Милюков с полным успехом. При его деятельном руководящем участии был установлен тип и план программ и был составлен сборник программ на 1-й год четырехгодичного цикла. По новизне и недостаточной налаженности дела тут были трудности, которых уже не встречалось потом, когда работа пошла по готовым рельсам. Живо помню рассказ Милюкова о том, как была составлена для первого сборника программа по физике. Все программы были уже готовы, пора было сдавать сборник в набор, а проф. Умов все еще не доставил программы по физике. Милюков сам отправился к Умову. Тот всплеснул руками и заявил, что не имеет ни минуты свободной, чтобы присесть за составление программы, и считает, что по существу это вряд ли исполнимо. Милюков мало-помалу втянул Умова в подробную беседу о том, что можно было бы предложить читателям по физике на первый год, Умов разговорился, а Милюков отмечал карандашиком на листе бумаги высказываемые им соображения. И вот в конце беседы оказалось возможным тут же набросать программу в ее основных чертах. Милюков вернулся домой со своей добычей, и положение было спасено.

Вскоре, однако, над Милюковым стряслась беда в связи со студенческими волнениями, и он должен был удалиться из Москвы в Рязань, а потом он уехал в Болгарию, о чем я уже писал выше.

Возглавление Комиссии тогда принял на себя Владимир Федорович Лугинин — личность весьма любопытная. Это был очень богатый человек, крупный землевладелец и землец Костромской губернии. Еще в 70-х годах он обратил на себя внимание, выступив с проектом устройства ссудо-сберегательных и потребительных товариществ. Он был в то же время выдающимся ученым, — если не ошибаюсь, его специальностью была химия, — университетской карьеры он не искал и был довольно редко встречающимся в России так называемым «внеакадемическим» ученым. Обладая крупным состоянием, он соорудил себе в Париже великолепную лабораторию и ездил туда для научных занятий, время от времени появляясь и в Москве, где у него была роскошная квартира близ Арбатской площади. Лугинин пользовался всеобщим уважением и как ученый, и как почтенный общественный деятель. В высшей степени корректный джентльмен, человек с весом и авторитетом, независимый, широколиберальный, он был очень ценной находкой для нашей Комиссии и как компетентный руководитель ее работами, и как представитель и защитник ее интересов на случай каких-либо давлений со стороны начальства. А такие случаи всегда могли надвинуться по самым неожиданным поводам. И только что успел Лугинин принять председательство в нашей Комиссии, как ему уже пришлось отправиться в Учебный округ по вызову попечителя Боголепова. В первом сборнике наших программ мы помимо основных программ поместили несколько «эпизодических программ» на отдельные темы. В том числе была разработанная мною тема о государственной деятельности Сперанского. Она-то и вызвала неодобрение Боголепова. Лугинин рассказывал нам о своем визите к попечителю тоном плохо скрываемой брезгливости. «Он сказал мне: «Почему вашей Комиссии непременно надо было начать со Сперанского, этого провозвестника конституционных идей?» Я указал на то, что эта тема поставлена чисто научно, без всякой агитации. Но он твердил все свое. Если меня еще раз вызовут к попечителю, я — просто не поеду». И точно — Комиссия наша ни в какой мере не была подвластна попечителю учебного округа.

Лугинин года два добросовестно работал в Комиссии, и все мы были им довольны. Но потом он собрался за границу для серьезного

лечения и сложил с себя председательство. Мы отправили к нему депутацию с просьбой не оставлять нас. Во главе депутации был Чупров. Он — по обыкновению — говорил прекрасно, но Лугинин остался непреклонен. Тогда во главе Комиссии стал П.Г.Виноградов, и работа пошла по-прежнему бодро и энергично. В течение четырех лет были изданы четыре сборника программ, заключавшие в себе в совокупности законченный четырехлетний курс по всем отраслям университетского преподавания, кроме медицинских наук. А в «Библиотеке для самообразования» был издан ряд книг, необходимых для занятий по этим программам. И программы, и эти книги раскупались нарасхват. Программы выдержали целый ряд изданий в громадном количестве экземпляров, и Комиссия постоянно их перерабатывала, совершенствовала и освежала сообразно движению науки. Большим успехом пользовалась и серия «Библиотеки самообразования». Первым номером ее была «Логика» Минто, переведенная для этого издания на русский язык. Лишь только она вышла в свет, книжные магазины были прямо атакованы покупателями, и издание было расхвачено до последнего экземпляра в кратчайший срок.

Не сомневаюсь в том, что в воспоминаниях каждого, кто принадлежал к составу университетской ученой молодежи в 90-х годах и участвовал в работах этой Комиссии, сохранилась самая светлая память об этих его работах и о том, какую важную объединяющую роль сыграла эта Комиссия для нашего поколения университетских деятелей.

Конечно, с большой благодарностью вспоминают о Комиссии домашнего чтения и ее абоненты. Их было очень много, они были рассеяны по всей России вплоть до отдаленнейших окраин и принадлежали они к самым разнообразным слоям населения. Это особенно важно отметить потому, что Комиссия с самого начала твердо вознамерилась, — и затем осталась этому намерению неизменно верна, — работать над распространением в массе населения настоящей серьезной университетской науки, не понижая ее уровня, не переходя на упрощенную популяризацию. Это решение было принято вовсе не потому, чтобы упрощенная популяризация признавалась чем-то не заслуживающим одобрения. Но мы исходили из той мысли,

что популяризаторов упрощенного типа найдется и находится немало и помимо нас, и над этой задачей трудятся уже разные другие организации, часто с полным успехом. Но мы полагали, что в массе общества имеется много людей, нуждающихся не в научно-популярных книжках и брошюрах, издаваемых, как говорилось, «для народа», т.е. для совершенно неподготовленных читателей, а в руководстве серьезным изучением той или иной группы наук, которое может быть получено только от университетских специалистов. Нас спрашивали скептически настроенные люди: да найдется ли достаточно лиц, которые пожелают вашим руководством воспользоваться? Кому нужна университетская наука, тот и пойдет в университет, и ваша Комиссия ему не понадобится. Такие рассуждения казались нам далекими от жизни. Из окончивших среднюю школу в университеты попадали далеко не все; очень многие в силу разнообразных обстоятельств оставались за бортом высшей школы, хотя и чувствовали стремление к пополнению своего образования; а затем, разве люди, уже прошедшие некогда университетский курс, не испытывают сплошь да рядом потребность освежить свои знания или вновь приобрести таковые, только уже в другой области?

Итак, в том, что у Комиссии не будет недостатка в клиентах при серьезной постановке ее дела, мы нисколько не сомневались, и действительность вполне подтвердила нашу уверенность. Оставался другой вопрос: правильно ли с точки зрения общественной пользы затрачивать энергию на пропаганду в стране университетской науки, когда громадная часть населения лишена даже начального образования? Но и те возражения, которые приходилось слышать с этой точки зрения против предприняемого нами дела, не представлялись нам убедительными. Мы никак не могли согласиться с довольно распространенным взглядом на высшее образование как на какую-то роскошь, как на какое-то умственное лакомство, без которого страна может и обойтись, пока не выполнены более насущные задачи. Никто не может отрицать необходимости возможно более широкого распространения в массах начального и среднего образования. Но такую же насущную необходимость составляет и приобщение возможно большего числа к высшему образованию, ибо только при этом условии достигается настоящий подъем культуры в данной стране. И

в особенности выполнение этой задачи было важно для России с ее необъятными пространствами, вследствие которых получалась столько резко выраженная оторванность провинциальных углов от культурной атмосферы столиц и немногих более крупных провинциальных центров. Заочное университетское преподавание должно было, таким образом, обслуживать в высшей степени важную общественную потребность, которая заключалась в более равномерном распределении высших культурных интересов по всей стране. И опыт Комиссии показал, что все эти соображения, которые нами руководили, как нельзя более соответствовали реальной действительности. Десять лет с лишком продолжалась усиленная деятельность Комиссии, начавшая замирать в 1905 г., когда чисто политические события приковали к себе чуть ли не целиком общественное внимание. За это время у Комиссии накопился громадный архив, составившийся от переписки ее с лицами, пользовавшимися ее руководством в своих занятиях. Где-то теперь этот архив? Что с ним случилось? Если Он не сохранился, то это надо признать великой утратой для истории культурной жизни русского общества в конце XIX столетия. Переписка Комиссии заключала в себе драгоценный материал в этом отношении. Абоненты у Комиссии были самые разнообразные и по возрасту, и по социальному положению, и по образовательному цензу, и по месту жительства: от центрального района России до дальнего Закавказья и до Якутской области включительно. Эта переписка показывала, что разгрызание твердого ореха серьезной университетской науки доставляло живительное наслаждение многим и многим, кто находил в этом якорь спасения от разлагающего влияния житейской пошлости. Во многих местах как-то сами собой возникали кружки абонентов Комиссии домашнего чтения, и там устанавливались групповые занятия под руководством Комиссии. Это руководство ценилось очень высоко нашими абонентами. Уже один тот факт, что человек, прозябавший в провинциальной глуши, вдруг получал из Москвы критический разбор своей письменной работы, подписанный фамилией какого-нибудь известного профессора, сплошь да рядом составлял целое событие для такого провинциала, и он, взволнованный, строчил в Комиссию изъявление своей радости и благодарности.

Письменным руководством занятиями абонентов не исчерпывалась деятельность Комиссии. С самого начала существования Комиссии при ней было образовано лекционное бюро для организации лекций профессоров в провинции. Эта отрасль деятельности Комиссии вносила чрезвычайное оживление в провинциальную общественную жизнь. Тогда даже и в столицах публичные лекции профессоров были редкостью, — это уж в 90-х годах наступил целый лекционный потоп, — а в провинции приезд столичного лектора являлся прямо неслыханным событием.

Началось с того, что в первый же год существования Комиссии Милюков и Иванов (приват-доцент и пользовавшийся тогда большой известностью литературный критик) поехали в Нижний Новгород и прочитали там два небольших публичных курса, Милюков — по истории общественного движения в России, а Иванов — по истории политических идей во Франции. Успех этой поездки был громадный. В городе, пока шли эти лекции, стоял какой-то сплошной праздник. Публика на лекции валила валом. А затем следовали вечеринки и банкеты с приезжими лекторами, лились речи, вся нижегородская интеллигенция встряхнулась и оживилась, словно ее вспрыснули волшебной водой.

Разумеется, тотчас возникла мысль, чтобы за столь удачным началом последовало продолжение. Нижегородцы неотступно просили, чтобы им прислали еще лекторов. Вот тогда-то пришлось и мне вступить на поприще странствующего публичного лектора. Комиссия решила поручить мне прочесть в Нижнем Новгороде публичный курс во время устраивавшейся в том году в этом городе всероссийской выставки. Для устройства лекции требовалось разрешение местного губернатора, которое давалось по предварительному заключению попечителя учебного округа. И вот оказалось, что нижегородский успех Милюкова и Иванова уже смутил начальство, и на этот раз попечитель заявил, что не может дать благоприятного заключения, пока ему не будет представлен письменный текст лекций. Дабы не губить дела в самом начале, Комиссия решила на этот раз выполнить требование попечителя. Я терпеть не могу читать лекции по писаному тексту, но делать было нечего, пришлось напи-

сать весь курс из восьми лекций и представить его в канцелярию попечителя. Курс был посвящен очерку состояния русского общества в конце XVIII столетия. Вдруг попечитель вызывает меня для объяснений. Оказалось, что он согласен допустить прочтение представленного мною курса, но при одном условии: характеризуя отношения помещиков к крестьянам в XVIII столетии, я употреблял выражения «рабовладение и рабовладельцы». Попечитель находил, что это недопустимо, так как может вызвать неудовольствие среди дворян, которые усмотрят в этом желание изобразить в слишком мрачных красках деяния их предков. Я отвечал, что крепостные крестьяне не были рабами в строго юридическом смысле, но фактически во второй половине XVIII столетия их положение стало совершенно рабским и уже в то время к ним применялось наименование раба. «Я не могу допустить таких выражений», — твердил свое попечитель. Я уже начал помышлять о том, чтобы раскланяться и уйти не солоно хлебавши, как вдруг меня осенила счастливая мысль, и я сказал: «Если угодно, я могу заменить термин рабовладение выражением душевладение». Попечитель подумал и вдруг заявил: «Это можно».

Привожу этот эпизод как указание на то, до какой мнительности доходила тогда порой боязнь отдельных слов, даже если речь шла о временах, давно минувших.

Итак, я мог ехать со своим курсом в Нижний Новгород. То было мое первое публичное выступление в качестве лектора. Конечно, я был еще не искушен по этой части, да и писанный текст мне немало мешал, и я думаю, что мое чтение в тот раз оставляло желать лучшего. Тем не менее лекции имели успех, и прием мне был оказан самый радушный. Нижний Новгород был полон свежими воспоминаниями о Владимире Галактионовиче Короленко, который прожил там около десяти лет и только незадолго до моего приезда получил разрешение переехать в Петербург. И литературная слава Короленко, и обаяние его личности, и та яркая роль, какую он играл в общественной жизни нижегородского края, — снискали ему горячую любовь нижегородцев, и все они гордились тем, что любимый писатель так долго прожил среди них. Наиболее близкий к нему кружок стоял, так сказать, в челе нижегородского общества. Он-то и взял на себя

главные заботы по приему приезжего лектора. Стояла погожая весна. И мы проводили чудные часы на знаменитом «откосе», т.е. на площадке крутого берега Волги, с которой открывается дух захватывающий по красоте и грандиозности вид на необозримую даль полей и на величавую Волгу, оживленную непрерывным движением многочисленных пароходов, барок и других судов. Чрезвычайно приятен был также обед, устроенный в мою честь на одном из пароходов на Волге, которая кипела жизнью, а с наступлением сумерек, когда на всех пароходах зажглись огни, приняла волшебный вид какой-то причудливой подвижной иллюминации.

После этих первых удачных опытов устройства провинциальных лекций Комиссия решила приступить к систематической организации этого дела и раскинуть его на всю Россию. Меня избрали председателем лекционного бюро. Мы обратились к профессорам и доцентам Московского и всех иных университетов с предложением принять участие в этом деле. Список предложенных ими тем для лекций и курсов мы отпечатали и разослали повсюду по разным провинциальным просветительным организациям. Этим организациям мы предложили взять на себя устройство на месте желательных для них лекций, испрошения разрешения на каждую лекцию у подлежащих властей и оплату всех расходов по устройству лекций, причем могущий получиться доход обращался в пользу местной организации, а лекционное бюро брало на себя посредничество между местными организациями и университетскими лекторами.

Провинция, можно сказать, с энтузиазмом откликнулась на наш призыв, и дело закипело. Лекции приезжих профессоров стали устраиваться в многих провинциальных городах, и эта, я бы сказал, лекционная эпидемия, прокатившаяся по всей стране, внесла сильную освежающую струю в провинциальную жизнь. Для лекционного бюро дело было довольно хлопотливо. Особенно много хлопот выпадало в связи с необходимостью преодолевать разные затруднения, выдвигавшиеся со стороны местных властей, очень недовольных этой новой затеей. Немало курьезов разыгрывалось на этой почве. Теперь вспоминать об этих курьезах только смешно, а в свое время они доставляли нам немало волнений. То и дело от местных органи-

заций приходили тревожные вести о том, что губернатор налагает запрет на устройство той или иной лекции по самым фантастическим соображениям, и надо было принять меры, чтобы вздорное недоразумение вовремя разъяснилось. Нередко все усилия не приводили ни к чему, и приходилось отказываться от намеченной лекции. В одном городе специалист-географ должен был прочесть лекцию о Новой Земле. Губернатор ни за что не хотел разрешить этой лекции. Он был твердо убежден, что речь пойдет о земельной прирезке к крестьянским наделам. Ему указывали на представленную лектором программу, где говорилось о быте эскимосов на острове Новая Земля. Губернатор хитро улыбнулся и отвечал: «Знаю я, что это за эскимосы!» Так лекция и не была разрешена.

Иной раз удавалось протащить лекцию через губернаторский штаб-баум при помощи самых своеобразных приемов. В одном городе губернатор, ознакомившись с программой лекции по истории освобождения крестьян, говорил у себя в гостиной, что такие темы недопустимы, ибо пахнут революцией. Было ясно, что лекция не получит разрешения. А лектор из Москвы уже прибыл на место. Тогда взялся съездить к губернатору один местный старожил, человек со связями, державшийся с губернатором на равной ноге. Он прямо сказал губернатору: «Ваше превосходительство, представьте себе, какой-то болван рассказывает, будто вы не желаете разрешить лекции об освобождении крестьян; ведь находятся же такие дураки!» Лекция была немедленно разрешена. Приведу еще курьез уже иного рода. В г. Ельце, уездный город Орловской губернии, была предложена моя лекция тоже по истории крестьянской реформы: орловский губернатор лекцию запретил, а я получил из его канцелярии бумагу следующего содержания: «Ввиду могущих возникнуть при чтении лекции беспорядков отказать профессору Кизеветтеру в просимой им в городе Ельце кафедре».

Сколько во всем этом было нелепой наивности! На лекцию научного характера смотрели как на какую-то разрывную бомбу и проглядывали между пальцев, что в стране медленно, но неуклонно назревало революционное настроение, питаемое вовсе не научными

лекциями, а резким расхождением правительственных действий с очередными потребностями государственной жизни.

На первых порах мне пришлось руководить работой лекционного бюро. Затем я стал подумывать о передаче этого дела кому-нибудь другому, ибо мне нужно было вплотную и ничем не отвлекаясь засесть за окончание своей диссертации. Я был очень обрадован тем, что отыскался человек, заинтересовавшийся этим делом и как нельзя более подходящий для того, чтобы взять на себя руководство его дальнейшим развитием.

С Павлом Ивановичем Новгородцевым я был в университете одновременно, но я был историком, а он был юристом, и во время студенчества нам познакомиться не пришлось. Уже по окончании университета как-то раз мой друг Петр Иванович Беляев привел ко мне очень красивого брюнета, со звучно-музыкальным баритоном, с благородной осанкой, с размеренно-внушительной речью. Мы побеседовали о том о сем, ни в какие интимные излияния и признания не вдавались, а между тем к концу первого же разговора уже чувствовали себя приятелями. Что-то сразу расположило нас друг к другу, и это расположение скоро за тем перешло в дружбу, которая и длилась непрерывно, нисколько не ослабевая, вплоть до того момента, когда мне уже здесь, в Праге, пришлось проводить его прах до последнего убежища на Ольшанском кладбище.

Павел Иванович Новгородцев быстро выдвинулся среди московской ученой молодежи своими знаниями, своими блестящими умственными дарованиями, своим красноречием и совершенно определенным направлением своего мирозерцания. Специализировавшись на философии права, он выступил сторонником возрождения доктрины естественного права вразрез со столь долго господствовавшим в русском общественном сознании позитивистским направлением. Он защищал свою позицию чрезвычайно талантливо, настойчиво и элегантно, и вот это соединение настойчивости с элегантностью являлось вообще отличительной чертой его личности и всей его деятельности и как ученого, и как профессора, и как замечательного организатора и руководителя крупными общественными предприятиями.

Защитив с большим блеском свою магистерскую диссертацию, он, видимо, желал несколько передохнуть и освежиться от кабинетной работы на таком поприще, на котором он мог бы найти удовлетворение жившей в его душе потребности к организаторской деятельности. Мне же как раз приспела нора на время замкнуться в кабинете, чтобы достойно завершить свои продолжительные работы по изготовлению магистерской диссертации. И я был очень рад передать руководство лекционным бюро П.И.Новгородцеву. Дело это быстро развивалось, принимало всероссийский размах. С течением времени руководство лекционным бюро перешло к В.Э.Дену, когда П.И.Новгородцев засел за докторскую диссертацию, а с переездом Дена из Москвы в Петербург во главе бюро стал Ю.И. Айхенвальд. Отказавшись от руководства лекционным бюро, я все время продолжал участвовать в его деятельности и читал много публичных лекций и курсов в различных городах. Я старался выбирать именно такие города, где еще не бывало таких лекций, где надо было пролегать первую тропу в налаживании этого дела. Эти лекционные поездки дали мне возможность воочию познакомиться с состоянием провинциального общества в 90-х годах XIX столетия.

В середине 90-х годов провинциальное общество, можно сказать, только что еще начинало пробуждаться от долговременной дремоты. В столицах «гремели витии», пламенела запальчивая полемика между народниками и марксистами, в провинции все было тихо, о политических дискуссиях не было еще и помину и даже такая вещь, как научно-популярная лекция приезжего профессора, составляла целое событие, вызывавшее не лишенный наивности праздничный переполох, а иногда и некоторую растерянность перед вопросом — как надлежит обставить такое непривычное дело. На этой почве приходилось иногда наталкиваться на комические эпизоды.

Приехал я как-то в один город — губернский, но довольно заолустный. Выхожу из вагона, направляюсь вслед за публикой ко входу внутрь вокзала и замечаю, что всякий входящий с платформы в вокзал предварительно останавливается, удивленно пожимает плечами и потом уже следует далее. Что за притча? — подумал я. Подхожу и я вдруг вижу, что к самому моему носу некий субъект подносит

здоровенную палку, на которой утвержен лист картона, а на нем крупными буквами написано: «Кто здесь Кизеветтер?» Я назвал себя, и ко мне тотчас подлетели устроители лекции и взяли меня под свою опеку. В другом городе произошел еще больший курьез. Среди лекции я сделал перерыв. И вот приходит в лекторскую комнату почтенный господин и говорит: «Будьте добры, господин профессор, сделайте антракт подлиннее». — «Зачем?» — «Видите ли, моя старшая дочь очень просилась со мной на вашу лекцию, но я, право, не решался ее взять, никогда у нас публичных лекций не бывало, я не знал, прилично ли молодой девице быть на такой лекции, но теперь я вижу, что это ей будет очень полезно, и хочу съездить за ней, так будьте добры, подождите немного».

Не везде, конечно, было так захолустно. Приехал я с лекцией в Тверь и попал как раз на время губернского земского собрания. Тверь всегда славилась высоким культурным уровнем своих земских деятелей. И два дня, проведенные мною в кружке этих деятелей — тут были братья Петрункевичи, Бакунины, Линд, Кузьмин-Караваев и другие, — оставили во мне отраднейшее впечатление. Недаром есть пословица: «Тверь городок — Москвы уголок». Здесь-то, в Твери, созрела идея об издании за границей «Освобождения», но об этом дальше.

Впрочем, наезжая периодически в разные провинциальные города с лекциями, я мог наблюдать, как к концу 90-х годов с каждым годом все сильнее настроение провинции оживлялось и политические страсти уже начали прорываться наружу. Наконец пришлось мне с кафедры созерцать и такую картину, которая еще за год до того была бы совершенно немислима. Во время лекции в одном губернском городе сверху, — зала была с хорами, — посыпался целый дождь бумажек, которые, рея в воздухе, ниспадали на публику. Сидевший в первом ряду полицеймейстер вскочил и стал, довольно грациозно подпрыгивая, подхватывать на лету эти бумажки; бумажки все сыпались, а полицеймейстер все их подхватывал. Я между тем продолжал читать, а публика продолжала меня слушать. Потом мне сказали, что это были какие-то политические прокламации и что

лица, их разбрасывавшие, были арестованы. Итак, атмосфера накалялась. Россия была уже накануне кризиса.

Мне не хочется закончить эту главу, не сказав несколько слов еще об одном Обществе, в котором мне пришлось довольно долго поработать. Я разумею Общество вспомоществования недостаточным студентам.

Московский университет притягивал к себе громадное количество учащейся молодежи со всех концов России. Уже сам Московский учебный округ был чрезвычайно обширен, охватывая все центральные губернии Европейской России. Но в Московский университет устремлялось очень много молодых людей, окончивших гимназии и в других учебных округах — и с Кавказа, и из Сибири, и из Прибалтийского края, и т.д. Иных привлекала в Москву надежда легче найти себе там какой-нибудь заработок, нежели в провинциальных университетских городах, иных притягивали имена знаменитых профессоров; так некогда я сам потянулся из Оренбурга, минуя Казань, в Москву, потому что меня влекла туда мысль стать учеником Ключевского.

В этой студенческой массе, переполнявшей Московский университет, было очень много настоящих бедняков без всяких средств к существованию. Только при помощи общественной благотворительности могли они получить высшее образование. По части общественной благотворительности Москва была очень таровата, а по части пожертвований на нужды просвещения эта тароватость проявлялась с сугубой силой.

Общество вспомоществования недостаточным студентам служило одним из красноречивейших тому доказательств. Это Общество содержало прекрасную столовую для студентов, выдавало нуждающимся студентам одежду и учебные пособия и вносило в университет плату за учение тех студентов, которые не были в состоянии сделать это из собственных средств. Дела Общества шли очень хорошо, пожертвования поступали беспрерывно, и главной жертвовательницей была богатая владельница золотых приисков в Сибири Базанова, которую по всей справедливости следует назвать добрым ангелом московских студентов. Многие тысячи молодых людей только

благодаря ей могли окончить высшее образование. Раз в неделю, по четвергам, происходили заседания Общества, члены распределяли между собой прошения студентов и затем должны были лично посетить просителей, осмотреть обстановку, в которой они живут, и расспросить их подробно об обстоятельствах их жизни. Обходя по обязанности члена этого Общества студенческие мансарды в течение ряда лет, я мог воочию наблюдать, как с течением времени постепенно обострялась студенческая нужда, вследствие увеличения дороговизны жизни.

Когда я вступил в это Общество, председателем его был судебный деятель Сумбул — личность, очень популярная тогда в Москве, но я знал его мало, и вскоре по моем вступлении в Общество он скончался. Тогда председателем Общества был избран проф. Корсаков, знаменитый психиатр, по общему признанию специалистов, произведший крупные открытия в области психиатрической науки и утвердивший смелые нововведения в практической постановке психиатрического лечения.

Когда он сидел на своем председательском месте, им нельзя было не залюбоваться. Он был очень красив. Крупная оригинально-красивая голова его увенчивалась взбитыми волнистыми волосами, ниспадавшими на плечи. При крупной и плотной фигуре он обладал очень тонким голосом, подобно тому, как это было у И.С.Тургенева.

Он пользовался общей любовью, которая равнялась его крупному научному авторитету. И нельзя было не любить его. Это был человек необычайно доброй души, так же как и другой любимец Москвы, о котором уже говорилось выше, — А.И.Чупров. Нередко приходилось наблюдать в заседаниях Общества такую сценку: прошение какого-нибудь студента отклоняется по тем или иным соображениям; Корсаков, сам тоже подав голос за отклонение, немедленно вслед за тем вскакивает и на несколько минут исчезает в соседнюю комнату. Все переглядываются, усмехаясь; всем отлично известно, что это значит: Корсаков побежал к просителю, дожидаящемуся в соседней комнате решения своей участи, и там вынет кошелек и выдаст студенту просимую сумму из своих собственных денег.

При Сумбуле большинство членов Общества принадлежало к судебному миру. С появлением Корсакова на посту председателя к юристам прибавилось много медиков. Вообще на заседаниях Общества можно было встретить много людей, принадлежавших к разнообразным слоям интеллигентской Москвы. Среди членов Общества были такие, которые отдавали Обществу наибольшее количество времени и сил, посвящая себя, можно сказать, целиком заботам о недостаточных студентах. Об одном из них мне хочется сказать несколько слов, как потому, что мне довелось близко наблюдать его в разные моменты его деятельности, так и потому, что он представлял собою довольно характерную фигуру в общественной жизни Москвы. Я разумею Дмитрия Николаевича Доброхотова, присяжного поверенного и деятельного члена Московского совета присяжных поверенных, а потом и председателя этого Совета. Он был, можно сказать, живым воплощением преданий 60-х годов. Решительные манеры, заборной клок волос над умным лбом, резкая саркастическая речь, строгая выдержанность позитивистского мировоззрения без малейших уклонений в сторону метафизической мечтательности, несколько подчеркнутая аскетичность в одежде, — все это вместе взятое составляло определенный букет, по которому вы сразу узнавали в этом оригинальном и интересном старике отдаленного духовного потомка... не самого Базарова, а тех людей 60-х годов, которые сами, не будучи в душе Базаровыми, были пленены некоторыми броскими чертами базаровского типа. А Базаровым Доброхотов не был уже потому, что был человеком нежной и доброй души. Сам старик, притом заваленный делами, он не пропускал ни одного дня, не навестив своей старой матушки. Это уже не по-базаровски. Не по-базаровски был он проникнут и альтруистическими стремлениями. Обществу вспомоществования студентов он отдавал массу времени, потому что любил студенческую молодежь и испытывал удовольствие быть в ее среде, трудиться на ее пользу.

Между тем он вел дела известного московского богача Шахова. У этого Шахова был брат, Александр Александрович, умерший в 70-х годах, в молодых летах, — высокодаровитый и подававший большие надежды ученый, друг молодости Ключевского. Шахов и Ключевский одновременно вступали на ученое поприще (Шахов был

несколько моложе) и были неразлучны, хотя по характерам и не походили друг на друга, — в университетских кругах того времени их называли «Фауст и Мефистофель». Специальностью Шахова была история литературы, у студентов и курсисток его лекции пользовались громадным успехом, и точно они были блестящи, как об этом можно судить по печатным посмертным изданиям его курсов: «Гете и его время» и «Французская литература первой половины XIX ст.». Он рано умер от чахотки. Я уже не застал его по прибытии моем в Москву из провинции, но в кругах, близких к университету, я еще застал живую и теплую память о его обаятельной личности.

А брат его стоял совсем вдалеке от интересов и круга знакомств Александра Александровича. Надолго пережив последнего, он вдруг получил громадное наследство и стал богачом. Он начал делать тогда частые и обильные пожертвования на различные просветительные цели, придавая этим пожертвованиям характер политических демонстраций. Произнесет, например, Родичев в Государственной думе яркую обличительную речь против бюрократического произвола, а Шахов тотчас учреждает стипендию «имени Родичева» при каком-либо высшем учебном заведении. Такого рода стипендии с демонстративными наименованиями стали все учащаться и принимали все более острый политический характер по поводам их учреждения. Ретроградные круги в правящих сферах стали сердиться и поднимали даже вопрос об установлении опеки над задорным жертвователем. В развитии этой благотворительно-политической деятельности Шахова видную роль играл именно Доброхотов, бывший юрисконсультom Шахова.

В день московского университетского праздника — 12 января — Общество вспомоществования студентам ежегодно устраивало в Большом Московском трактире обед бывших студентов, и этот обед составлял, как бы сказать, центральный пункт среди тех многочисленных сборищ, которыми в Москве всегда ознаменовывался Татьянин день. Да позволит же мне читатель заключить эту главу беглым воспоминанием о том, как в былые годы праздновалась в Москве «Татьяна». Ведь без этого в воспоминаниях о жизни Москвы тех времен остался бы поистине зияющий пробел.

О, я знаю, щепетильные моралисты при воспоминании о московской «Гатьяне» делают гримасу и сейчас же начинают говорить о пьянстве и безобразиях. Да, было и пьянство, бывали и безобразия. Но вольно же упираться мыслью в одни только черные тени былого, не замечая света!

Праздник начинался богослужением в университетской церкви, за которым следовал университетский акт. Эта официальная часть дня обыкновенно бывала довольно томительной. Актовая зала университета наполнялась почетными гостями из официального мира, и разные именитые старцы обрекались на немалую жертву науке: им предстояло выслушать очередную актовую речь, всегда очень длинную, всегда очень ученую и нередко наводившую на размышление не столько о сладости плодов науки, сколько о горечи ее корней. Только Тихонравов в бытность свою ректором умел сдобрить скуку официального акта, как я об этом уже говорил в первой главе этой книги. Тогда все наверняка знали, что за длинную актовую речь они будут вознаграждены мастерской заключительной речью ректора, в которой непременно будет пущена меткая ядовитая стрела по адресу публицистической цитадели Страстного бульвара и ее главного бойца Каткова — принудительного арендатора университетской типографии, и стрела эта будет оперена убийственной иронией, облеченной в блестящую и остроумную литературную форму. И потом в течение всего дня крылатое словечко ректора будет переходить из уст в уста и послужит темой для многих застольных речей.

Застольные речи лились в тот день во всевозможных уголках Москвы. Ведь то был поистине всемосковский праздник: и молодежь, и пожилые люди, и старцы — все чувствовали себя в этот день студентами, одни — праздную праздник своей молодости, другие — молодея душой от воспоминаний о минувших годах. Это был праздник общего радостного возбуждения, ибо каждому приятно было хоть раз в году почувствовать себя членом обширной группы культурных людей, связанных общностью воспоминаний, единством настроения. В сторону отбрасывались всякие перегородки — служебные, партийные, возрастные, и какой-нибудь ученый, уже близ-

кий к концу земного поприща, хотел быть в этот день таким же веселым, возбужденным, даже таким же легкомысленным, как иной птенец, только что перелетевший с гимназической скамьи под сень старого дома на Моховой.

Даже Каменный гость Московского университета проф. Н.П. Боголетов в этот день ухмылялся, даже Владимир Иванович Герье, этот суровый ментор многих студенческих поколений, в этот день «кутил», т.е. выпивал несколько маленьких рюмочек ликеру и «шалил», т.е. говорил юмористические тосты.

Товарищеские обеды в честь Татьянина дня справлялись в многочисленных компаниях, но затем эти тесные интимные компании мало-помалу притекали в главный общий центр, в громадную залу Большого Московского трактира. Громадная зала битком набита. Кого-кого тут нет? На густом фоне недавних и давних студентов всех поколений выделяются всем знакомые лица славных профессоров — и не только московских, с приветом старейшему университету приезжали и иногородные гости.

Председательствует Сергей Сергеевич Корсаков, как глава Общества вспомоществования студентам. Он открывает речи. За ним поднимается с другого конца стола приехавший из Петербурга Н.И. Кареев. Он говорит о Грановском, Кудрявцеве, Соловьеве. Лишь только он кончил, вскакивает возбужденный И.В.Луцицкий из Киева. Речь Луцицкого мчится стремительным потоком, из рукава оратора то и дело вылетает на воздух отцепившаяся манжета, он, не прерывая речи, ловко подхватывает манжету на лету и на некоторое время вправляет ее в рукав, вскоре она опять вылетает, но речь бурлит и пенится задорным одушевлением, как будто даже подстегиваемая этими манипуляциями с манжетой. Много, много речей сменяет друг друга под звон стаканов. Но вот обед кончен, десерт убран, скатерти сняли. Тогда Д.Н.Доброхотов встанет на стол и напекает студенческие куплеты о том, как в Москве искали социалистов. Ничего не отыскали, только

у студента под конторкой
пузырек нашли с касторкой.

Наконец догадались:
По Пречистенке пошли,
Социалиста вдруг нашли,
Оказался социалист —
Попечитель граф Капнист.

И каждый куплет подхватывается общим припевом: «Черная галка, ясная полянка...»

А в это время тройки уже скачут из Москвы за город, розвальни с бубенцами несутся, «бразды пушистые взрывая», по аллеям Петровского парка, между деревьев с освещенными луною снежными шапками. Розвальни и саночки устремляются к «Яру». Обычные посетители этого знаменитого ресторана сегодня отсутствуют, пускают только тех, кто справляет «Татьяну». Все залы переполнены. Всюду звучит «Gaudeamus». Вдруг у подъезда — раскатистое «ура». Это — подъехали на одном извозчике на малых санках, обнявшись, два толстяка: И.И.Янжул и М.М.Ковалевский — и студенты приветствуют их кликами. Здесь речи уже все более шуточные. Вот поднимается всероссийский златоуст Плевако с львиной гривой волос, обрамляющей его скуластое калмыцкое лицо. Он предлагает желающим задать ему любую тему для ораторской импровизации. И тут — взоры всех, словно по команде, обращаются туда, где сидит, сверкая очками, небольшого роста человек с заостренной бородкой.

Кто же, как не Ключевский задаст хитроумную тему? Ключевский не остается в долгу и предлагает Плеваке сказать речь о «пользе вреда». Плевако чувствует, что попал в капкан, и после нескольких словесных аллюров спасает свое положение тем, что произносит вдохновенный панегирик Ключевскому. Вся зала шумными кликами чувствует любимого профессора-чародея.

Что же это за однодневный всемосковский карнавал? Только — забава, разгул и больше ничего? Нет, это — торжество сознания единства культурной России. Раздирается эта культурная Россия многими распрями, все разбиты на взаимно враждующие «приходы». Но в Татьянин день вдруг над всеми этими будничными распрями вспыхивает чувство принадлежности к общей alma mater. Это-то

чувство бодрит и оживляет сердца. Я уже сказал, что этот праздник не ограничивался пределами Москвы. Из всех концов России неслись в этот день телеграфные приветствия Московскому университету. Москва бывала в этот день сердцем России, снова и снова выполняя свою изначальную функцию «собрания Руси».

Глава VI. Канун кризиса

I

Итак, уже к 1899 г., к концу правления Горемыкина, начавшееся с 1891 г. общественное оживление приняло острую форму политического возбуждения, питаемого все более выяснявшимся сознанием того, что пути правительственной власти и общества расходятся все сильнее. А между тем те ретроградно-воинствующие группы дворянства, влияние которых на правящие круги все укреплялось, были уже недовольны Горемыкиным. Они находили, что Горемыкин хотя и проводит желательный для них политический курс, но делает это вяло, без одушевления, в рутинно-бюрократических формах. Им хотелось красочных манифестаций, победного шума, чтобы всем было ясно, что на их улице настал праздник. Апельсиновой коркой для Горемыкина послужил проект введения земства в северо-западных губерниях, вызвавший разные осложнения и споры в правящих кругах. В ноябре 1899 г. Горемыкин был отставлен от поста министра внутренних дел и заменен Сипягиным.

Эта замена носила явно симптоматический характер. Ретроградные группы дворянства обретали в Сипягине в полном смысле слова «своего человека». Если Горемыкин представлял собой типического петербургского бюрократа, то теперь этот канцелярский сухарь был заменен подлинным баринком, с размашистыми повадками жизнерадостного жуира и с непреклонной уверенностью в том, что он, как дворянин и барин, принадлежит к той особой расе, которой должны быть открыты все пути к наслаждению радостями бытия. Теперь выполнение ретроградно-дворянской программы должно было принять шумно вызывающий характер праздничного карнавала. Предоставление поместному дворянству привилегированного положения во всех отраслях государственной жизни и подчинение ему, как руководящему классу, всех остальных слоев и групп населения было объявлено теперь исторической особенностью русского национального жизненного строя. Политике контрреформ теперь старались

придать характер возвращения к национальным заветам допетровской московской старины.

При этом не очень заботились об исторической точности. Как были бы разочарованы ликующие дворянские круги, доверившие Сипягину отстаивание своих интересов, если бы им удалось познакомиться с картиной подлинного быта служилого дворянства XVII века, прикрепленного безвыходно на всю жизнь к тяжелой государственной службе и беспрестанными походами отрываемого от ведения хозяйства на тех небольших поместьях, которые давались служилым дворянам из государственного земельного фонда не в собственность, а только в условное пользование с очень ограниченными правами распоряжения. Однако эти неприятные исторические справки были отброшены в сторону, а просто-напросто решено было считать, что на Руси якобы искони так повелось, чтобы всем верховодил помещик-барин, а мужики и купчишки кланялись бы этому барину как своему господину, работали бы на него и во всем подчинялись бы его приказаниям. Без дальних справок с исторической наукой этот идеал был признан истинным заветом предков. Либеральные бредни были объявлены наносной из чужих земель проказой, а ретроградная политика — русской старозаветной мудростью. И проведению этой ретроградской политики стали придавать характер какого-то политического маскарада: щеголяли старинным русским костюмом, показным соблюдением старинных домашних обрядов и т.п., - словом, всем тем, для обозначения чего теперь выдумана замысловатая кличка: «бытовое исповедничество». При Сипягине и в придворном быту вошли в моду археологические маскарады. Государь появлялся на них в костюме царя Алексея Михайловича, царская семья, великие князья, придворные чины — в костюмах XVII столетия, а сам Сипягин выступал в виде «ближнего боярина».

Наряду с этой невинной забавой давался энергичный дальнейших ход правительственным мероприятиям, направленным на всяческое ограничение всесословной общественности и на дальнейшее развитие дворянских сословных преимуществ.

Новые удары обрушились тогда на земские учреждения. Опять пошли внезапные набега на компетенцию земства, от которого

стремились отрезать существеннейшие ее отрасли. Вновь выдвинут был вопрос об изъятии из компетенции земства продовольственного дела. 12 июня 1900 г. министру внутренних дел было поручено разработать и внести в Государственный совет проект общего продовольственного устава, а впредь до издания такого устава вводились в действие временные правила, и этими правилами продовольственное дело — наблюдение за засыпкой хлеба в общественные магазины, за пополнением продовольственных капиталов, за выдачею в неурожайные годы ссуд на обсеменение полей и на продовольствие населения — было взято от земства и передано в руки администрации. Выработка плана продовольственной помощи при недороде возложена на уездные съезды, в составе которых представители земства составляли незначительное меньшинство. Распределение ссуд и пособий также было взято от земства.

Однако лишь только во многих местностях обнаружили признаки неурожая, министерству пришлось бить отбой, и Сипягин разослал циркуляр, коим предписывалось, чтобы в неурожайных местностях продовольственное дело ведалось по-прежнему земскими управами, якобы на том основании, что земские управы начали это дело еще до издания правил 12 июня 1900 г. К осени 1901 г. обозначилось столь критическое положение сельского населения ввиду обширного недорода, что правительство почувствовало себя беспомощным без содействия общественных сил, и 17 августа Сипягин опять разослал циркуляр, в котором предписывал губернаторам немедленно созвать экстренные губернские и уездные земские собрания для обсуждения плана продовольственной кампании и для призыва земства к участию в борьбе с последствиями неурожая, причем в циркуляре этом прямо было высказано знаменательное признание, что правила 12 июня 1900 г. подходящи «только в мирное в продовольственном отношении время, но не в години серьезных бедствий». Не было ли это лучшим доказательством того, что стремление урезать деятельность земства вообще противоречило народным и государственным нуждам? Однако такого вывода правящая власть сделать никак не хотела и, в критические моменты хватаясь за содействие земства, затем опять возвращалась к своему утопическо-

му идеалу бюрократического всевластия и к гонению на общественную самодеятельность.

В начале 1901 г. была сделана попытка занести руку над правами земства и в другой чрезвычайно важной области земской деятельности: Министерство народного просвещения выработало «проект наказа училищным советам». По смыслу этого проект, земство почти совершенно отстранялось от руководства начальным народным образованием, по отношению к которому вся распорядительная власть передавалась правительственным директорам и инспекторам народных училищ¹². Эта мера до такой степени не согласовалась с жизненными потребностями, что вызвала самый резкий отпор даже в наиболее «благонамеренной» части общества, и правительству пришлось от нее отступить.

Зато земскому делу был нанесен тяжелый удар законом «О предельности земского обложения». Согласно этому закону, земские собрания могли впредь повышать земский сбор с недвижимых имуществ без предварительного утверждения администрации не более как на 3 % в год. При всяком увеличении свыше этой нормы требовалось согласие губернатора, а в случаях возражений с его стороны, — утверждение министров финансов и внутренних дел. Названным министрам предоставлялось также указывать земским собраниям статьи расхода, подлежащие сокращению или исключению из земских смет. Все это связывало земство по рукам и ногам в определении плана деятельности и открывало для администрации полный

12 Любопытный эпизод произошел в 1901 г. Вологодское уездное земское собрание выразило благодарность местному инспектору народных училищ за успешную организацию учебного дела в уезде и довело о том до сведения попечителя Петербургского учебного округа. Казалось бы, оставалось только порадоваться такой солидарности земства и представителя правительственной власти. Но — нет, попечитель ответил вологодской земской управе, что дело земства — лишь ассигновать средства на школы, а не входить в оценку деятельности инспекторов народных училищ Вологодское земство оскорбилось и постановило принести жалобу на попечителя министру.

простор для вмешательства в самое существо земского дела и для сведения созидательной работы земства к самым узким пределам. Вместе с тем правительство зорко наблюдало за тем, чтобы в земской среде не оживились стремления к объединенной деятельности отдельных органов общественного самоуправления. 28 августа 1900 г. Сипягин разослал циркуляр, строго воспрещавший сношения между земскими учреждениями и городскими думами по вопросам о возбуждении одинаковых ходатайств, имеющих общегосударственный характер.

С такой же настойчивостью продвигал Сипягин наметившиеся ранее начала правительственного курса и в области политики социальной.

28 мая 1900 года издан был Высочайший указ об ограничении способов приобретения потомственного дворянства, о чем давно уже хлопотали воинствующие сторонники дворянской привилегированности, желавшие положить конец демократизации дворянского сословия. Теперь, указом 29 мая 1900 г., было почти уничтожено вступление в состав потомственного дворянства чрез получение ордена. Получение ордена Владимира 4-й степени впредь должно было сообщать только личное, а не потомственное дворянство. А орденом Владимира 3-й степени впредь могли быть награждаемы только те, кто уже и без того были причислены к потомственному дворянству по выслуженным ими чином. Итак, впредь только орден Георгия 4-й степени сам собою сообщал его носителю звание потомственного дворянина. Вместе с тем было поставлено, что сыновья, внуки и правнуки личных дворян, достигших дворянства выслугою чина, впредь не могут быть причисляемы к потомственному дворянству.

Далее, собранию дворянских предводителей и депутатов было дано право большинством 2/3 голосов отказывать во внесении в дворянскую родословную книгу данной губернии потомственного дворянина, не владеющего в этой губернии недвижимою собственностью. Евреи, получившие потомственное дворянство, не могли быть вносимы в дворянские родословные книги.

Все это были постановления, направленные на ограничение потомственного дворянства от остальной массы населения в качестве наконец замкнутой привилегированной, вознесенной на некую особую высоту общественной группы. И на этот раз притязания, выдвигавшиеся из среды этой группы, не были осуществлены всецело: получение потомственного дворянства выслугою чина осталось в силе (только круг чипов, с этим связанных, постепенно суживался в течение XIX ст.). По все же столь ненавистные для родовитого дворянства постановления Петра Великого, открывавшие самый широкий доступ в высшее сословие лицам всех общественных состояний чрез приобретение чинов и орденов на государственной службе, теперь были значительно ограничены, чем подчеркивалось исключительное положение этого сословия.

Одновременно с этим был создан новый устав Дворянского банка. В нем содержались нововведения, представлявшие собою чрезвычайно важные льготы для дворян-землевладельцев. Задолженность заложенного в банке имения могла быть ныне уменьшаема путем продажи части такого имения банку. Дворянский банк, приобретя такое имение, должен был стараться продать его целиком или частями в течение двух лет. Если в течение двух лет имение осталось бы непроданным, в таком случае оно подлежало передаче Крестьянскому банку, который должен был поступать с ним так же, как с теми имениями, кои им покупались для перепродажи отдельными участками крестьянам на основании правил 1895 г. Для приобретения таких участков, если они выделены из имения, переданного из Дворянского банка, Крестьянский банк имел право выдавать крестьянам-покупщикам ссуды в размере свыше 90 % оценки и даже в размере всей оценочной суммы. Все эти правила, направленные на облегчение положения дворян-заемщиков Дворянского банка: 1) были сопряжены с явными невыгодами для казны, а 2) подчиняли деятельность Крестьянского банка интересам дворян-землевладельцев. Ведь Крестьянскому банку по смыслу его устава было предоставлено покупать за свой счет именно такие имения, которые были наиболее пригодны для разделения на участки, удобные для приобретения их крестьянами. Теперь же Крестьянский банк по отношению к целому ряду имений обязан был являться просто

вспомогательным орудием для таких операций, которые вытекали из стремления поставить в наиболее выгодные условия неоплатных заемщиков Дворянского банка.

1 января 1902 г. было закрыто Особое совещание о нуждах помещного дворянства, образованное в 1897 г. председательством Дурново, а вместе с тем при министерстве внутренних дел был учрежден постоянный «Особый дворянский отдел», и таким образом особое попечение о дворянском сословии было признано постоянной задачей этого министерства. Особый отдел унаследовал от Особого совещания несколько проектов, еще не достигших осуществления, и поспешил дать им дальнейших ход. Таким образом, уже при преемнике Сипягина Плеве были изданы еще законы: об усовершенствовании дворянских учреждений и об учреждении губернских дворянских касс взаимопомощи (1902 г.). Первым из этих законов расширился круг действия бывших депутатских дворянских собраний, которые были теперь преобразованы в собрания дворянских предводителей и депутатов. С одной стороны, в этом законе усматривалась тенденция несколько осложнить порядок возбуждения дворянскими обществами ходатайств на Высочайшее имя. Постановления о таких ходатайствах, принимавшиеся в общих дворянских собраниях простым большинством голосов, теперь должны были предварительно проходить через собрание всех предводителей данной губернии и депутатов большинством 2/3 голосов.

Таким же большинством должны были проходить через названные собрания вопросы о предложении Общему собранию дворянства исключить дворянина из дворянского общества за бесчестные поступки. Кроме того, собранию предводителей и депутатов было присвоено право, какого не имели прежние депутатские собрания, — давать предостережения дворянам, допускающим неправильные поступки.

Закон о дворянских кассах взаимопомощи представлял собою новую попытку облегчить положение дворян-землевладельцев, заложивших свои имения Дворянскому банку. Эти кассы могли выдавать ссуды дворянам-землевладельцам под залог имений в случае особых бедственных событий, а кроме того, этим кассам

могли быть передаваемы в управление имения дворян, заложенные в Дворянском банке и назначенные к публичной продаже — мера, которой давно добивались дворянские прожектеры; кассы могли также и покупать заложенные в Дворянском банке имения по ходатайству заемщиков и с согласия их остальных кредиторов. Такие имения, оставленные за кассою, касса должна была в течение 5 лет продать или с публичного торга, или по вольной цене. Итак, в общем это был, так сказать, кредит для поддержания кредита — новое средство для отвращения или хотя бы для отсрочки катастрофического для заемщиков Дворянского банка финала их неоплатной задолженности. Эти дворянские кассы были сконструированы в виде органов дворянских собраний. Дворянское собрание избирало правление кассы на три года с утверждения губернатора и имело надзор за деятельностью правления. Впрочем, лишь с немалой натяжкой можно было назвать эти кассы органами взаимопомощи. Значительная часть средств на их содержание и на их операции шла из государственного казначейства: 1) в виде единовременного ассигнования в размере по усмотрению государя и 2) в виде ежегодного в течение десяти лет пособия от казны в размере складочного сбора с дворян, установленного дворянским собранием за предшествующий год. Итак, момент взаимопомощи играл тут роль довольно скромную, дело строилось в значительной степени на субсидиях из государственных средств.

В то время как всемерная поддержка дворянского землевладения и вообще дворянского сословия продолжала составлять главный предмет правительственных забот, по отношению к крестьянскому вопросу в начале XX ст. власть обнаружила какую-то беспомощную растерянность. Здесь разыгрался любопытный эпизод соревнования и столкновения двух ведомств — Министерства внутренних дел и Министерства финансов, — Сипягина и Витте, эпизод, очень показательный, конечно находившийся в тесной связи с игрою карьерных честолюбив, но в то же время имевший и гораздо более глубокую общую подкладку.

Здесь надо сказать два слова об одном внутреннем противоречии, Которым вообще пронизывалась система правительственной

политики за вторую половину XIX ст. и за первые два десятилетия XX в. С одной стороны, как я уже неоднократно указывал в предшествующем изложении, власть в течение этого времени все теснее сближала свою политическую позицию со стремлением реакционных кругов дворянства, которые сводились к тому, чтобы застопорить жизненный процесс, или, по выражению Леонтьева, «заморозить» Россию в формах архаического устройства самодержавной монархии, опирающейся частью на всевластную бюрократию, частью на землевладельческое дворянство, наделенное рядом социальных преимуществ.

А вместе с тем за то же время разворачивалось усиленное покровительство крупной промышленности, расцветала система государственного протекционизма, всячески воспособлялся рост капиталистического хозяйства в стране. Правительственные мероприятия, в эту сторону направленные, сосредоточивались главным образом в Министерстве финансов, а во главе этого министерства оказались последовательно два таких энергичных деятеля, как Вышнеградский и затем Витте. Уже Вышнеградский в противоположность своему предшественнику Бунге связал деятельность своего министерства с интересами крупной промышленности; еще решительнее и энергичнее пошел по этому пути кипучий и вседержавный Витте. Наряду с ростом частной крупной промышленности все более грандиозные размеры стали принимать при нем и казенные предприятия — упомянем винную монополию и грандиозный размах железнодорожного строительства.

Не может быть сомнения в том, что неудержимое преобразование России в течение второй половины XIX столетия из страны архаического натурального хозяйства в страну растущего безостановочно капитализма прямым путем вело Россию к неизбежному переходу от патриархального самодержавия к буржуазной конституции. И не может быть сомнения также и в том, что экономическая политика и Вышнеградского и Витте, — совершенно независимо от их личного политического *profession de foi* [Мировоззрение (фр)], внушаемого либо традицией, либо карьерными соображениями, — лила воду на мельницу конституционного движения, развившегося в широких

кругах общества. Вышнеградский просто делал свое дело, не вдаваясь в оценку дальнейших политических перспектив. Витте и по свойству своей натуры, и по особенностям момента, в котором ему пришлось действовать, выступал яркой фигурой на политической сцене. Правда, яркость его фигуры отнюдь не соединялась с ясностью. Все смотрели на Витте как на политического хамелеона. И точно, его фигура, как бы сказать, переливала весьма разнообразными цветами. При иных своих выступлениях хамелеон превращался в сфинкса. Такое именно впечатление произвела в свое время изданная им знаменитая брошюра «Самодержавие и земство», настоящим автором которой был крупный чиновник Министерства финансов, широко образованный Путилов. В разгар правительственного нажима на земство со стремлением свести к минимуму земскую самостоятельность Витте в этой брошюре выступал с резким указанием на то, что самодержавие и земство несовместимы, ибо логическое развитие заложенных в них, по существу прямо противоположных, начал должно привести к столкновению не на жизнь, а на смерть. Примирить эти начала невозможно; значит, надо иметь мужество решительно выбрать одно из них. Которое же выбрать? Поставив пред столь пикантным вопросом своего читателя, Витте предоставлял затем читателя его собственным размышлениям, а сам превращался в каменного сфинкса. Конечно, министр самодержавного монарха на своем официальном посту мог выступать только в роли апологета самодержавия. Но... у читателя невольно являлся вопрос: тот, кто доказывает, что ради сохранения самодержавия необходимо уничтожить всякую общественную самостоятельность, — не является ли, в сущности, отрицателем самодержавия? И этот вопрос представлялся тем настойчивее, что в самой брошюре связь земства с жизненными интересами страны была показана хотя и под вуалью, но вуаль-то была очень прозрачна.

Так, Министерство финансов оказывалось хотя и в прикровенном, но тем не менее в несомненном противоречии с основными линиями политики Министерства внутренних дел. Какая бы ни шла борьба между Витте и его противниками, в конце концов не из личных отношений, а из существа самого дела вытекало это противоречие. Это особенно наглядно вырисовывается из истории отноше-

ний Витте и Сипягина. При падении Горемыкина сам Витте провел Сипягина на пост министра внутренних дел. А между тем тотчас же вслед за этим пути того и другого резко разошлись. И как раз именно в связи с крестьянским вопросом вскрылась особенно отчетливо политическая сущность этого расхождения.

Еще в 1893 г., т.е. при Дурново, при Министерстве внутренних дел была образована комиссия для пересмотра законов о крестьянах. В обоих губернских совещаниях из должностных лиц под председательством губернаторов был подвергнут обсуждению ряд вопросов. При Горемыкине предположения, выдвинутые этими совещаниями, были систематизированы, отпечатаны, и затем — совершенно в стиле Горемыкина — над всем делом был поставлен крест; работы были приостановлены, как значилось в официальном сообщении, «вследствие возникших предположений относительно иного порядка направления этого дела».

Теперь, в 1900 г., Сипягин возобновил это дело. При Министерстве внутренних дел было образовано Особое совещание под председательством министра для пересмотра лишь тех законов о крестьянах, «недостатки коих дознаны опытом». При этом было объявлено, что пересмотр будет произведен — «на почве основных начал Положений 19 февраля 1861 года», а сущность этих основных начал была определена в сохранении сословной особенности крестьянского земельного и общественного устройства.

Вот тут-то против Сипягина и выступил Витте. Он испросил Высочайшее разрешение образовать при Министерстве финансов свое Особое совещание «о нуждах сельского хозяйства и промышленности». Для этого Совещания была начертана обширная программа, касавшаяся различных сторон хозяйственной жизни, а главное, в основу работ было решено положить принцип уравнивания крестьянства с прочими сословиями и установления в деревне прочного правопорядка.

Так, двум министерствам было поручено одновременно пересматривать существующие законоположения о крестьянах и намечать нужные нововведения в этой области, ведя свою работу на прямо противоположных основных началах. Начиналась своего рода

политическая дуэль между двумя ведомствами, и общество с большим любопытством взирало тогда на это столкновение, выжидая, чем же оно кончится, за кем останется победа?

Это было действительно весьма интересно, но плохо было то, что все эти обширные начинания, связанные с ведомственными трениями, давали благовидную возможность пока что приостановиться со всякими текущими законодательными мероприятиями по крестьянскому вопросу.

Итак, правительство продолжало топтаться на месте; все теснее связывалось как раз с той общественной группой, которая не имела будущности и жила мечтаниями об искусственном удержании исчезающего прошлого; ни уменья, ни желая сблизиться с живыми общественными силами, взять в свои руки почин в осуществлении общественных стремлений правительственная власть не обнаруживала, а общественное возбуждение принимало все более острые формы, и в процессе его развития начали брать перевес наиболее радикальные элементы. Вскоре обнаружилось возобновление революционного террора.

В 1900 г. вновь разразились обширные студенческие беспорядки и был применен незадолго до того изданный закон об отдаче бунтующих студентов в солдаты. И как бы в ответ на это исключенный из университета студент Карпович 1 февраля 1901 г. смертельно ранил выстрелом из револьвера министра народного просвещения Боголепова. 2 марта Боголепов от этой раны скончался. Его заместителем был назначен старик Ванновский, через год замененный проф. Зенгером. Банковский возобновил работы по реформе средней школы, Зенгер приступил к переработке университетского устава; это были важные задачи, но на очередь все острее выдвигалась задача чисто политической реформы, ибо политическое положение становилось все напряженнее. Убийство Боголепова показало, что революционная борьба вспыхивает с новой силой. В то же время и в среде земских конституционалистов возобновилось оживленное движение, направленное на сплочение общественных сил и на подготовку активных выступлений с политическими требованиями. В феврале 1901 г. в Москве собрался съезд по вопросам агрономической помощи мест-

ному хозяйству. На этот съезд съехалось из разных губерний большое количество и земцев, и земских служащих. Заседания происходили в квартире Хомякова. Громадное оживление царило на съезде и передавалось в различные круги московского общества. Здесь уже прямо ставились чисто политические вопросы о необходимости государственного переустройства на началах политической свободы. Сипягин разослал циркуляр о воспрещении частных съездов земских деятелей. Но время наступило уже такое, что циркуляр повис в воздухе и не оказал никакого влияния. Осенью 1901 г. в Полтаве состоялся съезд деятелей по кустарной промышленности, организованный полтавским обществом сельского хозяйства. И опять съехались сюда отовсюду земские деятели, и съезд получил характер всероссийского земского совещания. Съезд принял ряд резолюций, касавшихся острых вопросов, выдвинувшихся на очередь в то время: о необходимости отмены телесных наказаний, введения всеобщего обучения, установления ежегодного празднования дня 19 февраля и т.д. На начало 1902 г. намечен был новый кустарный съезд в Петербурге, и все участники полтавского съезда были объявлены членами предстоящего петербургского съезда. Так, земские съезды начинали постепенно выливаться в форму какого-то постоянного учреждения, превращаясь фактически в орган выражения общественного мнения.

Наряду с общими открытыми собраниями кустарного съезда происходили частные совещания между съехавшимися земцами, и на этих совещаниях был, между прочим, поставлен вопрос об издании за границей политического органа конституционного движения. Мысль об этом выдвинулась еще в предшествующем году, когда П.Б. Струве, покинувший социал-демократическую партию и сблизившийся с земскими конституционалистами, стал пропагандировать эту идею. Теперь этот замысел ставился уже на практическую почву и обсуждались формы его осуществления.

Между тем общественное возбуждение стало принимать характер массовых уличных демонстраций с протестами против правительственной политики. Начинали студенты, но к ним теперь примыкало уже немало и лиц из общества. В день 19 февраля 1901 г. состоялась большая демонстрация в Петербурге у Казанского собора и по

Невскому проспекту; в 20-х числах февраля и 4 марта происходили демонстрации в Москве перед университетом и на Тверской. В начале марта снова была демонстрация в Петербурге у Казанского собора; при рассеянии демонстрантов полицией был арестован Струве. Будучи выслан из столицы административным порядком, он выбрал для жительства Тверь, и выбор был им сделан недаром. Тверь была средоточием тесно спаянного кружка земских конституционалистов. Здесь-то, в Твери, было окончательно решено основать за границей политический журнал «Освобождение». И скоро мы в Москве узнали, что Струве эмигрировал с целью сделаться руководителем этого журнала. Программа «Освобождения» была написана совместно Иваном Ильичем Петрункевичем и Струве, а первая руководящая статья с развитием основных положений этой программы была составлена проживавшим тогда в Финляндии Милюковым.

И вот как-то раз П.И.Новгородцев передал мне приглашение на вечер к В.И.Вернадскому, где предстояло обсуждение программы этого журнала и порядка его нелегального распространения. Я отправился туда и нашел там очень маленькое общество. Были оба брата Петрункевичи, Вернадский, Шаховской, Новгородцев и Богучарский. И.И.Петрункевич прочел программу и руководящую статью Милюкова. То и другое было одобрено всеми присутствующими. Только Богучарский настаивал на некоторых дополнениях, впрочем, более редакционного свойства. В этих текстах, с которыми мы все согласились, были четко сформулированы все те основные положения, из которых впоследствии выросла программа конституционно-демократической партии. Мы обсудили затем план устройства по всей Москве ряда таких же малочислен... [фрагмент листа отсутствует]...

...Покушение на Боголепова, последовавшее в феврале 1901 г. и вызвавшее смерть министра, многие склонны были рассматривать как индивидуальную месть исключенного из университета студента. Скоро оказалось, что этот террористический акт не останется одиноким, что возобновляется полоса революционного террора.

2 апреля 1902 г. Балмашев убил Сипягина. Тогда министром внутренних дел был назначен Плеве. Это опять было назначение,

носившее характер политический, знаменовавшее новый определенный уклон в направлении правительственного курса.

II

Если назначение Горемыкина в 1895 году указывало на желание правительства продолжать политику контрреформ в бесцветных канцелярских формах, приданных ей еще при И.Н.Дурново, а назначение Сипягина в 1899 г. было вызвано желанием удовлетворить реакционные круги дворянства, требовавшие более шумного и броского инсценирования восстановления «дворянской эры», то назначение в 1902 г. Плеве указывало на то, что власть была встревожена разгоравшимся в стране противоправительственным движением и сочла необходимым прежде всего потушить этот опасный политический пожар решительными полицейскими мерами. Вслед за бесстрастным и скучным регистратором исходящих и входящих канцелярских бумаг, каким был Горемыкин, и за размашистым и жовиальным барином, каким был Сипягин, теперь у руля государственного корабля был поставлен полицейских дел мастер, правда — вовсе не ограничивший своей задачи... [фрагмент листа отсутствует] ...вою общественностью разумел усвоение властью основных стремлений общественности и создание подходящих форм для их выражения, а второй понимал этот контакт в том смысле, что общественность должна приспособить свои стремления к тем рамкам, которые будут для нее поставлены властью. И достичь этой цели Плеве считал возможным посредством хитроумной полицейской механики. Все кругом волновалось, общество было возбуждено, политический кризис явственно надвигался, и было очевидно, что кризис этот вызывается не кучкой умелых агитаторов, а повелительной необходимостью приспособить устарелые формы государственной жизни к на зревшим переменам во всем строе общественного быта, социальных и хозяйственных отношений. Можно ли было овладеть этим движением и справиться с ним, не воспринимая его существа и стремясь свести его на нет средствами утонченного полицейского искусства? Плеве взялся за выполнение такой задачи, и неудача, его постигшая, не была случайностью; она с неизбежностью вытекала из

полного несоответствия планов нового министра действительному положению вещей в тот момент. Теми средствами, на которые рассчитывал Плеве, можно было бы потушить лишь легкую вспышку общественного возбуждения. И ошибка Плеве состояла именно в том, что он принял за такую вспышку движение, корни которого шли вглубь продолжительного процесса перестройки всего жизненного уклада страны, процесса, достигавшего в тот момент своего завершения. Немудрено, что своими решительными действиями Плеве только обострил положение и ускорил развязку.

Правление Плеве началось прямо столкновением с руководителями земского движения. Предстояло открытие действий уездных комитетов, организуемых Особым совещанием о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Земцы устроили в связи с этим съезд в Петербурге в мае 1902 г. На этом съезде было постановлено, чтобы земства стремились принять деятельное участие в работах комитетов, и была намечена программа тех вопросов, которые надлежало бы выдвинуть во всех комитетах, придав этим единство и планомерность всем комитетским заявлениям. Уравнение крестьян в правах с остальными сословиями, освобождение крестьянства от административной опеки, отмена телесного наказания, проведение широкой аграрной реформы для увеличения площади крестьянского землевладения с обращением на этот предмет земель государственных, удельных, монастырских и части частновладельческих посредством принудительного отчуждения, введение всеобщего начального обучения, преобразование земских учреждений на начале полной бессословности, введение всесословной мелкой земской единицы, преобразование податной системы в духе социальной справедливости, — таковы были основные пункты той платформы, которая была намечена на этом съезде для комитетов по сельскохозяйственной промышленности. Эти постановления съезда, конечно, стали общеизвестны и вызвали величайшее неудовольствие в правящих кругах. Участники съезда получили высочайший выговор. Трое из них — Павел Долгоруков, Гейден и Михаил Стахович написали Плеве, что они никакой вины за собой не признают и считают, что высочайший выговор ими получен вследствие злонамеренного доноса Плеве государю.

В дальнейшем Плеве стал держаться по отношению к земцам тактики приятных слов и обнадеживаний и в высшей степени резких регрессивных мероприятий. Прежде всего Плеве разослал конфиденциальный циркуляр предводителям дворянства с воспрещением допускать на земских собраниях запросы о Высочайшем выговоре участникам петербургского съезда и обсуждения этого инцидента. Затем он принял Шипова и других земских деятелей, был с ними очень любезен, отрицательно отзывался о действиях Сипягина, обещал всяческую поддержку деятельности земства под одним условием, — чтобы земцы не поднимали вопроса об участии земских представителей в центральных государственных учреждениях.

В течение лета 1902 года происходили заседания уездных комитетов и сельскохозяйственной промышленности. То был момент очень важный в истории развития политического движения в то время. С согласия Витте председатели этих комитетов очень широко воспользовались предоставленным им правом приглашать в состав комитетов местных общественных деятелей. И, можно сказать без преувеличения, что там была представлена почти вся прогрессивная общественность той поры. Витте разослал циркуляр о предоставлении полной свободы суждений в заседаниях комитетов. Плеве насторожился и решил принять свои меры в противовес распоряжению Витте.

Значение этих комитетов состояло в том, что оппозиционная мысль и требования прогрессивной общественности, дотоле формировавшиеся в частных совещаниях и полуконспиративных съездах либо прорывавшиеся наружу случайно и разрозненно, теперь получили возможность планомерного выражения на открытой, официально признанной арене. Заявления комитетов разных районов России отличались почти полным единодушием. Мы ведь уже знаем, что в земской среде предварительно были выработаны основные руководящие положения на этот счет. В прениях и постановлениях комитетов и были воспроизведены все вышеуказанные требования, намеченные на съезде земцев в Петербурге весной 1903 г. Но в некоторых комитетах, например в воронежском, было указано еще и на необхо-

димось создать для обсуждения народных нужд государственное всесословное представительное учреждение.

Занятия комитетов немедленно ознаменовались политическими репрессиями. Плеве вступал в единоборство с Витте, а уездные комитеты, созданные Витте, являлись удобным к тому предлогом. Члены воронежского комитета Мартынов, Бунаков, Щербина подверглись административной высылке, воронежский губернатор Слепцов и управляющий казенной палатой Вашкевич были отставлены от службы за проявление сочувствия работам воронежского комитета. В ряде других уездных комитетов произошли различные инциденты на почве попыток местной власти стеснить их деятельность.

В конце концов Плеве удалось одержать над Витте первый существенный успех. Комитеты, образованные Особым совещанием, руководимым Витте, были подчинены Министерству внутренних дел впредь до внесения их заключений в Особое совещание. И тотчас вслед за тем Плеве предписал губернаторам не допускать обсуждения в комитетах вопросов общеполитического характера, к каковым были отнесены и такие вопросы, как о правовом положении крестьян, о народном образовании и т.д. Словом, Плеве произвольно сокращал программу занятий комитетов, уже одобренную Особым совещанием: в частности, например, вопрос об уравнении крестьян в правах с другими сословиями Витте с самого начала поставил во главу угла предпринимаемой работы.

Все это служило плохим предназначением для работы губернских комитетов, которая открывалась в январе 1903 г. И действительно во многих губернских комитетах дело не обошлось без тяжелых инцидентов.

В тамбовском комитете произошло столкновение между группой членов и губернатором, председательствовавшим в комитете. В сводке заключений уездных комитетов, представленной на обсуждение губернского комитета, оказались опущенными все заключения темниковского комитета, заключающие в себе широкую программу демократических реформ. Раздались требования, чтобы этот пробел был пополнен. Губернатор решительно отказал. Тогда из комитета

демонстративно вышли Петрово-Соловово, Новосильцев, Любощинский, — все деятельные участники земских съездов. Такая же история разыгралась в тверском губ. комитете. Там из сводки были исключены все постановления новоторжского комитета и многие постановления других уездных комитетов. И.И.Петрункевич резко протестовал против этого и требовал расширения программы занятий, и, когда во всем было отказано, все гласные тверского земства, приглашенные в состав комитета, покинули его. Такой же исход всех земцев с Шиновым во главе последовал из московского комитета, после того, как не была допущена к прочтению и обсуждению записка Шинова о правовом положении крестьян. В целом ряде других комитетов произошли аналогичные столкновения. Нетрудно представить себе, как все это накаляло и без того разгоряченную политическую атмосферу.

Весною 1902 г. разыгрались обширные крестьянские волнения в Полтавской и Харьковской губерниях, сопровождавшиеся ограблением помещичьих усадеб. Плеве применил тут «групповую ответственность», что вызвало тогда общее недоумение и что теперь возведено у большевиков в общепринятый прием репрессии. Было объявлено указом сенату, что ответственность за учиненные беспорядки должна быть возложена не только на участников этих беспорядков, но и на те сельские общества, к которым они принадлежат. Из государственного казначейства было отпущено 800 000 рублей на вознаграждение потерпевших землевладельцев за понесенный ими ущерб, а исчисление размеров этого ущерба возложено на особые комиссии. А на возмещение государственному казначейству этой суммы вышеупомянутые сельские общества были обложены особым сбором сверх всех прочих существующих податей и сборов.

Отчасти в связи с этими волнениями Плеве ополчился на земских статистов, признав их сеятелями смуты среди крестьянского населения, и прекратил земские статистические работы по собиранию сведений о недвижимых имуществах.

Закончился 1902 год некоторой переменной в строе центральной администрации, объективно незначительной, но в глазах людей, осведомленных о закулисных тайнах правящего Олимпа, имеющей

показательный смысл. В ноябре 1902 г. от Министерства финансов было отделено заведывание торговым мореплаванием и портами в виде самостоятельного Главного управления, во главе которого был поставлен вел. князь Александр Михайлович. Когда у Витте государь спросил, как он смотрит на это нововведение с точки зрения удобства для Министерства финансов, Витте ответил: «От руки палец отрезали». То было начало кампании против Витте, которую подготовлял и проводил Плеве.

В 1903 году Плеве приступил к законодательным мероприятиям и в связи с этим сделал попытку до некоторой степени задобрить представителей общественности. Земским собраниям предложено было обсудить вопрос об изменении цензовых норм для земских выборов. В одной из своих речей Плеве высказался за привлечение местных людей к более деятельному участию в местном управлении и за сотрудничество власти и общества в разработке крестьянского дела, так как, по его словам, «было бы легкомысленным самомнением полагать, что с этим вопросом Министерство внутренних дел может справиться своими силами». 26 февраля 1903 года был издан манифест, в котором намечались виды правительства на ближайшие задачи законодательства. Там было указано, что для незамедлительного удовлетворения назревших государственных нужд правительство считает необходимым: 1) укрепить начала веротерпимости; 2) улучшить имущественное положение православного сельского духовенства; 3) направить деятельность Дворянского и Крестьянского банков на укрепление благосостояния дворянства и крестьянства; 4) приступить к пересмотру законов о сельском состоянии в губернских совещаниях с участием общественных деятелей, причем иметь в виду, сохраняя неприкосновенность общинного землевладения, облегчить выход из общины желающим отдельным крестьянам; 5) отменить круговую поруку; 6) преобразовать губернское и уездное управление на началах, сущность которых была в манифесте намечена в очень туманных фразах, а именно было сказано, что это преобразование должно клониться к тому, чтобы «земские нужды удовлетворялись трудами местных людей, руководимых сильной и закономерной властью, пред нами строго ответственной», и чтобы «общественное управление сблизилось с деятельностью приходских попечитель-

ств при православных церквах». Не так-то было легко определить, какое конкретное содержание заключали в себе эти неопределенные намеки.

Почему сочли нужным издать такой манифест и какое он произвел впечатление? Во вступлении к манифесту было отмечено, что разрастающаяся смута препятствует общей работе на благо родины. Итак, манифест имел задачей указать тот максимальный предел уступок общественному мнению, в рамках которого власть находила возможным работать рука об руку с обществом. С этой точки зрения манифест не мог возбудить в обществе никаких радужных упований. Два самых жгучих вопроса — аграрный и конституционный — просто-напросто снимались с очереди, объявлялись запретным плодом.

Единственное средство облегчения крестьянской нужды в земле усматривалось в развитии деятельности Крестьянского банка, а ответом на конституционные стремления служила заключительная часть манифеста, в которой было сказано, что «лишь под сенью самодержавной власти может развиваться народное благосостояние и уверенность каждого в прочности его прав».

Охваченные политическим брожением, общественные группы могли вынести из этого манифеста лишь то впечатление, что правительственная власть не обнаруживает ни малейшего желания понять всю исключительную важность переживаемого политического момента.

В течение 1903 г. было затем осуществлено несколько законодательных мер, которые хотя и касались важных вопросов государственной жизни, но содействовать прояснению политического горизонта все же не могли.

12 марта был отменен институт круговой поруки (это было дело Витте). Затем было наконец осуществлено задуманное еще при Горемыкине введение земства в западных губерниях, причем это было земство настолько денатурированное, что, в сущности, от Земского положения 1890 г. остались только заголовок да переплет, и эти искаженные земские учреждения всего менее могли служить опорой для общественной самодеятельности.

В мае и июне было издано несколько законов, касающихся фабричных рабочих. Введен институт выборных рабочими фабричных старост; узаконены правила и порядок вознаграждения предпринимателями рабочих, пострадавших от несчастных случаев во время работы; повсеместно распространена фабричная инспекция, но зато фабричные инспектора, оставаясь в подчинении Министерству финансов, в то же время поставлены в такую сильную зависимость от губернаторов, которая была почти равносильна передаче этого института в ведение Министерства внутренних дел, и при этом сверх прежней задачи посредничать между предпринимателями и рабочими на инспекторов был возложен ряд функций по управлению рабочими, так что фабричный инспекторат превратился в нечто вроде фабричной полиции, что придало этому институту совершенно несвойственный ему первоначально характер.

В июле 1903 г. была повсеместно учреждена сельская полицейская стража для предупреждения беспорядков в деревне, а оплата расходов на ее содержание возложена на крестьян. Если мы упомянем еще о вышедшем в июне 1903 г. Положении об устройстве городского самоуправления в Петербурге, заключавшем в себе ряд усовершенствований сравнительно с общим Городовым положением¹³, то список законодательных мер, проведенных в течение 1903 г., будет почти исчерпан.

Можно было различно оценивать каждое из этих мероприятий, но, во всяком случае, вся совокупность законодательной деятельности правительства за этот год ясно показывала, что правящая власть не расположена приступать к каким-либо органическим преобразованиям. Правда, к концу 1903 г. Министерство внутренних дел выработало проект Положения о крестьянах, который решено было внести на обсуждение губернских совещаний при участии выборных лиц от

13 Главнейшее из этих усовершенствований состояло в привлечении к участию в городских выборах в Петербурге также и квартиронанимателей, правда лишь самой небольшой их группы, с наиболее дорогими квартирами.

земств и городов (Плеве задумал противопоставить эти совещания виттевским комитетам), а также — основные положения переустройства губернских учреждений. Но как раз эти работы более общего характера и показывали, что между правительственными видами и предложениями и стремлениями передовых общественных кругов обозначается все более глубокое расхождение. В основе проекта Положения о крестьянах лежала идея не уменьшения, а увеличения юридической обособленности крестьянского сословия, а проект реформы губернского управления был направлен на расширение дискреционной власти губернатора и других органов коронной администрации. Все приятные и порою даже сладкие речи Плеве в разговорах с отдельными представителями земского движения о согласовании деятельности правительства с видами общества повисали в воздухе, а действительность как нельзя более им противоречила.

В тот момент одна ближайшая задача всецело захватывала Плеве: ему надо было во что бы то ни стало свалить Витте, который представлял собою слишком яркую и своеобразную фигуру на тогдашнем правящем Олимпе и шел слишком самостоятельными путями к своим целям, чтобы Плеве мог мириться с наличием такого соперника. Обстоятельства складывались для Плеве благоприятно. В течение 1903 г. при дворе окончательно укрепилось влияние группы высокопоставленных дельцов, захвативших лесные концессии на р. Ялу (в Корее) и в связи с своими предпринимательскими планами старавшихся втравить Россию в войну с Японией. Плеве сочувствовал этим планам, он полагал, что война с Японией будет победоносной военной прогулкой и легкая победа послужит хорошей оттяжкой общественного мнения от увлечений политическим фрондированием. Витте смотрел на дело иначе. Он решительно возражал против готовящейся военной авантюры и становился этим неприятен в высших сферах, окружавших государя. Этим-то и воспользовался Плеве для нанесения удара своему сопернику.

16 августа 1903 г. Витте совершенно для него неожиданно был лишен портфеля министра финансов и перемещен на декоративный пост председателя комитета министров, а министром финансов был

назначен Плеске — безличное бюрократическое ничтожество (уже в апреле 1904 г. Плеске был заменен Коковцовым).

Нетрудно понять, что политическая позиция Плеве и проводимые им законодательные мероприятия не могли внести умиротворения в общественную жизнь. Политическое движение в среде земцев продолжало развиваться и принимало все более организованные формы.

В апреле 1903 г. Плеве опять устраивал и переговоры с различными земскими деятелями, и набрасывал планы привлечения земцев по усмотрению администрации к участию в правительственных совещаниях. Однако из этих переговоров ничего не вышло и лишь окончательно обнаружилось, что никакого понимания тут достигнуто быть не может. На совещаниях земцев, обсуждавших в своей среде заявления Плевн, единодушно было принято предложение Гейдена, Шипова и других, что земцы должны быть допускаемы к участию в обсуждении правительственных предположений не по приглашению тех или иных по усмотрению министра, а по выбору земских собраний, а Плеве резко высказался против «келейных собраний» и «отвлеченных умствований» земцев.

По директивам, выработанным на съезде земцев весною 1903 г. в Петербурге, более 70 % всех земских собраний приняло, несмотря на противодействие со стороны губернаторов, постановления: 1) ходатайствовать, чтобы законопроекты, которые будут составлены согласно манифесту 26 февраля 1903 г., были переданы на заключения губернских земских собраний и 2) чтобы к проектируемым при Министерстве внутренних дел совещаниям привлекались представители от всех земств по выбору земских собраний и с предварительным оповещением земских собраний о предметах совещания.

Словом, Плеве как бы хотел возобновить призывы «сведущих людей», как было при Игнатъеве, но с тех пор два десятилетия протекли даром, и мера, при Игнатъеве имевшая некоторый успех, теперь представлялась уже устарелой и несколько не удовлетворявшей общественных стремлений. Каждая сторона осталась при своем.

Плеве осенью 1903 г. составил проект учреждения при Министерстве внутренних дел Совета и Главного управления по делам

местного хозяйства с привлечением к участию в заседаниях Совета по выбору министра внутренних дел от 12 до 15 лиц из числа предводителей дворянства, председателей и членов земских управ, городских голов и их товарищей, земских и городских гласных. Эти 12 или 15 местных людей, притом не избранных, а приглашенных по усмотрению министра, являлись ничтожным меньшинством в составе Совета и не могли оказывать поэтому сколько-нибудь существенного влияния на ход дел. Этот проект Плеве в марте 1904 г. получил осуществление, прямо вразрез с вышеуказанными заявлениями земских собраний.

Между тем к этому времени значительнейшая часть земских деятелей вошла коллективной массой в новую широкую общественную организацию, ставившую себе определенную задачу стремиться к замене самодержавия свободным государственным строем: летом 1903 г. был образован «Союз освобождения». Идея этой организации была выдвинута еще на апрельских совещаниях земцев в Петербурге, а летом в Германии состоялись совещания редакционного состава журнала «Освобождение», выходившего в Штутгарте под редакцией Струве, и земских деятелей, и на этих-то совещаниях были окончательно выработаны и установлены основные положения «Союза освобождения».

Этот Союз быстро приобрел в России большую популярность. Все прогрессивные земцы, участники земских съездов, вошли в его состав, точно так же как и многие общественные деятели вне земской среды и представители «третьего элемента» в земстве. «Союз освобождения» сыграл важную роль сосредоточения различных оппозиционных элементов, которые несколько позднее разошлись по разным партийным группировкам, и тогда значительнейшая часть членов этого «Союза» составила основной кадр конституционно-демократической партии (к.-д.). Программа «Союза освобождения», привезенная из-за границы его основателями, была обсуждена на съезде земцев в Харькове в сентябре 1903 г., где был выработан план и организация местных отделов Союза по всей России. Земское движение принимало, таким образом, совершенно определенную политическую окраску и организацию. Плеве ответил на это массо-

выми репрессиями. В течение 1903 г. в целом ряде губерний происходили неутверждения в должностях земских выбранных лиц, обыски и аресты многих земских гласных. С другой стороны, в самом земском движении стало уже понемногу намечаться расщепление по политическому признаку. Уже в сентябре 1903 г. в Харькове «земцы-освобожденцы», принимая участие в общеземском съезде, кроме того совещались и отдельно по вопросам устройства «Союза освобождения».

А в ноябре 1903 г. в Москве в квартире Новосильцева собралась группа земцев-конституционалистов, и так положено было начало так называемым «новосильцевским» съездам, в которых участвовали сторонники конституции, уже не гармонировавшие с «земцами-шиповцами», отстаивавшими начало земской самодеятельности и стремившимися к созданию законосовещательного народного представительства, но считавшими конституционный строй несоответствующим историческим традициям и жизненным условиям России.

Начало 1904 г. ознаменовалось многими съездами в Петербурге, которые сопровождалась бурными инцидентами и столкновениями с властью. Бурным характером отличался съезд по техническому образованию. Образованная при съезде секция по вопросам обучения рабочих привлекла толпу в несколько тысяч человек. Секция приняла ряд чисто политических резолюций, а когда среди членов секции оказались два лица, участвовавших в еврейских погромах, против них была устроена шумная демонстрация, и по распоряжению Плеве съезд был закрыт. Затем закрыт был и Пироговский съезд врачей, тоже выступивший с радикальными политическими резолюциями. Одновременно с этими событиями в январе 1904 г. в Петербурге происходил конспиративный съезд «освобожденцев» в составе представителей от 20 городов. Тут «Союз освобождения» окончательно сконструировался и был избран его Совет из 10 членов, с правом кооптации.

Возбужденная общественная атмосфера с началом 1904 г. сгустилась в еще большей степени в связи с начавшейся тогда войной с Японией. Эта война была совершенно непопулярна. Слишком широко были распространены в обществе сведения о тех обстоятельствах,

в связи с которыми возник вооруженный конфликт на Дальнем Востоке. Спекулятивные операции Безобразова, Вонлярлярского и Ко и прямая связь этих спекуляций с возникновением войны ни для кого не составляли тайны. Правда, военные профессионалы не сомневались в победоносном для нас исходе войны. Живо помню я, как в январе и феврале 1904 г. то и дело заезжали ко мне в Москве мои приятели, занимавшие военные посты и направлявшиеся из Петербурга на театр военных действий. На вопрос, как они смотрят на возникшую войну, — ответ был все один и тот же: «Разобьем япошек». Но в широких общественных кругах отношение было иное. Правда, кажется никто не помышлял о том, что маленькая Япония может восторжествовать над исполинской Россией в военном состязании. Но в то же время не многие были склонны смотреть на эту войну как на легкую военную прогулку. Победить-то мы победим, но цена победы будет немалая, — таков был наиболее распространенный взгляд. И при этом имели в виду и недостаточную подготовленность нашего боевого флота, и чрезвычайную отдаленность военного театра от центральной России, и недостаточную провозоспособность бесконечной Сибирской железнодорожной магистрали. Резко бросалась в глаза эта разница настроений общественных и правящих кругов по отношению к войне. Общество предвидело тяжелые и обильные жертвы. А носители власти бросались в эту авантюру с легкомысленным оптимизмом. Плеве прямо говорил, что «небольшая войнишка» будет очень полезна для укрепления правительства, а в том, что «войнишка» приведет к победам, он не сомневался. Куропаткин — тогдашний военный министр — сам предложивший себя государю в качестве главнокомандующего, с полным спокойствием, без всякой тревоги собирался на театр военных действий, и лица, с ним беседовавшие, говорили мне, что это спокойствие Куропаткина явно указывает на то, что нет основания сомневаться в победе. А мне при этом вспоминались слова Маколея о том, что спокойствие общественного деятеля может иметь двоякий источник — или обоснованную уверенность в своих силах, или простую недалекость, не предвидящую опасности. Все же многие возлагали на Куропаткина большие надежды и указывали на то, что Куропаткин» прошел хорошую боевую школу в качестве начальника штаба при

Скобелеве. На это остроумный и колкий Драгами ров ответил вопросом: «А кто же при Куропаткине Скобелевым будет?»

Помню, как в самом начале войны ехал я в Кострому для чтения публичной лекции. Я оказался в одном купе с почтенным купцом. Разумеется, речь зашла о войне. Купец охал и вздыхал; как человек практический, он ясно видел, что жертв предстоит много, но все же не сомневался в нашей конечной победе. Мой скептицизм несколько не убеждал его, и, в частности, он возлагал надежды на Куропаткина. «Есть ведь и другая еще опасность, помимо военной, — заметил я, — помните, что было в 1878 г.? Турок мы победили, а на Берлинском конгрессе все наши победы прахом пошли». Тут мой купец даже в лице изменился, вскочил, стал и креститься и плевать, приговаривая: «Нет, нет, Александр Александрович, этому уже больше не бывать, мир мы будем у себя дома заключать, нет уж, в Берлин мы за этим не поедем».

Итак, различие во взглядах заключалось только в том, что одни смотрели на возникшую войну как на легкую победоносную прогулку, другие готовились к жертвам, но — и те и другие не сомневались в победе. Можно представить себе, какое сильное сотрясение во всех умах произвел после этого ряд страшных поражений, понесенных нашими войсками? Эти поражения воспринимались как нечто неестественное, и на этой почве невольно обострялось чувство недоверия к правительственной власти, которая не сумела предотвратить эти катастрофические несчастья. Так русско-японская война сыграла чрезвычайно важную роль в обострении политического кризиса.

Хотя война с самого начала была непопулярна, тем не менее, раз она была уже начата, общественные организации стремились принять участие в общем деле. В феврале 1904 г. возникла мысль о создании общеземской организации для оказания помощи раненым и больным на войне и семьям убитых. Во главе этой организации стал председатель тульской губернской земской управы Г.Е.Львов, будущий председатель Совета министров Временного правительства.

Плеве весьма неодобрительно взирал на это новое объединение земств. Он поспешил принять меры к тому, чтобы общеземская организация была ограничена в свободе своих действий. Он заявил

требование, чтобы постановления Сопещения земских уполномоченных, открывшегося при Московской земской управе, прежде вступления их в силу докладывались московскому губернатору и чтобы ему же представлялись списки лиц, которые будут входить в состав земских врачебно-санитарных отрядов. Сопещение решило, однако, не исполнять этого приказа ввиду необходимости быстро и широко развернуть деятельность своих отрядов на театре войны. Тогда Плеве предпринял целый поход на земства; очень многие вновь выбранные председатели земских управ не были утверждены в их должностях; и в том числе Плеве отказался утвердить переизбрание в председатели Московской губернской управы Д.Н.Шипова. Это последнее неутверждение вызвало величайшее негодование в широких общественных кругах без различия направлений. Имя Шипова было окружено высоким уважением. Все единодушно видели в нем безупречного деятеля, благородного и высоко корректного, глубокого знатока земского дела, неизменно переизбиравшегося в председатели Московской губернской земской управы и пользовавшегося всероссийским авторитетом в качестве стойкого знаменосца лучших земских традиций. Неутверждение Шипова получало характер тем большего скандала, что Шипов отличался умеренностью политических взглядов, был противником конституции и стоял за необходимость сохранения в России самодержавия. Но он был решительным противником всевластия бюрократии и стоял за широкое развитие общественной самодеятельности и за совещательное народное представительство. Неутверждение Шипова знаменовало, таким образом, полный разрыв власти со всякой общественностью, независимо от степени радикализма или умеренности общественных воззрений. Московское губернское земское собрание ответило на этот вызов избранием на место неутвержденного Шипова Ф.А.Головина, последовательного конституционалиста, члена левого крыла земского движения, и Головин, принимая избрание, произнес панегирик Шипову и заявил, что в руководительстве земскими делами он будет считать Шипова для себя образцом. Так к весне 1904 г. политическое положение приняло в высшей степени напряженный характер. Правительство, начиная непопулярную войну, не только не искало сближения с обществом, но бросало прямой вызов общественности,

отгораживалось даже от умеренных общественных кругов. В основе таких действий мог лежать только расчет: достигнуть быстрых побед на театре войны и, опираясь на военный триумф, разгромить все общественное движение целиком и без остатка.

III

В моей личной жизни 1903 г. ознаменовался тем, что я закончил многолетние занятия в архивах над диссертацией, защитил диссертацию, получил ученую степень магистра и возымел возможность вынырнуть на некоторое время на свет Божий из бездонной пучины архивных документов. Уже тогда у меня складывался в голове план следующей ученой работы. Но нужно было сделать некоторый перерыв, освежиться новыми впечатлениями, прийти в соприкосновение с подлинной жизнью, которая кипела вокруг. Перед самой защитой диссертации я получил от В.А.Гольцева предложение войти в качестве его помощника в состав редакции журнала «Русская мысль». Так началась моя публицистическая деятельность. С Гольцевым я до тех пор встречался только мимоходом. Теперь я легко сошелся с ним. Были, конечно, недостатки в его характере, но эти недостатки, в сущности, были вполне невинного свойства. Зато меня привлекла к нему не показная, а подлинная, в самой крови его заложная демократичность его натуры. Ни капли литературного и всякого иного генеральства не было в нем. Нельзя было подметить ни малейшего различия в приемах его обращения с людьми разных общественных положений. С начинающим молодым литературным работником он держал себя на такой же ноге, как и с перворазрядными тузами литературы, — легко и просто. В этом проявлялось истинное душевное его джентльменство, притом он отличался чрезвычайной добротой. Никакого состояния у него не было, если не считать небольшой дачи. Жил он на текущий заработок. А деньги для помощи литературным пролетариям расшвыривал полными горстями направо и налево, о чем свидетельствую как очевидец. Он был компанейский человек. Людское общество, шумные, одушевленные собрания были ему нужны, как вода рыбе. И застольные спичи, —

колкие, пикантные, задорные, — были его специальностью и его душевной потребностью.

Начал я тогда помещать «Телешовские среды», куда меня привлек мой приятель, беллетрист и драматург Тимковскнй.

Телешов стал приобретать известность в литературных кругах и у читающей публики как раз в то время, когда на базаре литературной суеты усиленно кривлялись различные литературные фигляры и шпагоглотатели. Каждый из них из сил выбивался, чтобы обратить на себя внимание каким-нибудь кричащим трюком. Один начинал свои строки не существующими ни на одном языке словами, другой изобретал сногшибательные рифмы, третий напирал на порнографические пикантности, четвертый бравировал явной бессмыслицей и т. н. Юродивые «ничевоки», акробаты слова заполняли литературную арену, превращая ее в бедлам. Конечно, в это время Чехов уже сосредоточил на себе любовь читательской массы, которая оценила прелесть его умного и целомудренно-изящного художественного творчества; Горький прогремел своими рассказами из быта босяков, которых он изображал какими-то романтическими протестами против несправедливостей наличного социального строя, и читатели, увлеченные свежестью его литературного дарования, поверили этой фальсификации, хотя критика тогда же указала на призрачность героического ореола, каким Горький окружал людей, опустившихся на дно. Но Чехов и Горький не шли в счет при соревновании литературных направлений момента; они заняли положение внеконкурсных одиночек, общепризнанных лауреатов; но вокруг их пьедесталов шла текущая литературная суета, в которой усиленно выпячивалась вперед безвкусица новомодных стилистических кривляний «жрецов минутного, поклонников успеха».

Телешов принадлежал к небольшой группе тех второстепенных писателей, которые имели мужество идти против течения, литературные побрякушки их не прельщали. Они не устремлялись к дешевым лаврам литературного кликушества, не гаерствовали перед толпой, а выдерживали скромно и серьезно строгие линии художественного реализма. И по этой-то причине читатель заметил и оценил их произведения. Ведь сенсации скоро приедаются. Пряности порожд-

дают пресыщение, и простая, но здоровая пища вдруг начинает казаться милее кулинарных кунштюков. Тот же закон действует и в области духовного питания. И скромные, непритязательные, но обвеянные трепетом поэзии повести Телешова нашли благодарного читателя, их приветствовали, как приветствуют струйку чистого, свежего воздуха, когда он вдруг ворвется в распаренную атмосферу какого-нибудь притона.

Телешов и не думал претендовать на какую-либо «роль» в литературе. Этот скромный и совестливый писатель не чувствовал влечения к «роли» и к позе, но как-то само собой вышло так, что в начале XX столетия гостеприимный дом Телешовых в Москве на Покровском бульваре сделался любимым местом собрания писателей, брезгливо сторонившихся от попыток превращения литературы в масленичный балаган.

Тепло и уютно чувствовали себя все на «Телешовских средах». Гостиная переполнена народом. Стоит оживленный говор. Гулко звучит басок Юлия Алексеевича Бунина, этого обычного председателя тогдашних литературных собраний и бесед. Тут же его брат, Иван Алексеевич, блестящий поэт-академик, нервно спорит с историком литературы А.Е.Грузинским, отстаивая правильность какого-то выражения в своем переводе Байронова «Каина». Рядом с ним Гославский, волнуясь и заикаясь, обличает «ерничество» литературных гешефтмахеров. Поэт А.М.Федоров читает звучные стихи. Гольцев обводит собрание лукавым взглядом улыбающихся глаз, должно быть, в его мыслях только что вспыхнула тема задорного спича для предстоящего ужина. В глубине комнаты выписывается красивое лицо Леонида Андреева, и несколько молоденьких девиц с наивными лицами, затаив дыхание, следят за каждым движением своего кумира. Внимательно смотрит на все происходящее скромный и молчаливый молодой человек, совсем еще недавно сошедший со студенческой скамьи. Он пока еще никому не известен, но его зовут Борис Зайцев, и скоро о нем заговорят и пишущая братия, и читающая Россия. Топоча ногами, ходит из угла в угол насупившийся Тимковский. Вдруг звякнет звонок, в передней сразу загудели два баса. То приехали Горький и Шалапин. Если Шалапин в ударе, он

начнет петь романсы и унесет всех на крыльях своего вдохновенья в какие-то волшебные дали, где «на воздушном океане без руля и без ветрил тихо плавают в тумане хоры стройные светил».

Не видение ли это? Уж не соберешь более участников этих одушевленных собраний! «Иных уж нет, а те далече». Кто отдалился географически, кто — духовно. Но — думается мне — и тем и другим подчас вспоминаются «Телешовские среды» как светлая точка во мгле пережитого... Один из членов этого литературного содружества тогда уже не мог посещать этих собраний: Чехов жил в Аутке, близ Ялты, пригвожденный к крымскому побережью упорным туберкулезом.

Весной 1904 г. я читал публичные лекции в Харькове, Симферополе и Керчи. Воспользовавшись этим случаем, я заехал и в Ялту, и там должен был посетить Чехова в его ауткинском домике по делам редакции «Русской мысли»: Чехов заведовал тогда беллетристическим отделом этого журнала, рукописи посылались ему в Ялту, и он присылал оттуда свои отзывы. В печатных собраниях чеховских писем этих критических отзывов Чехова о присылавшихся в редакцию рассказах не находится. Как это жаль! Ведь в критических отзывах каждого писателя о чужих произведениях всего лучше вскрывается его собственное художественное мировоззрение, руководящие мотивы его собственного творчества...

Чехов принял меня в своем маленьком уютном кабинетике на ауткинской даче. Покончив с делами, мы поболтали о разных разностях, просто и непринужденно. Но эта простая и непринужденная беседа оставила во мне сильное впечатление, и мне показалось, что, наблюдая в тот вечер за всей повадкой Чехова, я схватил ключ к основному мотиву творчества этого изящного певца русских «сумерек».

Размерно звучал низкий басок Чехова. Он говорил спокойно и неторопливо. Почти перед каждой фразой он делал небольшую паузу. Казалось, он произносил фразу после того, как она целиком сложилась у него в голове. Глаза смотрели приветливо, но серьезно и сосредоточенно. Лишь временами на его задумчивое лицо вдруг низлетала прелестная улыбка, и тогда лицо на мгновение молодело,

освещаясь задорным весельем. Словно из какой-то потаенной складки его души вдруг на минуту выглядывал очаровательный Антоша Чехонте. Но — только на мгновенье. И на утомленное лицо его вновь ложились тени, навеянные думами и тяжелым недугом.

О людях и их делах Чехов говорил благожелательно, но с оттенком снисходительной иронии. Ни во внешности, ни в речах его не было ни малейшей аффектации. В то время пошла какая-то мода на кокетство писателей необычными костюмами. Горький демонстративно щеголял мужицкой рубахой, Леонид Андреев сочинил себе совершенно особого покроя кафтанчик. Был даже писатель, — автор хороших стихов, — который носил летом на даче хитон и чуть ли не подобие тернового венца на голове. Чехов резко выделялся из круга литературных корифеев нежеланием выделяться наружно из среды интеллигентных «простых смертных». В целомудренной простоте и скромности полагал он истинное изящество. Этой же истинной художественной уравновешенностью было проникнуто и его творчество. Горький с шумом и треском идеализировал босяков, рисуя их романтическими героями. Андреев стремился ошеломить читателя изображением изысканных изломов человеческой души. Чехов чуждался всего изысканного, чрезвычайного. Он освещал лучами своего изящного таланта те будни человеческого существования, из которых слагается ткань жизненного процесса. И он находил в этих буднях элементы истинной драмы, не ошеломляющей, но сугубо страшной именно вследствие своей обыденности. Драма человеческих будней заключается, по Чехову, в бестолковой игре нелепых случайностей, и на этой-то канве жизнь вышивает зловещие узоры бесцельно гибнущих человеческих существований. Эта бестолковая игра нелепых случайностей возникает, по убеждению Чехова, от неумения людей изящно жить. Тоска по изящной жизни — лейтмотив поэзии Чехова, долгое время остававшийся спрятанным глубоко под спокойным, на первый взгляд живописанием отрывочных кусочков житейских будней, а затем прорывавшийся в творчестве Чехова наружу в неожиданных аккордах. Изящная жизнь, по которой тосковал Чехов, это — жизнь, основанная на сродстве человеческих душ, на тонком понимании людьми интимных душевных движений другого человека, на способности и потребности всех и каждого

ценить нравственное достоинство ближнего, уважать его духовную свободу.

Не умеют люди так жить, и в этом основной источник жизненных зол и страданий.

Чехов не идеализировал людей и не клеймил их жгучими обличениями. Чехов жалел людей. Но ведь жалость есть любовь, только на основе снисходительного покровительства. Чехов любил людей, как гуманный врач любит своих пациентов, желая им добра, сочувствуя их страданиям, стремясь эти страдания облегчить и в то же время всегда относясь к ним немного покровительственно как к существам, нуждающимся в опеке, деликатной и осторожной, но все-таки — опеке, необходимость которой вытекает из самого их недуга.

И когда я слушал спокойные, веские речи Чехова о людской жизни, речи, приправленные ласковой шуткой, согретые сочувствием и в то же время обличающие зоркую наблюдательность, которая бесстрашно добирается до болезнетворных душевных гнойников, — когда я слушал все это, меня вдруг пронизала мысль: «Да ведь это врач ставит свой диагноз!» Я внимательно посмотрел на Чехова и, как мне показалось, понял его. Чехов был медиком по специальному образованию. Променив медицину на литературу, он и в литературе остался врачом по приемам мысли, по основному подходу к объекту своей художественной деятельности. Врач не может быть оптимистом: слишком уже близка ему сфера ужасных человеческих страданий. Но врач не может быть и пессимистом: иначе он пришел бы к заключению, что людей нужно не лечить, а морить. Но точно так же и поэт. Быть оптимистом ему препятствует проникновенная пронизательность в существо вещей, а от пессимизма его удерживает самая поэтическая его настроенность: если человек поет о тоске и отчаянии, это значит, что он уже преодолевает их. Но если оптимист поет гимны человечеству, а пессимист зовет человечество к позорному столбу, то стоящему на грани между этими двумя жизнепониманиями остается лишь жалеть человечество и лить на его душевные раны целительный бальзам своего сочувствия. Таким бальзамом и было творчество Чехова.

Таковы были думы, роившиеся в моей голове, когда я спускался от дачи Чехова к морскому берегу, где находилась моя гостиница. Больше мне уже не привелось видеться с Чеховым. На другой день я уехал из Ялты. А через несколько месяцев мне пришлось в Берлине встретить гроб с его останками, перевозимый в Россию из Баденвейлера.

В 1904 г. я решил съездить на лето в Швейцарию, отдохнуть и рассеяться после окончания магистерской диссертации и перед тем, как засесть за докторскую. Я оставлял Россию в тот момент, когда политическая атмосфера там быстро насыщалась электричеством. На театре войны уже начались неудачи, волновавшие общество. Разыгрывался резкий пароксизм столкновения Плеве с земским движением и со всей передовой общественностью. А революционные партии мобилизовали свои силы и готовились к активным выступлениям. Однако в общественной среде еще не было предчувствия близости решительных событий. Вспоминается мне любопытный разговор по этой части. В летний вечер на берегу Тунского озера перед панорамой увенчанной снежными шапками альпийских вершин сидело небольшое общество. Был тут профессор Эрисман (о котором смотри первую главу этой книги), в то время уже покинувший Москву, где его лишили кафедры за неблагонадежность, и занимавший место в городском самоуправлении Цюриха, были издатель журнала «Вестник воспитания» Н.Ф.Михайлов, популярный московский доктор Е.М.Степанов, московский профессор Н.А.Каблуков, сотрудник «Русских ведомостей» Аркаданек и др. Речь зашла о том, долго ли еще сохранит силу господствующий в России реакционный режим и через сколько времени можно ожидать решительного поворота на новый путь и возникновения в России конституции? Никто не сказал, что до переворота — рукой подать. Напротив, все назначали продолжительные сроки в 15, 20, 30 лет. А на следующий день во время общего обеда за табльдотом в обеденную залу вдруг вбежал Эрисман, махая зажатой в руке телеграммой, и крикнул по-русски: «Плеве убит!» Весь большой стол, занятый русскими туристами, вмиг загудел словно встревоженный улей. Прочая, не русская публика, с удивлением смотрела на нас, не понимая, почему все русские пришли в такое возбуждение и так взволнованно затараторили. А мы все

целый день ходили с взбаламученной душой. Забывая осторожные предположения, которые высказывались накануне вечером, мы все сразу почувствовали, что убийство Плеве резко повернет ход событий в совсем новом направлении.

Плеве был убит Сазоновым 15 июля 1904 г. в 10 часов утра. Новым министром внутренних дел был назначен Святополк-Мирский. Началась так называемая «политическая весна».

Глава VII. Крушение самодержавия

I

Да, осенью 1904 г. вдруг расцвела весна. Весна политических надежд и порывов. Назначение Святополка-Мирского министром внутренних дел знаменовало собою явственный перелом в курсе правительственной политики.

16 сентября новый министр, принимая членов своего ведомства при вступлении в должность, произнес программную речь, в которой заявил, что руководящим его лозунгом будет доверие к обществу.

Какой энтузиазм вызвало бы такое заявление за десять лет перед тем, при самом начале нового царствования! Но десять лет протекло не бесследно. Правление Горемыкина, Сипягина и Плеве вытравило из общественного сознания элементы политического прекраснодушия. Намерения Святополка-Мирского были чисты и искренни, что было подтверждено его дальнейшими действиями. Один только был у них недостаток: они были безнадежно запоздалыми. Святополк-Мирский полагал, что смута уляжется, лишь только власть выскажет доверие обществу. А между тем на очередь ставилась уже совсем обратная задача: задача создания такого правительства, при котором власть могла бы получить доверие от общества. Святополк-Мирский полагал, что все войдет в нормальную колею, лишь только правительство откажется от системы репрессий; и точно: он немедленно отменил целый ряд недавних репрессивных мер, очень многие писатели и общественные деятели были возвращены из административной ссылки, сняты кары с органов печати, разрешено издание новых газет, и сверх всего этого из крепости были освобождены после 20-летнего заключения некоторые народовольцы — Вера Фигнер, Морозов, Иванов, Ашенбреннер и др. Конечно, все это вызвало в обществе отрадное впечатление, словно — оттепель наступила после жестоких холодов. Но Святополк-Мирский ошибался, полагая, что такими изъявлениями благоволения можно заковать стремление общества к изменению самой основы существующего государственного строя. Он открыто высказал намерение сделать все для осу-

ществления преобразований, намеченных в манифесте 26 февраля 1903 г., отнюдь не касаясь основ государственного строя ввиду того, что «конституционализм непригоден для России». Но давно уже миновали те патриархальные времена, когда политические настроения общества могли изменяться только оттого, что злобный министр был заменен добрым.

В сентябре 1904 г. в Царском Селе происходили совещания министров и ставился вопрос о возможности обращения к народному представительству. Вопрос этот был решен отрицательно. А в то же время в Париже собрался съезд представителей всех революционных партий, на котором присутствовали также Милюков, Павел Долгоруков и Струве. Был тут и Азеф как авторитетный представитель партии с.-р. Все видевшие его там впервые были поражены отвратительным впечатлением, которое произвела его физиономия. Но эсеры верили в него как в Бога, и никто еще и в мыслях не имел, что он может оказаться предателем... Необходимость решительного натиска на самодержавный режим была решена в Париже с такой же определенностью, с какой в Царском Селе было постановлено снять с очереди вопрос о созыве народных представителей.

Между тем на театре военных действий разыгрывались зловещие события. В марте погиб адмирал Макаров вместе с броненосцем «Петропавловском» (тут погиб и художник Верещагин). Русский боевой флот оказался запертым в Порт-Артуре, и произведенная им 28 июля попытка прорваться чрез блокаду окончилась разгромом, вслед за которым 1 августа последовало поражение и владивостокской эскадры. А на суше в течение лета и осени разворачивался непрерывный ряд катастрофических поражений: Тюренчен (18 апр.), Талиянван (13 мая), Вафангоу (1–2 июня), Ляоян (13–20 авг.), Янхай близ Шахэ (26 сент. — 6 окт.) — вот те зловещие имена, которыми обозначался крестный путь русской армии, сражавшейся с присущим русским офицерам и солдатам героизмом, но падавшей жертвой ошибок высшего командования. Вести, приходившие с военного театра, производили ошеломляющее впечатление на общество. Восьмидневная битва под Ляояном своими небывалыми размерами и громадностью жертв представлялась такой чудовищной гекатомбой

человеческих жизней, перед которой самые громкие сражения былых времен являлись игрушечной забавой. А ведь то была лишь прелюдия к еще более грандиозным боям у Мукдена, которые разыгрались через полгода и, вместе с разгромом эскадры адм. Рождественского у о-ва Цусимы, окончательно переполнили чашу терпения русского народа. Впечатление от всех этих поражений и сопровождающих их жертв, столь противоречивших первоначальной уверенности в легкой и быстрой победе, можно обозначить не иначе как кошмарным ужасом, который хорошо был выражен в появившейся тогда повести Леонида Андреева «Красный смех». Помнится, тогда с удивлением и возмущением отмечалось, что после самых страшных катастроф на театре войны увеселительные сады под Петербургом и в Москве — разные Аркадии, Ливадии и Эрмитажи — были полны гуляющей публикой, и как ни в чем не бывало играла музыка и хлопали пробки от бутылок. Да, все это так было. Но только было бы грубой ошибкой принимать эту накипь за выражение подлинного настроения русского общества. Так уж устроен русский человек; он нутром не принимает принудительной торжественной внешней символики в общественном обиходе; и в самые грозные минуты он склонен по внешности не изменять обычного течения жизни. Это вовсе не значит, однако, что он при этом чувствует менее глубоко, нежели аккуратные исполнители условного церемониального этикета. И если в те дни многие и шли в публичный сад и пили там вино, то еще надо узнать, какой процент приходился при этом на тех, кто просто заливал вином свое волнение.

Военные события, столь тяжелые для национального чувства, несомненно подливали масла в огонь развертывавшейся политической борьбы. Ведь все и каждый совершенно ясно сознавали, что эта кошмарная человеческая бойня была бы предотвращена, если бы закулисные происки высокопоставленных аферистов, хозяйничавших на р. Ялу, могли бы быть своевременно выведены на чистую воду, что неминуемо и произошло бы при свободном государственном строе.

Итак, заявление Святополка-Мирского о «доверии к обществу» не могло остановить развития политических событий.

В конце октября 1904 г. Совет «Союза освобождения» наметил такой ближайший план действия: 1) стремиться к проведению чрез земские собрания политических резолюций с указанием на необходимость конституции; 2) провести конституционные заявления чрез ближайший земский съезд; 3) организовать повсеместно политические банкеты в связи с исполняющимся 20 ноября сорокалетием судебной реформы; 4) создать союзы различных профессиональных деятелей и затем сомкнуть их в Союз союзов.

Эта-то программа и была последовательно выполнена в течение последующих месяцев.

На начало ноября был намечен земский съезд в Петербурге. Святополк-Мирский склонен был разрешить его как легальный и публичный съезд. Однако, когда пошли слухи, что съезд намерен заняться не чисто земскими, а общеполитическими вопросами, это обещание было взято обратно. Тем не менее Святополк-Мирский сообщил, что на собрания в частных домах он будет смотреть сквозь пальцы. Съезд состоялся 6–8 ноября в квартирах Корсакова и Набокова. Он принял характер крупного политического события. Съездом была принята политическая декларация, состоящая из 11 тезисов. Содержание тезисов сводилось к указанию на необходимость покончить с всевластием бюрократии и утвердить государственный строй на началах гражданских свобод и политической самодеятельности населения. Единодушно признавалась необходимость создания народного представительства, но взгляды разделились по вопросу о форме правления: громадное большинство съезда высказалось за то, чтобы народному представительству было присвоено участие в осуществлении законодательной власти, а меньшинство, с Шиповым во главе, стояло за представительство только законосовещательное, по образцу старинных земских соборов. Поэтому 10-й пункт декларации был изложен в двух вариантах.

Правительство ничего не выиграло от того, что съезд должен был собраться на частных квартирах. Содержание принятых на съезде «11-ти пунктов» тотчас облетело всю Россию, и отовсюду посыпались в Петербург бесчисленные приветствия съезду, которые

адресовались лаконично: «Петербург, Земскому съезду», и телеграф аккуратно доставлял эти депеши по назначению.

20 ноября во многих городах были устроены политические банкеты, на которых прочитывались «11 тезисов» земского съезда, а также политическая резолюция с требованием конституции, принятая петербургским и московским советами присяжных поверенных. Я присутствовал на московском банкете в гостинице «Эрмитаж», который состоялся 20 ноября при громадном стечении публики. Этот первый опыт политического банкета показался мне, как и многим другим, неудачным. В нем не было стройности, от некоторых эпизодов веяло наивной обывательщиной, речи не стояли на высоте ответственного политического момента, — правда, опытные и авторитетные ораторы в тот день совсем не выступали, — и чувствовался в них недостаток общественной дисциплины. В сущности, серьезная часть банкета была исчерпана речами присяжного поверенного Жданова, доложившего резолюцию совета присяжных поверенных, и проф. Карышева, говорившего о земском съезде и его 11 пунктах. Но когда затем поднялся какой-то помощник присяжного поверенного и произнес: «Граждане и гражданки!» — и это обращение вызвало бурю рукоплесканий, в этом почувствовался какой-то наивный и дешевый эффект, и это чувство еще более усилилось от последовавшей затем речи молодого человека, — довольно сусальной и по содержанию, и по форме. А потом доктор Жбанков ни к селу ни к городу начал выражать неудовольствие на газету «Русские ведомости», которая, по его мнению, была недостаточно радикальна. И банкет, который предназначался для обсуждения политического положения, свелся в наибольшей своей части к обсуждению публицистической позиции этой газеты. Чувствовалось, что банкет был сооружен наскоро, не слажен, как следует. «Сковородка еще не опеклась».

Конец ноября и первая половина декабря 1904 г. прошли в каком-то взвинченном настроении. В ноябре по земским собраниям и городским думам прокатилась волна политических резолюций. Председатели управ докладывали о петербургском земском съезде, и собрания одобряли «11 тезисов». Особенно сильное впечатление

произвело то обстоятельство, что Московская городская дума — оплот крупнейшего купечества — приняла резолюцию о скорейшем созыве народных представителей. Это произошло 30 ноября. Я сидел в публике. Рядом со мной оказался старозаветный купец в длиннополом сюртуке и в высоких сапогах бутылками. Когда читали резолюцию о созыве представителей народа, он показал мне на статую Екатерины II, украшавшую зал думских заседаний, и сказал со вздохом: «Что-то теперь она, матушка, думает?»

А затем — многообразные организации, общества, корпорации, союзы и т.п. стали принимать все одну и ту же резолюцию, начинавшуюся словами: «Так больше жить нельзя», — внося в нее лишь второстепенные частные вариации применительно к своим ближайшим задачам, но в центре всех этих резолюций стояло неизменно требование конституции. Тогда остряки стали поговаривать, что и союз акушеров вынес резолюцию о невозможности принимать у рожениц детей при отсутствии конституции и т.п. Конечно, было в этой эпидемии резолюций нечто, дававшее пищу для присяжных остряков. Когда в небольшой комнате, где сидело десять — двадцать человек, составлявших какой-нибудь скромный кружок, все торжественно поднимались и вотировали все ту же резолюцию, уже провотированную во многих таких кружках, — тогда надо было делать усилие, чтобы подавить просившуюся на уста улыбку. Однако в конце концов не так уже это было смешно. Ведь все эти члены разных обществ и союзов были, за самыми малыми исключениями, люди зависимые от «начальства», все они существовали только на служебный заработок, и, когда они ставили свои подписи под резолюцией, они рисковали очень многим, рисковали просто куском хлеба. А кроме того, — пусть каждый из таких кружков являлся песчинкой, но ведь из скопления песчинок вырастают огромные дюны.

И это движение, охватившее всю Россию, в своей массе произвело впечатление достаточно внушительное, так что правительство увидело себя вынужденным на него откликнуться.

14 декабря 1904 г. были обнародованы два правительственных акта: 1) указ сенату и 2) «Правительственное сообщение». Указ

сенату содержал в себе перечень нововведений, которые правительство считает нужным и возможным провести, оставляя незабываемыми основные законы империи. Этот перечень представлял собой воспроизведение с небольшими дополнениями манифеста 26 февраля 1903 г.: наилучшее устройство крестьянского сословия (без указания на основания этого устройства, но с утешительным уведомлением, что нужды крестьянства изучаются «опытнейшими лицами высшего управления»); охранение полной силы закона, этой «важнейшей в самодержавном государстве опоры престола»; расширение самостоятельности земских и городских учреждений с призывом к участию в них представителей всех слоев населения; равенство всех перед судом и самостоятельность судебных учреждений; государственное страхование рабочих; ограничение применения исключительных положений; устранение религиозных стеснений раскольников, иноверческих и инославных исповеданий; ослабление ограничений для инородцев; устранение излишних стеснений печати. Разработать соответствующие способы для осуществления всех этих задач поручалось комитету министров.

Таковы были реформы, указуемые как максимум преобразовательных нововведений, допускаемых тогдашней властью.

Тогда-то было пущено в печати Меньшиковым крылатое слово о том, что России нужны сейчас не реформы, а нужна реформа, т.е. нужна та самая перемена, которая в указе 14 декабря прямо признавалась недопустимой, нужна — конституция. И в «Правительственном сообщении», изданном одновременно с этим указом, выражалось осуждение собраниям разного рода, выносившим политические резолюции с требованиями изменения «веками освященных устоев государственной жизни», и высказывалась угроза, что впредь такие собрания будут подавляться всеми средствами, имеющимися в распоряжении властей, а участники их будут привлекаться к ответственности по всей строгости законов.

Вторую половину декабря я провел в Петербурге, работая в Государственном архиве над бумагами Екатерины II, относящимися к подготовке Городского положения 1785 г. Академия наук поручила мне научно-критическое издание этого памятника, и я принял это

предложение, решив одновременно посвятить истории этого памятника свою докторскую диссертацию. Ежедневно сидел я все утро в архиве, с наслаждением погружался в изучение нужных мне материалов. А после обеда бывал во многих домах, соприкасался с разными общественными кругами, и ничего особенного нельзя было заметить в течении петербургской общественной жизни. Только в разговорах часто поминалось имя священника Гапона, и при произношении этого имени все сейчас же начинали разводить руками и выражать на лицах крайнее недоумение. И в самом деле было чему удивиться. Этот Гапон — священник тюремного ведомства — стал в то время кумиром рабочей массы Петербурга. Он организовал целый ряд рабочих союзов для целей самопомощи и самообразования, сам руководил их собраниями, снискал себе большое доверие среди фабричных и заводских рабочих, и популярность его росла не по дням, а по часам. Все это было бы еще ничего, но общее изумление вызывалось тем обстоятельством, что Гапон в своих беседах с рабочими начинал открыто затрагивать все более жгучие вопросы чисто политического свойства, и тем не менее никаких полицейских репрессий его деятельность не вызывала. Слушал я эти рассказы, и мне приходило на память, как незадолго до того у нас в Москве некий Зубатов стал организовывать лекции и дискуссии на научные темы для фабричных рабочих с участием профессоров при полном одобрении местных властей, начиная с московского генерал-губернатора вел. кн. Сергея Александровича, и как приглашенные туда профессора скоро предпочли отстраниться от этой затеи: никаких прямых указаний на что-либо предосудительное они привести не могли, но безотчетное чувство чего-то подозрительного возбуждалось от соприкосновения с зубатовскими организациями. Уже позднее обнаружилось, что Зубатов был агентом «охранного отделения». Теперь мы хорошо знаем, что Гапон кончил службой в охранке. Но что именно представлял он из себя до 9 января 1905 г. и чем именно руководился он, подготавливая это «9-е января», — этот вопрос еще нельзя считать выясненным. Вначале деятельность Гапона, во всяком случае, не вызывала подозрений, и даже «Союз освобождения» входил с ним в какие-то переговоры насчет возможности провести через гапоновские «отделы» рабочих политические резолюции. Я уехал из Петербурга к

себе в Москву перед рождественскими праздниками, совсем не предполагая, что в Петербурге вскоре разыграется небывалая катастрофа, которой будет суждено произвести решающее влияние на дальнейший ход событий. За несколько дней до 9 января в Петербурге стало известно, что Гапон готовит какую-то монархически протестующую процессию всех преданных ему рабочих к дворцу, без оружия, но с иконами, хоругвями и царскими портретами, с тем чтобы потребовать от государя выйти к рабочим, выслушать их желания и дать на них ответ.

Эти слухи чрезвычайно встревожили общественных деятелей Петербурга; явная фантастичность плана Гапона возбуждала сильные подозрения; почти не было сомнения в том, что безоружная толпа, которая хлынет ко дворцу, просто будет подставлена под выстрелы. Несколько литераторов, редакторов и профессоров 8 января добились свидания с Вите и Святополк-Мирским и умоляли их предотвратить, пока не поздно, надвигающееся несчастье. Вите просто сослался на то, что вопрос выходит из сферы его компетенции, а Святополк-Мирский дал понять, что власть сама знает, что ей нужно делать, и не нуждается в советах. В конце концов члены этой делегации (тут были Анненков, Кареев, И.Гессен, Мякотин и др.) сами были арестованы по подозрению в том, что они якобы стремятся занять положение чуть ли не временного правительства.

А через день после того в номере «Русских ведомостей» от 10 января мы в Москве прочли ошеломляющие строки. Вместо передовой статьи было напечатано: «Гремят выстрелы из ружей и пушек; льется кровь, масса убитых и раненых; это сообщается не с театра войны, а из Петербурга. Петербург погружен во тьму. Гремит канонада...» И дальше следовал длинный ряд точек. Москвичи недоумевали. День прошел в жуткой растерянности. Потом стало известно, что Гапон повел-таки своих рабочих ко дворцу с иконами и хоругвями. Государь еще накануне уехал в Царское Село. Религиозно-политическая Процессия рабочих была встречена картечью, среди общего смятения сам Гапон спасся; в тот же день он еще показался на импровизированном митинге в здании городской думы и после того переправился за границу.

II

До сих пор еще нельзя признать вполне освещенными подробности и подкладку этого загадочного события. Что происходило именно тогда в душе Гапона, каковы были его устремления и почему власти, знавшие о подготовке этого выступления, не сочли нужным его предотвратить? Все это и доселе еще не выведено целиком на чистую воду. Одно, однако, несомненно: нельзя было бы придумать эффекта, способного сильнее революционизировать настроение, нежели это событие 9 января. Теперь убеждение в том, что в ближайшее же время неизбежны какие-то события огромной важности, стало всеобщим. Нервное возбуждение охватывало самые широкие круги общества. 18 января была опубликована отставка Святополка-Мирского. Говорили, что, уезжая из столицы в свое имение, он, входя в вагон, произнес: «Но, уж и наделал я!» Его заместителем был назначен Булыгин: серая, тусклая фигура. Это имя никому ничего не говорило, не давало даже и намека на возможные дальнейшие намерения правительства.

Опять земские собрания и городские думы стали принимать резолюции о необходимости политических преобразований на конституционных началах. Напротив того, дворянские собрания некоторых губерний высказывались за земский собор, не устраняющий самодержавия. Так, курское дворянство в адресе государю писало: «С одними наемниками, без сословий земских не устоит самодержавие, а без самодержавия не устоит русская земля». В адресе бессарабского дворянства, принятого огромным большинством, говорилось: «Государь, призовите свободно избранных представителей всех земли русской сказать правдивое слово. Обновленная на началах правды и законности Россия при непосредственном общении с самодержавною царскою властью станет сильна и счастлива». Горячая борьба при выработке адреса государю разгорелась в Московском дворянском собрании. Здесь настроение было настолько реакционное, что либеральная часть собрания не решилась идти дальше предложения о созыве совещательного Собора, хотя этот проект адреса исходил из круга таких явных конституционалистов, как кн. Павел Долгоруков, Н.Н.Щепкин, Ю.Новосильцев и др. Но и мысль о совещательном

народном представительстве вызывала бурные протесты со стороны твердокаменных реакционеров. А когда кн. С.И.Шаховской заявил, что он не подаст голоса ни за один из представленных проектов, так как стоит за конституцию, то в зале поднялись такие бешеные крики, что можно было опасаться, как бы смелому оратору не помяли бока. В конце концов 219 голосами против 147 был принят адрес реакционный.

Однако этот эпизод был все же исключительным. Дворянские собрания, не заикаясь, в противоположность земским, о конституции, все же в большинстве случаев высказывались против всевластия бюрократии и за обращение к народному представительству. И все крепили слухи о том, что правительство решилось в конце концов согласиться на совещательное представительство, т.е. на удовлетворение самого минимального из всех выставленных тогда требований. То был самый близорукий политический расчет, как это и не замедлило вскоре обнаружиться.

4 февраля 1905 г. я находился в редакции «Русской мысли», когда вдруг стекла в доме сотряслись от страшного, громоподобного удара. Что бы это могло значить? Я вышел на улицу. Редакция помещалась на углу Знаменки и Ваганьковского переулка, Кремль был под боком. По Знаменке со стороны Кремля шли кучки людей в состоянии крайнего возбуждения, и поминутно слышались слова: «Мозги по мостовой раскидало... рук, ног не соберут...» То было убийство вел. кн. Сергея Александровича. В самом Кремле Каляев бросил бомбу в коляску великого князя, тело которого было при этом разорвано в куски.

Этим террористическим актом, так же как и убийством Плеве, руководил Азеф. Почему этот предатель доводил-таки до конца именно такие террористические акты, которыми наносились наиболее сокрушительные удары по самодержавию? Какая тайна лежала на самом дне его души?

18-го февраля наконец был обнаружен акт, освещавший намерения власти. В рескрипте на имя Булыгина государь возвещал, что отныне он «вознамерился привлечь достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в

предварительной разработке и обсуждению законодательных предложений». Тут же было определенно подчеркнуто, что далее совещательного представительства власть не намерена сделать ни шагу по пути политического преобразования. Было указано, что созыв народных представителей обуславливается «непременным сохранением незыблемости основных законов империи», а в особо изданном в тот же день манифесте осуждались крамольные посягновения разрушить существующий государственный строй с целью «учредить новое правление на началах, отечеству нашему не свойственных». Это были чрезвычайно неосторожные слова; ведь через восемь месяцев эти самые «начала» провозвещались в новом манифесте как «признанные за благо» с высоты престола!

Март и апрель 1905 г. прошли в кипучем возбуждении общества. Правительство выказывало в одно время и страх перед общественным движением, делая явно вынужденные уступки, и желание ограничить эти уступки гомеопатическими размерами. Такое поведение власти только взвинчивало общественные круги, охваченные политическим возбуждением, а трагические вести с театра войны придавали особенно зловещую мрачность картине общего положения. Как раз 12–24 февраля разразился 12-ти дневный бой под Мукденом, затмивший и размерами жертв, и грозностью неудачного исхода даже предшествующее ляоянское наше поражение.

Правительство предпринимало некоторые шаги, которые должны были свидетельствовать о повороте внутренней политики на новые пути. В марте вдруг были приостановлены недавние мероприятия в Финляндии, ломавшие финляндскую конституцию. 17-го апреля был издан закон, предоставлявший широкие льготы старообрядцам и сектантам в их религиозном быту. Особое совещание под председательством Булыгина выработало Положение о совещательной Государственной думе. А в это время многочисленные мартовские съезды выносили резолюции с требованием созыва Учредительного собрания, но деревенской России распространялись аграрные беспорядки, особенно в центральных губерниях и в северо-западном крае; убийства и покушения на убийства должностных лиц следовали

одно за другим, во флоте разгоралось революционное движение, в учебных заведениях пришлось прекратить все занятия до осени.

В апреле кипучую деятельность проявили конституционалисты. В Москве под председательством И.И.Петрункевича происходил очень важный съезд, посвященный аграрному вопросу. В докладах Мануилова, Кауфмана, Герценштейна, Петра Долгорукова и др. тут были установлены все основные положения аграрной программы будущей партии Народной свободы. А в 20-х числах апреля земцы-конституционалисты тоже в Москве обсуждали основы конституции, после чего последовало окончательное отделение группы «шиповцев», не принимавших конституции, в особую политическую группу.

А затем разразился новый удар, потрясший людей до глубины души: 14 мая эскадра Рождественского стала жертвою катастрофического разгрома у острова Цусимы. Летние месяцы этого года я проводил в Териоках, так как мои архивные работы для докторской диссертации находились в полном ходу и мне надо было использовать летнее время для занятий в петербургских архивах. Каждое утро отправлялся я из Териок в Петербург, в Государственный архив, и возвращался к вечеру на свою дачу с целым коробом вестей. События развивались безостановочно. Летом 1905 г. вспыхнули крупные волнения в Черноморском флоте. Броненосец «Потемкин», захваченный взбунтовавшимися матросами, открыл стрельбу и затем, спасаясь от преследования, ушел к берегам Румынии. В мае, июне, июле в Москве шли чуть ли не непрерывные земские съезды¹⁴. 6-го июня состоялся прием государем земской делегации в Петергофе, и всю Россию облетела речь Сергея Трубецкого, сказанная им государю о том, что участие в народном представительстве должно быть предо-

14 Работа земских съездов очень волновала правящие круги. Но власть уже не решалась наложить на них руку. Трепов вел кампанию за недопущение съездов и пользовался при этом перлюстрацией писем участников съездов, вставляя выдержки из этих писем в свои доклады государю. Трепов составил проект речи Николая II к земской депутации 6 июня, но потом речь была несколько изменена (см. "Русское прошлое", IV, 1923 г.).

ставлено всему населению без различия сословий. Николай II в своем ответе заявил, что его воля созывать народных представителей не переменна, но тут же подчеркнул, что единение царя со всею Русью должно будет происходить как встарь, в согласии с самобытными русскими началами. Но через две недели — 21 июня — состоялась прямая контрдемонстрация. Государю представилась депутация от правых общественных групп, и гр. Бобринский произнес при этом речь, явившуюся прямой полемикой с речью Трубецкого. Он заклинал государя призывать на совет выборных людей только от «освященных историей бытовых групп». «Вам говорили, — сказал Бобринский¹⁵, прямо цитируя речь Трубецкого, — что русский царь уже не царь дворян и не царь крестьян, и болезненно содрогнулось сердце дворянства, свято памятуя слова державных предков ваших, называвших себя первыми дворянами России». И государь ответил: «Мне особенно отрадно то, что вами руководит чувство преданности к родной старине. Только то государство сильно и крепко, которое свято хранит заветы прошлого». Все это давало мало уверенности в готовности верховной власти идти навстречу новым требованиям жизни.

Между тем в Москве съезды земских деятелей соединились со съездами городских деятелей, и на этих съездах в течение июля был подробно обсужден и принят проект Основного закона, т.е. конституции, подготовленной Муромцевым, Кокошкиным и Н.Щепкиным. В результате всех этих обсуждений было решено, что земские съезды свою политическую роль уже выполнили и что теперь встает задача образования политической конституционно-демократической партии.

6 августа появились Положение о Государственной думе с законосовещательными функциями и высочайший манифест. В это время мирные переговоры с Японией в Портсмуте шли уже полным ходом. 16 августа мы только что отужинали и сидели за чаем в своей даче в Териоках. И вдруг загремели пушечные выстрелы со стороны Крон-

15 Трубецкой говорил: "Царь русский не есть царь дворян, царь крестьян, царь купцов, не царь сословный, а царь всея Руси".

штадта. Они следовали равномерно друг за другом, наполняя своими звуками воздух мирной летней ночи. Мы удивленно посмотрели друг на друга и тотчас же воскликнули хором: «Это — мир!»

К концу сентября я вернулся в Москву и сразу попал в атмосферу политического возбуждения. Все лето Москва кипела, как в котле. Земские съезды были в центре внимания всей России. Администрация пыталась было наложить veto. Но земцы открыто отказались подчиняться атому распоряжению и явочным порядком продолжали свои занятия. Рассказа ми об этих летних впечатлениях была полна вся Москва. Однако начались уже и новые осенние заботы. Издание Положения о Государственной думе 6 августа ставило на очередь вопрос: следует ли участвовать в выборах в это учреждение, никого не удовлетворявшее. Земцы-конституционалисты решили вопрос в утвердительном смысле, считая тактику бойкота в корне ошибочной; крайние левые группировки, напротив того, стояли за бойкот, более всего опасаясь, что участие в выборах в законосовещательную Думу отвлечет массы от чисто революционных выступлений. На всевозможных собраниях, которые были тогда то и дело созываемы в разных частях Москвы, только и речи было, что по этому жгучему в тот момент спорному вопросу. 12–15 сентября в Москве происходил новый съезд земских и городских деятелей, к участию в котором были приглашены М.М.Ковалевский и П.Н.Милуков. Публика устремлялась на эти заседания, словно в парламент. Здесь еще раз были обсуждены все части политической и социальной программы, которую предполагалось положить в основу конституционно-демократической партии. Много говорили в обществе, между прочим, о дебатах, возникших там по польскому вопросу; тогда А.И. Гучков выступил против автономии Польши, мысль о которой была выдвинута конституционалистами, и на защите этой мысли пожинал на этом съезде первые лавры политического дебатера Ф.Ф.Кокоскин.

По докладу того же Кокоскина съезд отверг тактику бойкота по отношению к Государственной думе, и, напротив того, было признано необходимым, чтобы возможно большее число конституционалистов прошло в Думу с тем, чтобы там добиваться расширения политических свобод.

На 12 октября постановлено было созвать организационный съезд конституционно-демократической партии. Этот съезд и состоялся действительно, но при совершенно исключительной обстановке, которую за месяц до того еще никто не предвидел.

Законосовещательная Дума по Положению 6-го августа никого не удовлетворяла. В то же время чувствовалось, что ни развертывавшийся до тех пор напор общественного мнения, ни отдельные террористические акты не достигают той силы воздействия на власть, при которой последняя была бы вынуждена сдать совершенно позицию всевластия правящей бюрократии. Тогда родилась идея всеобщей политической забастовки. Она была выполнена и увенчалась успехом только потому, что она в тот момент зародилась как-то сама собой, в виде какой-то стихийной психической волны, вдруг прокатившейся по стране, явилась каким-то непроизвольным выражением общего чувства, что «так больше жить нельзя». Конечно, нужен был какой-нибудь аппарат, который бы наладил техническую сторону согласования забастовочных действий, на путь которых уже начали становиться отдельные профессиональные организации. Эту функцию взял на себя Союз союзов, представлявший собою объединение профессиональных союзов разного рода и возникший в 1905 г. по плану «Союза освобождения».

В тот момент, когда в Москву в середине октября 1905 г. съезжались политические деятели — одни на организационный съезд конституционно-демократической партии, другие — на съезд крестьянского союза, — вспыхнула политическая забастовка, быстро охватившая самые разнообразные отрасли службы — государственной и общественной — и самые разнообразные отрасли труда. Жизнь замерла и остановилась. Казалось, страна сама себе отказывает в необходимых удобствах существования, только бы добиться политического сдвига с мертвой точки. Забастовка, как планомерный прием борьбы, всегда предполагает точное обозначение условий, на которых она может прекратиться, тех конкретных требований, которые выдвигаются как цена возвращения к нормальному течению жизни. Октябрьская всеобщая забастовка 1905 года была именно тем своеобразна, что она этому основному требованию не удовлетворяла.

«Так больше жить нельзя, и надо жить иначе» — это было слишком неопределенно как забастовочный лозунг. Просто имелось в виду, что правящая власть должна предпринять какой-либо акт, который не оставит сомнений в ее решении отменить самодержавие. Конечно, такая полустихийная забастовка не могла продержаться долго. И уже 16 октября появились симптомы, указывавшие на то, что порыв спадает и забастовка начнет расплзаться. Но, с другой стороны, это было явление столь неожиданное и необычное, что власть вдруг оказалась оторванной от страны, изолированной во всех смыслах, и нельзя было понять, что там делается и что там таится в этой вдруг онемевшей и застывшей в жуткой неподвижности стране. Николай II обратился к оракулу этих дней — Витте. А Витте ответил: «Надо твердо решиться на одно из двух — или немедленно объявить конституцию (и на этот случай Витте предлагал свои услуги в качестве конституционного премьера), или — объявить диктатуру и залить страну кровью» (но диктатором сам Витте быть не желал и советовал найти подходящего для того человека). Николай II колебался до последнего момента. Он вел параллельные совещания с двумя антиподами: и с Витте, и с Горемыкиным. Из этих колебаний он был выведен прибытием в Петергоф в. кн. Николая Николаевича, и, по-видимому, решающим обстоятельством, положившим конец колебаниям, явились тревожные сведения о ненадежных настроениях в армии, которую предстояло эвакуировать с театра только что окончившейся войны. Но ведь если центральная власть не знала, что творится в стране, то и страна не знала, что делается там, наверху. Дни тянулись в томительной неизвестности, и вот, в бивуачной обстановке, созданной забастовкой (впрочем, забастовка была слишком коротка, чтобы бивуачность обозначилась сколько-нибудь резко), в обширных залах дома Долгоруковых (б. Орлова-Давыдова) шли заседания учредительного съезда к.-д. партии. Решив вступить в эту партию, я посещал эти заседания.

Дом кн. Долгоруковых займет видное место и в истории земских съездов (наряду с домом кн. Щербатова на Поварской), и в истории конституционно-демократической партии. Сколько приходилось затем бывать там на заседаниях центрального комитета этой партии и разных партийных комиссий! Громадный княжеский

особняк, стоящий в глубине двора и окруженный тенистым садом, приютился в остром углу того колена, которое образуется изогнутым переулком, опоясывающим Художественный музей Александра III. Дом двухэтажный. Во всю длину дома на втором этаже идет широкий балкон, на котором в погожие дни хорошо было освежиться в перерыве заседания. Тут во втором этаже в обширной зале, полуосвещенной в связи с забастовкой, шли заседания съезда.

Были тут все будущие московские лидеры к.-д. партии. Петербургских из-за забастовки было немного. Председательствовал Винавер. Он вел заседания превосходно. Никому не давал «растекаться мыслью по древу» и отлично формулировал прения. Впрочем, работа была нетрудная. В сущности — принимались, так сказать, в «последнем чтении» разные части программы, уже подробно обсужденные в предварительных совещаниях. В самом начале любопытный инцидент вышел с полицейским приставом. Пристав вдруг явился в зал и начал было что-то говорить. Винавер его прервал и внушительно заявил, что даст ему слово в очередь. К общему удивлению, пристав подчинился. Долго пришлось ему дожидаться «очереди», и когда она, наконец, наступила, приставу оставалось только выразить возмущение тем, что ему не дали возможности исполнить его обязанности. Этот самый пристав был впоследствии ретивейшим пресекателем всяких собраний нашей партии и очень скоро выучился делать то, не дожидаясь никаких «очерей».

Занятия съезда подходили к концу, и вот 17 октября, уже совсем к вечеру, в заседание вдруг явился из редакции «Русских ведомостей» сотрудник этой газеты Петровский. С крайне взволнованным видом он устремился к председателю и подал ему листок с газетной гранкой. Винавер взглянул на листок, побледнел как полотно, немедленно прервал говорившего оратора, встал и прочел нам... манифест 17 октября!

Самодержавие прекратилось. Россия стала конституционной монархией. Были объявлены гражданские свободы. Государственная дума получала законодательные права. Вите был назначен главой кабинета.

Заседание было прервано. Долго не могли успокоиться от охватившего всех волнения. И наконец заседание возобновили лишь на несколько минут, в течение которых Митрофан Павлович Щепкин, убеленный сединами старец, всю жизнь лелеявший мечту о конституции, произнес дрожащим от волнения голосом свое «Ныне отпускаещи».

III

Лишь промелькнула ночь, с раннего утра улицы Москвы наполнились народом. Забастовка немедленно прекратилась. Толпы народа валом валили к Театральной площади, где, как значилось на расклеенных кем-то по городу бумажках, предстояло «народное собрание». Конечно, никакого «народного собрания» не было, собирались в кучку, что-то говорили добровольные ораторы, никто их не слушал, все просто давали волю безотчетному возбуждению, никто не мог усидеть дома, и вот ходили по улицам, поздравляли друг друга, целовались, словно была какая-то Пасха. Конечно, на следующий день вступили в свои права будни с их тревогами, заботами, разочарованиями и огорчениями.

На очереди был вопрос, в каких формах и в каком порядке будут осуществляться возвещенные вольности. И прежде всего — кто будет готовить их осуществление, т.е., иначе говоря, как Витте составит свой кабинет? Начались переговоры Витте с популярными общественными деятелями. Ему очень хотелось расцветить свой кабинет несколькими популярными именами. Но одним из непреодолимых камней преткновения для успешности этих переговоров являлось предрешенное свыше условие, что важнейший пост министра внутренних дел должен остаться за одним из самых дискредитованных матадоров старого режима — Петром Ник. Дурново.

Но была и другая важная задача. Надо было добросовестно разъяснить малосведущим людям истинный смысл манифеста, перевести его юридические формулы на удобопонятный для всякого простолюдина язык. Это было тем более необходимо, что агитаторы, преимущественно социал-демократические, начали уже пускать в ход толкования вкривь и вкось, имея в виду чисто партийные свои цели.

Я тогда написал листовку, в которой самым попятным и простым языком изложил применительно к содержанию манифеста основные понятия конституционного права. Я отдал листовку для издания И.Д.Сытину, не сомневаясь в том, что его фирма всего лучше распространит эту листовку повсеместно; в том числе и по деревням. Сынтин с удовольствием ухватился за эту мысль, и листовка моя имела большой успех. Благодаря этой листовке стал я то и дело получать приглашения прочитать объяснение манифеста в той или иной народной аудитории. Помню, читал я о манифесте в одной воскресной школе. Пригласили меня туда работавшие там мои слушательницы по женским курсам. Но другие учительницы той же школы — социал-демократии — забили тревогу, стали протестовать; произошла маленькая буря в стакане воды. Порешили на том, чтобы меня все же пригласить, но с тем, чтобы я только изложил манифест, не вдаваясь ни в какие толкования. Задача была почти неисполнимая, ибо всякое изложение непременно есть уже и толкование. Тем не менее я согласился. Социал-демократки, опасавшиеся, что я произнесу митинговую речь не в духе их учения, могли успокоиться: я сознательно воздержался от какой-либо пропаганды, а просто объяснил, что именно разумеется под тем или другим выражением манифеста. Работницы, составлявшие мою аудиторию, слушали затаив дыхание. Окончив, я предложил задавать мне вопросы. После долгого молчания одна работница с испуганным лицом наконец сказала еле слышным голосом: «Вот говорят, не надо выбирать в Думу, будет обман». Тут, видя пред собой «одну из малых сих», протягивающую руку за искрой света, я уже отбросил в сторону всякие казуистические различия «изложения» и «толкования» и прямо ответил: «Что же будет, если рабочие не станут выбирать? Другие-то ведь своих представителей выберут. Кто же тогда в Думе наши интересы представит?»

Вот этот коротенький диалог вызвал потом среди учительниц школы великие споры и ссоры. Социал-демократки кричали, что нельзя допускать буржуев говорить с народом. Так велик был страх перед свободным обменом мнений, так велико было желание замкнуть искусственно мысль рабочего в круге понятий, предписанных

партийной шпаргалкой и не допустить до него никакой иной мысли, дабы он не начал «сметь свое суждение иметь».

Между тем политические дискуссии все сильнее стали захватывать общее внимание. До настоящей политической кампании было еще далеко. Но митинги уже устраивались повсеместно. Это еще не была пропаганда определенных программ и платформ. Это были пока споры по самым общим вопросам политического поведения, и снова на первую очередь выдвигался вопрос о бойкоте Думы. Хотя речь шла уже теперь не о законосовещательной, а законодательной Думе, тем не менее социалистические партии по-прежнему настаивали на бойкоте выборов в Думу и на продолжении революционной борьбы за Учредительное собрание.

Конституционно-демократическая партия после октябрьского съезда уже сформировала в Москве свой городской комитет, деятельными руководителями которого сразу явились Н.М.Кишкин, Н.Н.Щепкин, П.Д.Долгоруков. Комитет решил сделать опыт устройства своих докладов в самом рабочем районе Москвы, который социал-демократы считали своим исключительным достоянием. Разумеется, заранее надо было ожидать, что социал-демократы примут все для срыва наших выступлений. Первым докладчиком имели неосторожность послать С.Ф.Фортунатова, большого знатока конституционной истории, имевшего громадный успех у студентов и курсисток в качестве великолепного лектора. Но он был совершенно неприспособлен к тому, чтобы стоять лицом к лицу перед мятущейся митинговой толпой. Лишь только он начал свой доклад, сразу обнаружилось, что в переполненной народом зале народного театра присутствует враждебная лектору клика. И после какой-то фразы докладчика, задевшей социал-демократическое правосознание, поднялся такой рев, что пришлось отказаться от продолжения собрания. Но мы решили опыт продолжать, и через неделю в том же самом помещении был назначен мой доклад. Тут-то я и получил боевое митинговое крещение. Опять набралась тьма народу. Опять отдельные фразы доклада сопровождались аккомпанементом ворчливого ропота все из одного и того же угла, где явственно помещалась клика. Наконец подошел «ударный момент», и разразился рев, в котором тонули все отдель-

ные попытки сказать что-либо. Председательствующий Кишкин делал умиротворяющие жесты без всякого результата. Я заранее ожидал такой сцены и имел свой план действий. Я спокойно стоял, не подавая ни малейшего признака растерянности. Надо было дать кричавшей кучке выкричаться и уловить момент, когда ее крик от утомления спустится тоном ниже. И вот, лишь только такой момент наступил, я вдруг, выпрямившись во весь рост, громовым голосом прямо в тот угол, откуда неся шум, крикнул одно слово: «Молчать!» Это было так неожиданно, что шум моментально смолк. После мгновенной паузы раздался всего только один голос, но и то уже значительно спавшим тоном: «Нельзя так обращаться с публикой». Тогда я, грозя кулаком в сторону говорившего, снова крикнул: «Молчать!» Все окончательно стихло, а я немедленно начал продолжать доклад и кончил его тем, что гневно обрушился на партийные раздоры в то время, когда надо спланировать для укрепления политической свободы. Мои последние слова были покрыты громовыми криками всей залы, но это была уже овация по моему адресу.

Бой был мною выигран, а главное — потерпела крушение попытка вырвать из наших рук арену для выступлений перед рабочей аудиторией в рабочем районе. И наши доклады могли теперь продолжаться, опираясь на сочувствие значительной части аудитории.

Октябрь, ноябрь, декабрь 1905 г. прошли под знаменем величайшей сумятицы, охватившей всю Россию. Россия только что отпихнулась от старого берега, но новый берег виднелся вдали еще в самых туманных очертаниях. И это промежуточное состояние как нельзя более способствовало взрывам и столкновениям давно накопленных страстей.

Прежде всего, никто не знал, каким же нормам будет подчиняться течение жизни немедленно по обнаружении манифеста 17 октября и впредь до издания новых законов, одобренных народным представительством. В целом ряде случаев было бы просто нелепо продолжать применять старый порядок, в корне противоречивший только что возвещенным в манифесте новым началам. Но манифест содержал в себе лишь простое провозглашение разных свобод, а соответствующие им юридические нормы еще предстояло создать в

виде специальных законов и регламентов. Но жизнь предъявляла свои требования немедленно, не дожидаясь, пока образовавшаяся в строе управления своего рода «торричеллиева пустота» чем-либо будет наполнена. И вот «свободы» начали осуществляться «явочным порядком», самопроизвольно, вне каких-либо легально утвержденных рамок и форм. Так, например, изданные 12 октября 1905 г. правила о публичных собраниях по издании манифеста 17 октября явно уже не годились; новые правила — временные, впредь до издания соответственного закона при участии Думы — появились только 4 марта 1906 г. и не вызвали одобрения общества. Но граждане немедленно по издании манифеста 17 октября с неудержимым пылом предали митингованию и делали это, ни о каких правилах не думая и утверждаясь в опасной мысли, что свобода означает отсутствие всяких ограничений. Университетские аудитории были захвачены всевозможными организациями, в один и тот же вечер там шли одновременно в разных местах митинги разных политических партий, железнодорожных служащих, часовщиков, чиновников, зубных врачей, воспитанников среднеучебных заведений и проч. и проч.

Точно так же нельзя было ни одного дня оставаться и при прежних правилах о печати, и собрание делегатов от повременных изданий постановило с 22 октября приступить к фактическому осуществлению полной свободы печати. И когда в этот день после продолжительного перерыва вышли газеты, то столбцы их так и пестрели словами, на которых еще неделю тому назад лежал строжайший запрет: «стачечный комитет», «демократическая республика» и т.д. А рисунки иллюстрированных изданий, можно сказать, сплошь были залиты красной краской — символом социальной революции. Однако «фактическая свобода печати» вне всяких норм и уставов тотчас обнаружила и свои шипы: появилась также и явочная цензура, — уже не со стороны правительственной власти, которая на время стушеввалась, а со стороны типографских рабочих. Рабочие заявили, например, что слова «учредительное собрание», «совет рабочих депутатов», «союз союзов» они будут набирать не иначе как с большой буквы. Этого мало — рабочие отказывались набирать неудобные им по направлению издания, тем самым фактически декретируя их приостановку.

Не одно — это внезапное исчезновение всяких регулирующих норм в отпадении общественной жизни сообщало движению характер бурного водоворота страстей. В еще большей мере содействовал тому сейчас же вскрывшийся наружу социальный раскол. Уже в октябре на митинге союза типографских рабочих была провозглашена резолюция: «Ввиду выяснившейся роли городских и земских деятелей, а также представителей других либеральных элементов общества в освободительном движении, мы, как представители труда, заявляем о своем полном антагонизме с либеральной буржуазией». Беру эту резолюцию как образчик. Много посыпалось тогда и других по тому же трафарету. Агитаторы социалистических партий ревностно работали над углублением и обострением этого раскола, как будто «старый порядок» был уже в прахе, как будто делить шкуру неубитого медведя значило проявлять политическую мудрость высшего сорта!

В октябре состоялись в Москве похороны кн. Сергея Николаевича Трубецкого. Талантливый философ, блестящий профессор и публицист, энергичный общественный деятель, он особенно прогремел на исходе самодержавного режима страстной защитой университетской автономии. И когда наконец автономия была признана властью, совет профессоров тотчас избрал Трубецкого ректором. Он умер внезапно от разрыва сердца во время обсуждения в министерстве вопросов, касавшихся университетской жизни. Его похороны превратились в грандиозную политическую демонстрацию. Громадная процессия провожала гроб от университетской церкви к Донскому монастырю. Студенты шли густою толпою, и студенческий хор пел попеременно то «Святый Боже», то «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Все Трубецкие были глубоко религиозны, и семья покойного несколько раз просила студентов не соединять церковных песнопений с революционными песнями. Но просьба семьи уважена не была. Политика властвовала над всем, и все должно было ей подчиняться. А когда уже по окончании погребения я вышел из ворот кладбища, передо мной предстала такая картина. На поле за кладбищенской оградой шел митинг рабочих. Множество рабочих внимало агитатору — социал-демократу, который надорванным хриплым голосом выкрикивал проклятия... не старому режиму, а вот этим

самым «буржуям», которые только что хоронили выборного ректора университета, ратовавшего за свободу и университетскую автономию. Поодаль стояли конные жандармы, внушительно вооруженные. И казалось, весь воздух был насыщен зловещим электричеством междоусобной классовой ненависти.

Разливавшееся по стране революционное настроение выражалось во все более острых эксцессах. Начались бунты в войске. В конце октября вспыхнули мятежи среди матросов и солдат в Кронштадте, разразился бунт запасных во Владивостоке, в Севастополе разыгрались такие сцены, словно начиналась открытая междоусобная война: взбунтовавшиеся суда на рейде со своих батарей обстреливали город и предприняли затем штыковую атаку береговых казарм. В Воронеже возмутился дисциплинарный батальон и, будучи осажден местным гарнизоном, перед сдачей сжег осажденное здание. В Киеве 17 ноября вспыхнул бунт многих военных частей и был подавлен с большим кровопролитием. В царстве Польском, в Прибалтийском крае было введено военное положение. Прибалтийский край был охвачен настоящей гражданской войной, и там были совершены многочисленные казни. В Варшаве, Риге, Либаве, Москве, на Кавказе — пошли расстрелы и другие репрессии.

А в то время как революционные смуты достигали все больших размеров, стала поднимать голову и черносотенная реакция, которая требовала восстановления старого порядка и отмены манифеста 17 октября. В Твери при самом обнародовании манифеста разразился черносотенный погром; толпа осадила земскую управу, подожгла здание и избивала спасавшихся оттуда служащих. В Томске согни людей погибли в огне. В Уфе, Харькове, Минске и многих городах черносотенные группы устроили грандиозные погромы, избивали и топили в воде людей. В Москве в противовес революционным процессиям была устроена процессия сторонников самодержавия, и этот день также ознаменовался кровопролитными столкновениями.

В этой взбудораженной раскаленной атмосфере земские конституционалисты продолжали свою борьбу за конституционные начала.

В ноябре состоялся новый съезд земских и городских деятелей. Он открылся 6 ноября в Москве. Любопытно отметить ту обстановку,

в которой он протекал. Ровно за год перед тем земцы приняли знаменитые «11 тезисов», собираясь по частным квартирам, и самое большее, чего они могли достигнуть, было обещание Святополка-Мирского смотреть на их собрания сквозь пальцы. А теперь съезд собрался публично, земства и города формально избрали на него своих представителей, польские политические партии прислали делегатов, так же как и области казачьих войск, Кавказ, Сибирь. Иностранные газеты откомандировали на съезд корреспондентов. Масса публики посещала заседания. А Витте прислушивался к постановлениям съезда и соразмерял с ними свои планы. Большое место уделено было на съезде польскому вопросу. Группа, возражавшая против идеи автономии Польши, осталась в решительном меньшинстве. Подавляющее большинство высказалось за польскую автономию, подчеркивая, что автономия не имеет ничего общего с отделением Польши от России, а, напротив того, должна скрепить единство империи. А так как введение в Польше военного положения было мотивировано обнаруженными там автономическими течениями, то съезд высказался за отмену там военного положения, и Витте в скором времени это указание съезда осуществил: военное положение было снято. Гвоздь съезда состоял в определении общей политической позиции земцев-конституционалистов. Съезд высказался за поддержку кабинета Витте, поскольку он будет стоять на почве конституционных начал. Предложение высказаться за созыв Учредительного собрания было отклонено значительным большинством голосов (137 против 80), и этим была проведена грань налево. Но в то же время съезд высказался (204 голоса против 23) за предоставление Государственной думе учредительных функций в виде выработки Думою новой конституции на основе всеобщего избирательного права. Комитет социал-демократической партии выступил против этого съезда с резолюцией о том, что единственным выходом из положения должно быть свержение существующего правительства посредством вооруженного восстания и затем созыв Учредительного собрания с целью установления демократической республики и удовлетворения всех требований пролетариата. В ближайшее время действительно были сделаны попытки революционного переворота. В начале ноября конспиративная организация объявила вторую

всеобщую забастовку. Она потерпела совершенную неудачу. Население не обнаружило желаний примкнуть к этому призыву. Эта попытка была просто-напросто политически безвкусна. Инициаторы ее не понимали, что весь успех октябрьской забастовки состоял в том, что она вылилась стихийно из общего напряженного настроения и что такие эксперименты нельзя повторять ежемесячно по произволу никому не ведомых вождей. Были впоследствии и другие попытки такого же рода. 8 декабря появилось общее воззвание от совета рабочих депутатов С.-Петербурга, от партийных комитетов с.-д., с.-р. и еврейского бунда о новой всеобщей забастовке впредь до созыва Учредительного собрания. И это воззвание повисло в воздухе без всяких практических последствий. Затем в декабре же 1905 г. в Москве произошло нечто вроде вооруженного восстания. В течение некоторого времени на митингах, на концертах, на лекциях открыто производились сборы пожертвований на вооруженное восстание. Помню один концерт, на котором выступал Шаляпин. После его пения на эстраде появился Тан и сообщил публике, что «его величество народ желает заявить свою волю с оружием в руках, и Федор Иванович сейчас сделает нам честь, обойдет публику для сбора пожертвований на восстание». Происходило это в частной гимназии Фидлера, в которой был устроен один из операционных пунктов восстания, и училище было разгромлено из артиллерийских орудий. Декабрьское восстание в Москве было предпринято чрезвычайно легкомысленно; воздвигнуты были баррикады в некоторых переулках; какие-то люди рубили телеграфные столбы; была стрельба; это тянулось около недели, но с самого начала было очевидно, что восстание нисколько не подготовлено и лишь предоставляет правительству удобный и легкий случай проявить свою победоносную силу. В Москву был прислан из Петербурга Семеновский полк (командир его Мин был вскоре за тем убит революционерами; то была месть за подавление восстания), и против восстания были приняты самые суровые меры. Наиболее сильное сопротивление было оказано в рабочем Пресненском районе, и «Пресня» была подвергнута полному опустошению. Это быстрое подавление восстания укрепило положение власти, что немедленно отразилось в ряде фактов. Гораздо серьезнее было положение дел в Прибалтийском

крае. Там, в сущности, началась борьба латышских крестьян против немецких баронов, властвовавших в крае при поддержке петербургского правительства. Восставшие провозгласили Латышскую республику. Правительство двинуло туда военные силы и назначило временного генерал-губернатора. Военные репрессии были там применены с большой жестокостью, и внешнее водворение порядка сопровождалось скоплением глухой, подавленной злобы в местном населении, что и дало себя знать позднее, при ином сочетании условий и обстоятельств.

В этой разгоряченной, взбудораженной атмосфере 5 — 11 января 1906 г. состоялся в Петербурге второй съезд конституционно-демократической партии. Я поехал на этот съезд, принял участие в его дебатах и был избран в члены центрального комитета партии, каковым и продолжал затем состоять вплоть до того момента, когда центральный комитет в своей значительной части эмигрировал после большевистского переворота за черту досягаемости большевистской власти, а я был одним из немногих оставшихся на месте и обрекший себя тем самым на частые и продолжительные тюремные заключения, постоянные обыски и ежеминутную опасность внезапно быть «выведенным в расход».

Второй съезд к.-д. партии имел большое значение для партии. Учредительный октябрьский съезд происходил впопыхах при ненормальной обстановке всеобщей забастовки. Очень многие лица, и среди них некоторые очень видные участники политического движения, приведшего к учреждению к.-д. партии, совсем не могли попасть в Москву из-за забастовки и не приняли участия в учредительном съезде. Теперь, накануне выборов в Государственную думу, необходимо было окончательно закрепить постановления учредительного съезда и определить предстоящую линию политического поведения. Этот съезд был очень многочислен. Зала Тенишевского училища была переполнена делегатами и публикой.

Перед центральным комитетом стояла нелегкая задача. Тотчас после образования к.-д. партии число ее членов быстро стало разрастаться, и стало ясно, что это будет многочисленнейшая и авторитетнейшая партия, которой предстоит важная роль в политической

жизни страны. В сущности, в к.-д. партию хлынула вся та часть русской интеллигенции, которая не примыкала ни к реакционерам и к охранителям, ни к сторонникам социальной революции в смысле немедленного переустройства общества на социалистических началах. Но ведь в этих пределах открывалась возможность чрезвычайно широкого разнообразия мнений, настроений и политических темпераментов. Это обуславливало сильный численный рост партии; но это же и создавало опасность разногласия в среде самой партии. И противники партии и справа и слева с самого же начала стали предсказывать, что партия не выживет и что она обречена на раскол, на распадение на куски. Такие предсказания возобновлялись перед каждым съездом к.-д. партии, и ни разу действительность их не оправдала. Чем можно объяснить это явление? Искусственным составлением компромиссных формул? Конечно, такое объяснение было бы слишком поверхностным. Нельзя не признать, что П.Н.Милуков, обыкновенно выступавший на партийных съездах с основным тактическим докладом, обнаруживал чрезвычайно искусство по части изобретения таких формулировок, в которые удобно укладывались разнообразнейшие оттенки мнений. Но: 1) сглаживать и примирять разноречия можно вообще только до известного предела, поскольку эти разноречия все же не колеблют некоего основного общего принципа, в котором и заключается существо дела; 2) для успеха примирительных формул все же необходимо наличие внутреннего желания спорящих прийти к соглашению. И если, несмотря на пестроту и социального состава, и политических настроений, отличавшую партию к.-д., предсказания о неминуемом расколе не подтверждались, это, конечно, зависело всего более от того, что в основе всей жизни и деятельности партии лежали некоторые идеи, имевшие высшую ценность для всех, кто объединялся под ее знаменем. Мне думается, что таких основных идей было две: 1) правильный общественный порядок, могущий обеспечить нормальное развитие духовных и материальных сил страны, должен основываться на сочетании политической свободы с установлением социальной справедливости мерами государственного воздействия. Именно идея неразрывного сочетания того и другого была характерна для того течения общественной мысли, которое воплотилось в партии к.-д. Либералы

манчестерского типа, как известно, в принудительных социальных реформах усматривали насилие над свободой. И именно такие тенденции сказывались в конституционных партиях, стоявших правее к.-д., - как, напр., партия торгово-промышленная и Союз 17 октября, — которые хотели конституции с сохранением незыблемости социальных привилегий имущих классов. Партия к.-д. в противоположность тому выдвигала требование глубоких и решительных демократических социальных реформ, не останавливаясь перед принудительным отчуждением потребной для таких реформ части имущественных благ состоятельных классов. С другой стороны, в социалистических кругах русского общества долгое время господствовало предубеждение против конституционного строя, как против «господской затеи», могущей только укреплять властное положение состоятельных классов и пригнетение классов неимущих. Это течение в политической свободе видело опасность для социальной справедливости и полагало возможным достигать последней диктаторскими приемами. Эти первоначальные народнические иллюзии, правда, с течением времени отступили на задний план, и неонародники от них уже отказывались, признавая все значения политической свободы в ходе борьбы за народное счастье. Но все же отголоски этих былых иллюзий в той или иной форме сказывались подчас в известных кругах интеллигенции. Партия к.-д. порывала с такими отголосками решительно и целиком. Только на почве закономерной свободы считала она возможным здоровое и плодотворное усовершенствование социальных отношений на началах социальной справедливости. И вместе с тем политическая свобода являлась для нее и сама по себе великим благом, удовлетворяющим стремления, глубоко заложенные в природе человеческого духа. По всем этим причинам достижение подлинного конституционного строя ставилось этой партией во главу угла политической работы. Отсюда вытекала и другая основная идея представленного этой партией течения: не отрицая необходимости и неизбежности революционных методов борьбы в исключительные моменты политической жизни, партия всегда считала более предпочтительным путь закономерной эволюции. И это предпочтение проистекало из той идеи, что способы и приемы борьбы за известные идеалы сами по своему существу не

должны этим идеалам противоречить, но должны представлять собою своего рода школу, воспитывающую людей в духе этих самых идеалов. Вот почему и вооруженное восстание, и установление всяких деспотических диктатур не вызывали сами по себе никакого энтузиазма в людях этого умонастроения, и раз появилась в виде Государственной думы арена для закономерной борьбы за свои идеалы, — работа на этой арене признавалась этой партией предпочтительной пред всякими революционными эксцессами, покуда не были бы исчерпаны все способы закономерного характера. Вот почему партия к.-д. не сочувствовала ни идее бойкота выборов в Государственную думу, ни повторным попыткам произвести всеобщую забастовку, ни планам вооруженного восстания.

Такова была совокупность идей, к которой всегда была обращена стрелка на политическом компасе к.-д. партии. И это именно обстоятельство создавало возможность достигать согласительных решений при внутривнутрипартийных спорах. Тем не менее такие споры всегда существовали, ибо в указанных пределах были возможны многообразные оттенки. И, конечно, именно на первых порах, в начале существования партии приходилось применять особые усилия для закрепления известной средней, равнодействующей линии, на которую можно бы нанизать отклонения в сторону крайностей направо или налево. В этом отношении II съезд и являлся первым, а потому и особенно важным пробным камнем.

Основное значение съезда состояло в том, что на нем руководителям партии удалось свести некоторые пылкие крайние увлечения, прорывавшиеся на съезде, к более осторожным положениям, диктуемым реальной политикой текущего момента. Это касалось и программы, и тактики. Первоначальный текст программы, принятый на октябрьском съезде, совершенно умалчивал о форме правления. Объяснялось это тем, что партия никогда не придавала выбору формы правления принципиального значения. Для правых партий монархия являлась священным устоем. Для левых — республика служила одним из членов политического символа веры. Для партии к.-д. выбор между тем и другим был не вопросом принципа, а вопросом целесообразности, лишь бы были утверждены конституционно-

демократические начала. Однако надо было определить, какую же из этих двух форм надлежит признать практически осуществимой при наличном сочетании жизненных условий. И вот II съезд и признал, что требование установления республики не может быть введено в данное время в число задач практической политики. И в программу было введено, что Россия должна быть конституционной парламентарной монархией. Эго вовсе не исключало возможности участия в партии лиц, исповедующих республиканский идеал. Эго только означало, что партия смотрит на свою программу не как на собрание идеальных норм, а как на систему практически осуществимых в данное время положений. Соответственно той же тенденции требованию созыва Учредительного собрания с всею полнотою власти, выдвигавшемуся крайними левыми партиями, съезд противопоставил требование предоставления Государственной думе учредительных функций в смысле составления «основного закона».

По этим вопросам соглашение было достигнуто без особых затруднений. Зато — большая разногласица развернулась по аграрному вопросу. Ряд делегатов высказывался за полную национализацию земли. Другие, признавая необходимым сохранение частной собственности на землю, шли в ограничении ее гораздо дальше первоначальной редакции партийной программы. Тут сказалось то обстоятельство, что в партию — в особенности в провинции — вошло немало людей, которые в прошлом были довольно тесно связаны с социалистическими народническими кругами и, отделившись от этих кругов по чисто политическим вопросам, продолжали исповедовать их идеологию в области вопросов социальных. В основном партия осталась при той аграрной программе, которая была выработана комиссией экономистов — Чупровым, Герценштейном, Мануйловым, Кауфманом — и земских деятелей — Петрункевичем, Якушкиным, Черненковым, Мухановым и др. То был проект широкой аграрной реформы на основе образования государственного земельного фонда при помощи принудительного отчуждения части частновладельческих земель за законенное вознаграждение. Но возникшие на съезде продолжительные дебаты вызвали необходимость уточнить ряд вопросов, и съезд кончил избранием особой комиссии для дальнейшей разработки этой части программы.

Еще острее проявились на съезде отзвуки крайних левых течений в вопросах тактики: многие провинциалы явились в Петербург на съезд, разгоряченные живыми впечатлениями от суровых репрессий, которыми местная власть начала отвечать на революционные эксцессы. В самом деле, Россия представляла собою в тот момент картину, всего менее обещающую возможность правильной предвыборной кампании и правильных выборов. В 41 губернии — или по всей губернии, или в части — применялось военное положение, в 27 губерниях действовала усиленная охрана и в 15-ти чрезвычайная. «Как же приступить к выборам?» — спрашивали ораторы из провинциалов, и одни стояли за бойкот Государственной думы, другие за невозможность приступить в Думе к органической законодательной работе, пока не будет введено всеобщее избирательное право и т.п. Вот тут потребовалось стилистическое искусство, с помощью которого в конце концов, под покровом осторожных и не режущих радикальное ухо выражений, были-таки проведены постановления, оставлявшие будущим членам Думы от партии к.-д. полный простор для законодательной работы.

Съезд надо было скорее кончать: в стране уже начиналась настоящая избирательная кампания.

Февраль и март 1906 г. прошли для меня как в чаду. Пришлось расплачиваться за ораторский успех, одержанный мною в рабочем театре при объяснении манифеста. Московский комитет включил меня в число ораторов, которые должны были пропагандировать партию на митингах. А митинги происходили почти ежедневно! Ах, что это была за зима! Конечно, на все мои научные кабинетные и архивные занятия пришлось махнуть рукой. Докторская диссертация должна была терпеливо подождать очереди. Ежедневно председатель ораторской комиссии Н.М.Кишкин составлял расписание митингов и распределял по ним ораторов. Митинги устраивались во всех частях Москвы и всегда привлекали многочисленную публику из самых разнообразных слоев населения. Интерес к избирательной кампании был очень велик, и, несомненно, эта зима сильно прояснила политическое самосознание московского обывателя и расширила его горизонты. Мы разъясняли программу нашей партии, и многое там было

ново для малоинтеллигентной обывательской массы; порою доклад превращался в целую лекцию по государственному или финансовому праву или по вопросам народного хозяйства. Затем после доклада происходили дебаты. Крайне правые и октябристы совсем не выступали с возражениями на наши доклады. Они предпочитали устраивать собрания в своем кругу, в присутствии лишь единомышленников, и не обнаруживали охоты публично отстаивать свои положения. Чрезвычайно редко выступали на московских митингах и эсеры, внимание которых было устремлено не на города, особенно столичные, а на деревню. И вот на нашу долю выпадало сражаться на митингах почти только с социал-демократами. Однако из среды социал-демократов лишь очень редко выступали сколько-нибудь серьезные ораторы. Помнится, пришлось мне один раз диспутировать с моим коллегой по университету Рожковым и один раз с М. Покровским. В виде же общего правила выходила либо совсем зеленая молодежь, либо профессиональные малоинтеллигентные агитаторы, всегда с зажатой в руке шпалгалкой, с заученными интонациями все одних и тех же шаблонных фраз. Помню, как-то раз возражал мне один такой горе-оратор. Он стоял на эстраде совсем рядом со мной, и, когда он начал слишком уже бесцеремонно перевирать факты, я сказал ему тихо: «Послушайте, вы же ведь врете», — он вдруг оторопевшим и умоляющим голосом зашептал: «Ради Бога, ради Бога, не прерывайте меня, у меня все в голове смешается». В громадном большинстве случаев речи этих ораторов содержали в себе грубейшую демагогию и довольно-таки надоедали публике своим однообразием. Всего интереснее бы вал о на этих митингах, когда выступал кто-нибудь из среды серой публики и начинал импровизировать. Бывало это редко, по обыкновению вносило в дебаты неожиданные красочные подробности. Помню, как однажды после моего доклада один мелкий лавочник заявил буквально следующее: «Что вы там, профессор, ни говорите, а я, как фактический гражданин, хочу быть господином своего произвола».

Громадный успех в Москве на этих митингах имели блестящие ораторские выступления Кокошкина и Маклакова. Когда Кокошкин начинал говорить, слушающий его впервые человек сначала недоумевал, на чем основывается слава этого оратора: его произношение

было очень нечисто, он не выговаривал шипящих звуков, которые выходили у него как свистящие; его голос был однообразно криклив, лишен приятных модуляций. А между тем через две-три минуты слушатель уже был в плену у оратора, весь уходил в слух, с наслаждением следил за тем, как развертывалась богатая доводами речь оратора. Кокошкин не ошеломлял слушателя изысканными ораторскими эффектами или взрывами страстного темперамента. Но он очаровывал остроумной аргументацией, настолько ясной и убедительной, что слушателю начинало казаться, что оратор воспроизводит его собственные давнишние мысли, только облекая их в удивительно искусную по убедительности форму. И слушатель был в восторге и чувствовал какое-то личное влечение и личную духовную близость к этому оратору. Это умение довести до предельной прозрачной ясности излагаемую мысль и обставить ее всесторонними доводами и составляло тайну ораторского успеха Кокошкина. Слушателю, к его великому удовольствию, казалось, что ему поданы в мастерской форме его собственные мысли, а между тем на самом деле в основе в высшей степени популярных докладов Кокошкина всегда лежала мысль очень сложная, требующая для ее восприятия серьезного умственного взлета. И слушатель, в сущности, проделывал, следя за оратором, серьезную умственную работу, но только благодаря умелому руководству оратора эти умственные усилия казались слушателю приятнейшим духовным возбуждением. Кокошкин умел как никто дать почувствовать аудитории художественную красоту логической ясности мысли. Посудите же, каким драгоценным руководителем являлся Кокошкин, вводя внимавших ему обывателей в лабиринт сложных политических вопросов, о существовании которых они еще незадолго перед тем даже и не подозревали. Вместе с тем Кокошкин был блестящим полемистом. Легко уловив ахиллесову пяту в рассуждениях противника, он немедленно подавлял его богатым обилием доводов, которые свободно и непринужденно вытекали из, казалось, совершенно неисчерпаемых запасов остроумных соображений, имевшихся наготове в его уме. Слушая полемические речи Кокошкина на заседании земского съезда, один англичанин, выдавший виды по этой части, недаром с восторгом воскликнул: «Вот — настоящий дебатер!»

Такой же обаятельной логической ясностью блестели речи В.А. Маклакова. Особенностью его ораторского дарования является необыкновенная простота интонации и манеры речи. Перед тысячной аудиторией он говорит совершенно так, как будто он говорит перед пятью-шестью приятелями в небольшом кабинете. Ни малейшего налета аффектации. Он особенно силен в освящении органической связи юридической стороны обсуждаемого вопроса с его бытовой жизненной стороной. А как полемист он более всего берет тем, что всегда с благородной предупредительностью отдает должное всем выгодным сторонам в положении своего противника, не умаляя, а великодушно подчеркивая их. Разумеется, это затем только усиливает значение его дальнейших метких наладок на слабые стороны противника.

Кокошкин и Маклаков своими выступлениями на митингах добивались каждый раз двойного результата: они просвещали несведущих и доставляли истинное наслаждение знатокам.

Многими ступенями ниже на лестнице политического красноречия стоял Мандельштам. Это был оратор размашистых, сусальных эффектов. Порою они были очень красивы, эти эффекты. Но они были рассчитаны на средний вкус толпы. Конечно, на митингах в этом и состояла их сила. Мандельштам мог «перекричать» кого угодно не только силою голоса, но и смелой развязностью эффектных оборотов. А ведь на митингах часто побеждает именно шум — и физический и духовный. В самом начале митинговой кампании был устроен митинг, на который собралась самая низкопробная в интеллектуальном отношении публика. Маклаков рассыпал перед ней свой бисер. Но тотчас выступили очень топорные социал-демократические демагоги и совсем забили Маклакова, напирая все на то, что только социал-демократы по-настоящему страдали за народ при старом режиме. И вот тогда-то поднялся во весь свой рост Мандельштам. Громовым голосом он начал докладывать публике, что он чуть не всю жизнь не выходил из тюрем, погибал в Сибири и т.д. и даст каждому социал-демократу вперед несколько очков в этом отношении. Восторг публики был неопиcуемый и эсдеки были посрамлены. Я нарочно взял для примера столь противоположные фигуры. О

других московских митинговых ораторах нашей партии говорить уже не буду, их было немало, и потребовалось бы много страниц для характеристики всех. Ораторские силы партии были очень богаты. И велики были их митинговые триумфы. Вот что считаю нужным только отметить. Как ни привычно убеждение в том, что митинговая толпа в общем более падка на грубые эффекты, нежели на тонкую и содержательную мысль, я считаю такое убеждение ошибочным. Конечно, толпа требует ясного, отчетливого, образно-красивого слова; требует от оратора остроумия и находчивости; митинговую речь нельзя строить как журнальную статью; митинговая речь должна действовать на настроение, ударять по сердцам. Но все же для настоящего, глубокого, а не эфемерного успеха необходимо, чтобы за всем этим стояло серьезное содержание и действительная убежденность. Одними ораторскими фиоритурами толпы покорить нельзя. Красивым фразам всегда будут аплодировать, но если все только фразой и ограничено, то, отхлопав ладоши, слушатели все же сейчас же «перейдут к очередным делам», и дело с концом. Вот почему ораторы типа Кокошкина и Маклакова властвовали над толпой в гораздо большей степени, нежели сусальные краснобаи.

Выступая на митингах в Москве, я должен был также предпринимать поездки и по провинциальным городам. Одну продолжительную поездку сделал я вместе с Павлом Дмитриевичем Долгоруковым. В 90-х годах читал я по провинции научные лекции. Теперь мне приходилось вести политические дискуссии. Как не похоже было теперь состояние провинциального общества на ту картину, что развертывалась передо мной за несколько лет перед тем! Теперь русскую провинцию нельзя было узнать. Исчезла эта вялая монотонность, на фоне которой популярная лекция приезжего лектора уже являлась целым событием. Теперь и здесь бурлила жизнь, хотя нажим администрации чувствовался в провинции гораздо сильнее, нежели в столицах.

На провинциальных митингах одно различие сравнительно со столичными сразу бросалось в глаза. В Москве, как я уже говорил, правые и октябристы совсем не посылали своих ораторов на междупартийные митинги и полемика шла почти исключительно между

к.-д. и с.-д. В провинции было иначе. Там во многих городах социалистические ораторы боялись раскрыть рот. В Тамбове, куда мы с Долгоруковым приехали на митинг, перед началом прений по моему докладу нам подали записку, в которой было написано, что с. р. и с.-д. не могут участвовать в прениях по полицейским условиям. И тут пришлось полемизировать с двумя октябристами и одним представителем «партии правового порядка», — несмотря на громко-либеральное название, то была партия чиновников очень охранительного направления. В Рязани произошел курьезный случай. Когда я кончил свой доклад и перед прениями был устроен антракт, ко мне в лекторскую комнату явился молодой человек, почти юноша, довольно унылого вида, и обратился ко мне с такими словами: «Я социал-демократ; моя партия откомандировала меня возражать вам; но у нас такие суровые репрессии, что я, право, не знаю, что я мог бы говорить, не подвергаясь опасности. Скажите мне, пожалуйста, что бы такое я мог возразить вам без особого риска для себя». — «Я, право, не знаю, что посоветовать вам, — отвечал я, — ведь я не знаю ваших местных условий. У нас в Москве социал-демократы на митингах прямо требуют Учредительного собрания и республики. Очевидно, вы здесь на это не решаетесь. В таком случае критикуйте нашу экономическую программу; вероятно, это будет безопаснее». — «Ах, скажите, пожалуйста, — оживился мой молодой человек, — что вам в Москве возражают социал-демократы по экономическим вопросам?» Мой собеседник начал забавлять меня. Я добросовестно изложил ему обычные нападки с.-д. на нашу экономическую программу. Он слушал жадно и, поблагодарив меня, удалился. А когда заседание возобновилось, он попросил слова и с апломбом приподнес мне все то, что я ему только что изложил. Я был настолько великодушен, что не выдал его тайны, но, конечно, вслед за тем позволил себе по косточкам разобрать его возражения.

Впрочем, не везде социалисты безмолвствовали. Я даже подозреваю, что и в Тамбове они просто струхнули перед столичным оратором и спрятались за ссылку на репрессии. А когда я приехал в Орел, где состоялся многолюдный митинг, обширная зала дворянского собрания была переполнена, — то там пришлось отстреливаться на два фронта — от октябристов и от с.-р.

Чем ближе время подходило к выборам, тем сильнее разгоралась предвыборная кампания. Март прошел уже прямо в каком-то вихре. Митинги происходили ежедневно. 20 марта в Петербурге к.-д. партия одержала блестящую победу: все 160 выборщиков по Петербургу оказались к.-д., что предreshало и выбор в члены Думы кандидатов этой партии. Через неделю предстояли выборы по Москве. Крайне левые партии бойкотировали выборы и не выставляли своих кандидатов, их ораторы выступали на митингах только для пропаганды своих взглядов. Итак, конкуренция предстояла лишь справа. Но октябристы на наши митинги не шли. Оставалось нам пойти к ним.

Накануне московских выборов приехавший из Петербурга Милюков и я явились на октябристское собрание и произвели-таки там порядочное смятение. День выборов прошел в Москве чрезвычайно оживленно. Избиратели шли к урнам густо. Все были в приподнятом, одушевленном настроении. Были трогательные эпизоды. Один больной генерал велел на носилках нести себя к урне, чтобы подать свой бюллетень. Была такая сцена. Приходит в вестибюль городской думы пожилой господин. Кучка подростков бросается к нему, предлагая партийные бюллетени. «Да неужто вы думаете, — говорит он, — что у меня еще не приготовлен свой бюллетень? Ведь я всю жизнь мечтал об этом дне, мечтал дожить до него». Таково было настроение многих. По приглашению избирательной комиссии я в этот день дежурил у урны. И я видел, в каком торжественном настроении подходили многие к урне, чтобы исполнить свой гражданский долг. Смотря на эту картину, можно было понять, что призыв к бойкоту выборов не имел никаких шансов на успех в широких общественных кругах.

На следующий день подсчет бюллетеней показал, что московские выборы явились для партии к.-д. точным повторением петербургской победы. И по всей России успех к.-д. был огромный. Цвет этой партии, все почти ее лидеры прошли в Думу. Милюков не вошел в состав Думы, конечно, только потому, что администрация устранила его от участия в выборах, придравшись к какой-то формальности.

К 22 апреля по подсчету комитета к.-д. партии из 302 избранных членов Государственной думы 199 (около 66 %) принадлежали к партии к.-д.

Ввиду такого результата важное политическое значение получал III съезд к.-д. партии, собравшийся в Петербурге перед самым открытием Государственной думы. Этот съезд заседал 21–25 апреля. Конечно, главной задачей съезда было определить основную линию поведения к.-д. в Государственной думе. С крайнего левого фланга общественности неслись настоятельные требования, чтобы Госуд. дума, не приступая к законодательной работе, сразу поставила правительству ультиматум немедленно созвать Учредительное собрание по всеобщему голосованию и предоставить этому собранию определение нового государственного строя. Иначе говоря, члены Думы призывались к чисто революционному акту, который мог бы иметь реальное значение только в том случае, если бы у населения были желание и возможность поддержать этот акт вооруженной силой. Крайне левые группы не считали и нужным доказывать, что страна готова к дальнейшей революционной борьбе, это признавалось самоочевидным, тогда как в этом-то и заключалась вся сущность вопроса. Как же выскажется по этому вопросу партия, которой, по всей видимости, предстояло занять в Думе руководящее положение? Ответить на это должны были постановления съезда, и вот почему этих постановлений ожидали как важного и ответственного политического шага. Резкое воинственное настроение чувствовалось на съезде, в особенности среди провинциальных членов, которые явились на съезд в очень повышенном настроении и под влиянием только что одержанных блестящих успехов на выборах, и под влиянием усиленной агитации со стороны крайних левых, и вследствие недостаточной осведомленности о действительном положении дел в данный момент. А действительное положение состояло в том, что правительственная власть чувствовала себя гораздо более укрепленной, нежели за несколько месяцев до того. Эвакуация театра бывшей войны продвинулась уже настолько, что власть не чувствовала более недостатка в войске; а кроме того, Витте перед своей отставкой сумел заключить заем, который развязывал правительству руки и ставил его в независимое положение от будущей Государственной думы на

случай, если бы она встала на революционный путь. Сознание укрепленности своего положения правительство и проявило очень явственно: тотчас по открытии съезда к.д. были обнародованы Основные законы, право изменения которых было объявлено исключительной прерогативой монарха. Таким путем сразу значительно сужались права народного представительства. Этот акт вызвал большое волнение в обществе. С одной стороны, он обострял раздражение и тем усиливал революционное настроение; с другой — он указывал на то, что власть уже освободилась от растерянности, вызванной событиями за полгода перед тем, и что одними революционными настроениями без опоры в реальной силе уже нельзя было бы принудить ее к дальнейшим уступкам. Все это могло только укрепить центральный комитет к.-д. партии в сознании необходимости противопоставить нервическим эксцессам революционного радикализма ту позицию, которая вытекала из самой природы политического направления, лежавшего в основе к.-д. партии. Прения по основной тактической резолюции были продолжительны и напряженны. В конце концов была принята резолюция, которая и предопределила и линию поведения к.-д. фракции в I Государственной думе, и все те зрения и конфликты, которые там возникали между к.д. и более левыми фракциями¹⁶. Сущность этой резолюции состояла в том, что съезд уполномочивал к.-д. фракцию Думы вести деловую законодательную работу в духе программы партии и смотреть как на лучший план действий в Думе именно на внесение и обсуждение соответственных законопроектов. Поэтому фракция уполномочивалась не останавливаться перед возможностью прямого разрыва с правительством, если повод к тому будет дан правительством и вся вина и ответственность за разрыв падет на него. Итак, возможность

16 Никак не надо упускать из виду, что, вопреки довольно распространенному мнению, к д. вовсе не являлись в I Государственной думе, что называется, хозяевами положения. Первая Дума двигалась по некоей равнодействующей линии между к.д. и довольно многочисленной группой "трудовиков", к которой по некоторым вопросам примыкала и небольшая группа социал-демократов.

разрыва с правительством предусматривалась, и это означало, что партия ради избежания разрыва во что бы то ни стало не собиралась поступаться своими программными положениями. Но партия не желала также сама вызывать разрыв какими-либо демонстративными ультиматумами, не вытекающими из существа ее программы и ее задач. Она хотела показать стране, что ее цель — строить благо народа путем закономерной законодательной работы, и если власть сама эту работу прервет или поставит ей непреодолимые преграды, то населению будет ясно, кто является врагом преуспевания народной жизни. Словом, этой резолюцией Государственной думе преподносилась задача бороться за благо народа, настаивая на проведении законодательных мер, вполне осуществимых, не фантастических, но глубоко видоизменяющих существующий порядок в духе демократических начал. И в этом-то решении коренились будущие трения в Государственной думе между к.д. и теми депутатами, которые заняли положение лидеров «трудовиков» и которые стремились побудить Думу к демонстративным шагам и решениям, могшим ускорить разрыв с властью по почину самой Думы. То были — Аникин, тип деревенского агитатора, способного вызывать наружу стихийные народные страсти, и Аладьин, бывший на эффект краснобай, в то время разыгрывавший роль первого тенора радикальной оппозиции, а впоследствии превратившийся в публициста «Нового времени».

Впрочем, трения между к.д. и «трудовиками» начались несколько позднее. Первые шаги Гос. думы — выбор президиума и вотирование ответного адреса на тронную речь — прошли еще в атмосфере солидарности. Помню частное собрание, которое было устроено накануне Думы в политическом клубе к.д. вместе с крестьянскими депутатами. Задачей собрания было обеспечить согласный выбор президиума и согласное принятие адреса. Эта задача была разрешена как нельзя более успешно. Винавер прочитал проект адреса, уже ранее обсужденный в центральном комитете к. д., и дал подробные популярные объяснения всех его частей. Потом вышел Муромцев, — всем уже было известно, что он выставляется кандидатом на пост председателя Думы, — и обстоятельно объяснил порядок думских заседаний и думской работы. Он очень понравился крестьянам и своей внушительной осанкой, и деловитой ясностью своей речи. Не

сомневаюсь, что именно в этот вечер предрешился почти единогласный выбор Муромцева в председатели Думы; он был избран 425 голосами из 431-го, всего только шести голосов недоставало до единогласия! Идя с этого собрания домой, я слышал, как в кучке крестьянских депутатов на улице раздавались возгласы: «Что за речи, слаще меда!» Впоследствии, как я уже сказал, в Думе происходили трения между к.д. и группой трудовиков и по законодательным, а главное — по тактическим вопросам. Впрочем, факты показывают, что, несмотря на эти трения, крестьянским депутатам нередко деловитая точка зрения к.д. была более по сердцу, нежели опрометчивые резкости их собственных лидеров. Так, например, в самом жгучем для крестьян земельном вопросе наибольшее их доверие завоевал к.д. Герценштейн. Это выразилось очень эффектно в том заседании, в котором Стишинский и Гурко изложили правительственные виды по земельному вопросу. Тогда из среды крестьянских депутатов раздались возгласы: «Пусть говорит Герценштейн!» Не Аладьину и не Аникину поспешили тогда крестьяне доверить защиту своих интересов, а Герценштейну — кадетскому депутату от города Москвы. Напомню также, что незадолго до роспуска первой Думы значительная группа крестьянских депутатов вышла из фракции «трудовиков» и примкнула к фракции к. д. 23 апреля Витте неожиданно для всех, в том числе и для членов своего кабинета, оставил пост главы правительства и был заменен Горемыкиным. 27 апреля состоялось открытие первой Государственной думы.

Глава VIII. В конституционной России

I

От Зимнего дворца, где члены Думы выслушали тронную речь, они частью на пароходе по Неве, частью в экипажах направились в Таврический дворец. Я ходил по улицам и видел густые шпалеры народа на всем пути следования депутатов. Громовые приветственные клики оглашали воздух, и все чаще выделялись из этих кликов возгласы: «Амнистия, амнистия!» Это и побудило членов Думы устроить так, чтобы первая речь в первом русском парламенте была посвящена призыву к амнистии. Лишь только состоялись выборы председателя Думы, избранный Муромцев, прежде чем поблагодарить Думу за избрание, предоставил слово И.И.Петрункевичу, и тот, взойдя на трибуну, произнес речь о том, что с амнистии должно быть начато существование нового политического строя. А уже после этого Муромцев сказал свою председательскую речь с упоминанием о конституционном монархе. Муромцев рассказывал, что ему уже по обнаружении манифеста 17 октября случилось присутствовать на одном совещании сановников, где речь шла о новом порядке управления, предрешенном этим манифестом, и все говорившие тщательно избегали слова «конституция». «В этот же вечер, — рассказывал Муромцев, — я решил твердо, если буду избран в председатели Государственной думы, непременно в первой же своей речи заявить, что Россия стала конституционной монархией».

Да, слова боялись. Его боялись еще и много позже. Ведь еще в III Государственной думе при обсуждении адреса октябристы, уступая, побоялись оставить в тексте адреса это «опасное» слово, хотя в речах и заявляли себя сторонниками конституционного строя...

Я присутствовал на втором заседании Думы. Как прекрасен был вид стильной залы Потемкинского дворца, превращенный в амфитеатр! Дума еще не приступила к политической работе. Покуда совершались еще только вступительные обряды — выбирали членов президиума, — и Муромцев во фраке, торжественный и величествен-

ный, председательство вал так импозантно, что один крестьянский депутат сказал умиленно: «Словно обедню служит». Однако к концу вечернего заседания по зале уже пронеслось веяние предстоящих бурь. Родичев в эффектной речи предложил избрать комиссию для составления проекта ответного адреса на тронную речь. Это предложение, конечно, было принято единогласно. Но вслед за тем возник вопрос — как же быть с амнистией? Как ее добиваться? Ораторы с левого крыла стали говорить, что внести этот вопрос в адрес недостаточно, ибо амнистия нужна немедленно, иначе — прольется кровь. Они предлагали, чтобы Дума послала к государю депутацию для указания на необходимость амнистии. Конечно, это был бы шаг, могущий вызвать острые осложнения. На следующий день это требование было возобновлено и повело к неприятным прениям. Однако в конце концов трудовая группа присоединилась к фракции к.д. и также подала голоса за то, чтобы вопрос об амнистии не был отделен от адреса. Пока это была лишь легкая тучка, быстро промелькнувшая. Но она предвещала в будущем более серьезные осложнения.

В самом начале мая я вернулся в Москву. Там меня ожидали разные дела: надо было работать в партийном комитете московском городском и в комитете своего района; надо было подвинуть архивные занятия, запущенные за время предвыборной кампании. Кроме того, я, оставив работу в «Русской мысли», стал отдавать много времени сотрудничеству в «Русских ведомостях», к которому меня привлек еще зимой этого года Иоллос.

Из Берлина, откуда Иоллос в течение ряда лет присылал в «Русские ведомости» свои талантливейшие корреспонденции, имевшие громадный успех у читателей, он в 1905 г. переехал в Москву и занял место другого редактора «Русских ведомостей» при Соболевском. Соболевский старел, совсем оглох, и нужно было облегчить его работу. Этот старик производил чарующее впечатление. Он был джентльменом в истинном значении этого слова. Самая фигура его, рослая, красивая, дышала утонченным благородством. И в деле руководства газетой он проявлял строжайшую щепетильность, проникнутую сознанием великой моральной ответственности за

каждый шаг публициста. Общаясь с ним, вы чувствовали в нем «барина», но то была та благородная барственность, которая состоит в умении сочетать высокое сознание собственного достоинства с неподдельным уважением к каждой чужой личности. Оттого с ним было так приятно и так легко: приятно было ощущать атмосферу тонкой культурности, которая от него исходила, и легко было вести с ним беседу, чувствуя полную возможность и непринужденно высказывать ему свои мысли и чувства, будучи уверенным, что он ко всему отнесется без всякой фальши, с истинно благородной прямоотой.

Пригласив на помощь Соболевскому вторым редактором Иоллоса, газета сделала крупное приобретение. Как публицист Иоллос был величина первоклассная. Он соединял в себе широкую и серьезную образованность с блестящим стилем — сжатым, метким и четким, — и глубокую опытность в оценке людей и общественных явлений. По убеждениям он был конституционалистом и демократом. Но с высоты этих ясных и определенных своих убеждений он смотрел на мир широко и свободно, проникая своим острым взглядом в серьезное существо каждого явления. Познакомившись с ним, я как-то сразу почувствовал к нему влечение, и, когда он, смотря на меня своими большими и грустными глазами, — какая-то притаившаяся грусть всегда чувствовалась в глубине его взгляда, — предложил мне постоянное сотрудничество в «Русских ведомостях», я тотчас же ответил полным согласием. С тех пор моя работа в этой газете не прерывалась в течение последующих 11 лет, пока большевики не уничтожили всю независимую русскую печать. О моей работе в «Русских ведомостях», о тех людях, с которыми мне пришлось там сойтись и вместе действовать, я вспоминаю с самым отрадным чувством. Но об этом я еще буду говорить в дальнейшем изложении.

Я пробыв в Москве до начала июня. За это время в Государственной думе уже развернулась со всем драматизмом горячая политическая борьба. Первые 12 дней думской работы были наполнены обсуждением адреса. Адрес был принят всей Думой, за исключением шести человек с гр. Гейденом и М.Стаховичем во главе, которые не соглашались не со всем адресом, а только с некоторыми его частями и, не желая нарушать единогласия, предпочли на время

голосования выйти из зала. Это было характерно для данного политического момента: в I Думе на самом правом крыле сидели... кто же? — такие определенные конституционалисты, как Гейден и М. Стахович, правее их там не было никого!

8 мая Думе было доложено, что думская депутация с адресом государем принята не будет и что адрес должен быть представлен через министра двора. Было очевидно, что то был знак недовольства, вызванного содержанием адреса, в котором была начертана программа решительных демократических реформ. Государственная дума благополучно миновала этот острый момент, приняв резолюцию, предложенную фракцией к.-д.: «Полагая значение адреса в его содержании, а не в способе его подачи, Государственная дума переходит к очередным делам».

13 мая Горемыкин прочитал в думе декларацию своего кабинета, в которой менторским тоном отвергались все преобразования, указанные в думском адресе, и с особенным подчеркиванием объявлялась недопустимой аграрная реформа на основе принудительного отчуждения частновладельческих земель. Эта декларация вызвала громовые речи Набокова, Родичева, Аникина и ряда других депутатов, освещавших политическую сторону создавшегося положения, и подробную речь Кокоскина, раскрывшего несостоятельность юридической аргументации Совета министров. Самый правый член I Государственной думы гр. Гейден тоже решительно высказался за невозможность для Государственной думы работать с таким кабинетом, что произвело особенно сильное впечатление. Прения закончились принятием резолюции с выражением недоверия кабинету Горемыкина и с требованием его отставки. Удовлетворение этого требования означало бы признание принципа парламентаризма. Никто не сомневался в том, что на этот путь власть ни за что не встанет, и потому все ожидали роспуска Думы. Но не произошло ни отставки кабинета, ни роспуска Думы, и получился тупик. Положение осложнялось еще тем, что правительство, создав Думу, долго не вносило в нее никаких законопроектов. Между тем право законодательного почина самой Думы было крайне стеснено Положением о Думе. Дума начала обсуждать предварительные общие положения

законопроекта о неприкосновенности личности, и затем открылись бесконечные дебаты по аграрному вопросу. Этим прениям придало жару выступление 19 мая представителей правительства Стишинского и Гурко, отрицавших возможность принудительного отчуждения и давших этим повод Герценштейну и Петрункевичу выступить с яркими речами в защиту этого принципа. Конец мая и начало июня принесли две сенсации. 31 мая главный военный прокурор Павлов выступил в Думе с объяснением по вопросу о казнях в рижских тюрьмах, и его объяснения вызвали в Думе такой взрыв негодования, что прения приняли характер настоящей бури. А 1 июня пришла весть об еврейском погроме в Белостоке, и Дума отправила комиссию из трех членов для расследования на месте всех обстоятельств этого события. Тотчас после этого Столыпин, как министр внутренних дел, в заседании 8 июня давал Думе крайне неудовлетворительные объяснения по запросу о печатании в департаменте полиции преступных воззваний, призывающих к погромам, и тогда выступил кн. Урусов — депутат от Калужской губернии, занимавший ранее видный пост по Министерству внутренних дел, — и произнес речь, которая произвела потрясающее впечатление подробным раскрытием провокаторской деятельности департамента полиции. Он окончил эту речь заявлением, что подготовка еврейских погромов органами полиции не подлежит сомнению и быть иначе не может, пока руководящая роль в управлении предоставлена людям, которые являются «по воспитанию вахтерами и городовыми, а по убеждениям — погромщиками». Это был прямой намек на Трепова. Заседание 8 июня, в котором была произнесена эта речь Урусова, произвело впечатление крупного политического события. Я был в Петербурге дня через два после этого заседания. В кулуарах Таврического дворца я встретился с Иоллосом, и он, смотря на меня грустными глазами, говорил мне: «Наступает момент, когда надо спросить себя: что же дальше? Заседание 8 июня в любой конституционной стране вызвало бы кризис кабинета. Что же будет у нас?»

Заседания Думы после этого приняли на некоторое время спокойный характер, словно после бури наступила тишина. Однако на самом деле «в сферах» шла тогда большая суета. То было время переговоров относительно образования кабинета из представителей

думского большинства. Почин принадлежал правящим сферам. Говорили, что это замысел Трепова, который думал этим ускорить крушение Думы. Шли слухи о возможности формирования кабинета Муромцева. Слухи эти проникли даже и в печать. 16 июня в «Русских ведомостях» появился предположительный список будущих министров из среды общественных деятелей. Как будто повеяло близостью какого-то перелома.

В это время я уехал на лето за границу и поселился на острове Рюгене. Чувствовалась потребность освежиться, отдохнуть после этой зимы, в течение которой пришлось израсходовать столько нервной силы и на предвыборных митингах, и на заседаниях центрального комитета партии при налаживании работ в открывавшейся Государственной думе. Итак, я был вдали от родины вплоть до осени 1906 г. и лишь по газетам следил за трагедией Думы. Я видел, что в течение полутора недель в середине июня в газетах все еще появлялись отголоски каких-то неясных комбинаций насчет переустройства кабинета, в то время как в Думе шла пикировка между разными фракциями в связи с обсуждением выдвинутых к.д. законопроектов о гражданском равенстве и о собраниях. Затем опять пролетел шквал: Дума вотировала законопроект об отмене смертной казни, и при этом опять разыгралась яростная сцена по адресу того же Павлова: он собирался выступить с объяснениями от имени военного министерства, но при его появлении на трибуне разразилась такая буря криков: «Вон, долой, палач!», — что он так и не мог воспользоваться словом и, смертельно бледный, оставил залу заседания. Вскоре за тем даже из своего далека по одним газетам я мог почувствовать, что политический флирт правящих сфер с думской оппозицией оборвался, и над Думой нависает грозовая туча. Всякие сообщения о переговорах насчет переустройства кабинета сразу прекратились. В Думе с 26 по 30 июня шли резкие прения о белостокском погроме. Потом появилось вдруг нечто совершенно изумительное: правительство опубликовало официальное сообщение, которое нельзя было понять иначе как призыв к населению восстать против Думы. Дума обвинялась в пренебрежении народными интересами ввиду того, что она отвергла предложения правительства по земельному вопросу и вместо того выдвинула требование принудительного отчуждения частных земель.

После указаний на гибельность этого принципа и на невыгодность его для самих крестьян в сообщении высказывалась мысль, что не от Думы крестьянство получит удовлетворение своих интересов, а от царского правительства.

Создавалось необычайное положение. Правительство официально объявляло Думу — законный орган законодательной власти — скопищем людей, противящихся царской воле. Положение еще более осложнилось тем, что в правительственном сообщении неверно были переданы факты, касающиеся хода обсуждения в Думе земельного вопроса, и предположения думской аграрной комиссии были изложены извращенно, с неверным указанием на то, что думская комиссия предполагает распространить принудительное отчуждение и на крестьянские наделные земли.

Могла ли Дума оставить без внимания это выступление правительства? Конечно, это было немислимо. Сначала в Думе возникла мысль реагировать на правительственное сообщение в форме запроса. Затем одержало верх предложение Кузьмина-Караваева, чтобы Дума со своей стороны выступила с обращением к населению для восстановления истины о положении в Думе земельного вопроса. После долгих прений был выработан и принят текст такого обращения, изложенный в самых спокойных и лояльных выражениях и заканчивавшийся призывом к населению мирно ожидать законодательного разрешения земельной реформы. Вот за это-то «обращение Думы к населению» власть и ухватилась как за предлог для решенного, конечно, уже ранее роспуска Думы. «Обращение к населению» было признано революционным актом, дерзостным выступлением Думы из пределов ее полномочий.

11 июля утром я пошел на пристань, к которой приставали прибывавшие на о. Рюген морские пароходы. Пристань возвышалась над уровнем берега. Входя на нее по деревянной лестнице, я издали видел, что наверху на столбе треплется по ветру какая-то приколотая к столбу бумажка. Я подошел и увидел, что то была экстренная телеграмма из Берлина, гласившая: «Государственная дума распущена в ночь с 8 на 10-е июля. Горемыкин отставлен от должности

председателя Совета министров. На эту должность назначен Столыпин».

Итак, кризис разрешился вполне самобытным способом. При коллизии парламента с кабинетом — или распускается парламент, или уходит в отставку кабинет. Здесь был использован третий путь: сразу и Думу распустили, и кабинет отставили.

Что же будет дальше? С каким нетерпением ожидались в этот день газеты! Лишь постепенно из отрывочных, явно невольно дефектных газетных сообщений можно было составить себе представление о том, что произошло при роспуске Думы. И только уже вернувшись к осени в Москву, узнал я о всех подробностях составления «Выборгского воззвания».

Конечно, этот шаг был ошибкой. И ошибка состояла прежде всего в неправильном учете психологии момента.

В Государственной думе во время громовых речей с осуждением деятельности правительства столько раз возглашалось, что народные массы кипят пылом революционной страсти и только факт существования Думы удерживает еще эти массы от революционного взрыва, — что в конце концов многие стали считать это положение несомнительной аксиомой. И там, в Выборге, царило убеждение, что в ближайшие же дни неминуемо разразиться революционный взрыв в стране. Ввиду такой перспективы заключающийся в «Выборгском воззвании» призыв к пассивному сопротивлению в виде отказа от поставки рекрут и внесения налогов являлся ведь, в сущности, актом политической умеренности и стремления ввести поток народного негодования в возможно более закономерные пределы. Противники «Выборгского воззвания» часто называли его «холостым выстрелом». Однако этот холостой выстрел нанес сильную рану... только не тем, для кого он предназначался, не руководителям правительственной политики, а партии к.д., виднейшие деятели которой, бывшие членами первой Думы и подписавшие это воззвание, тем самым утратили право на продолжение парламентской деятельности. Из всех к.д., бывших в первой Думе, во вторую и следующие Думы мог войти только Родичев, потому что в момент роспуска первой Думы и подписания «Выборгского воззвания» он находился в Англии в

составе делегации от Думы, отправленной на собрание международного парламентского союза.

Первая Государственная дума просуществовала всего 72 дня. Это — не более как миг в вихре событий, пронесившихся тогда над Россией. Но этот миг был полон трагического значения для дальнейших судеб нашей родины. Весь смысл этого трагизма был понят тогда очень немногими. Одни приветствовали гибель первой Думы как победу любезного им старого порядка над революционной смутой. Это были те, кто видели в «смуте» не более как озорство мятежников, отравленных революционной заразой, и полагали, что все это «озорство» рассеется как дым, лишь только власть как следует сожмет свой грозный кулак. Другие не жалели о разгоне Думы, убеждая самих себя в том, что этот разгон послужит лишь к ускорению революционного переворота, которым старый порядок будет сметен целиком, без остатка. Это были те, кто не дорожили Думой самой по себе и смотрели на нее лишь как на трибуну, с которой можно было на всю Россию произносить речи, революционизировавшие страну. Но были и третьи, для которых гибель Думы означала великое несчастье, чреватое в недалеком будущем страшными последствиями. Это были те, кто смотрели на Думу как на попытку ввести в закономерное русло работу над возможно более удовлетворительным разрешением острых и жгучих вопросов, выдвинутых на очередь всей совокупностью жизненных условий данного момента. Срыв этой попытки сулил, с их точки зрения, неминуемые страшные потрясения, исход которых предвидеть было очень трудно. Эти потрясения могли наступить и не тотчас, а чрез известное время, но миновать их они считали невозможным — при отсутствии у правящей власти готовности стать на путь смелых и широких преобразований, соответственных требованиям времени. Разгон Думы показывал, что власть этой готовности нисколько не обнаруживает, а то обстоятельство, что ближайшим предлогом для роспуска Думы было избрано разногласие правительства и Думы по земельному вопросу, было полно показательного значения: этим подчеркивалось, что власть, цепляясь за старый порядок, заключает прочный союз с той частью землевладельческого класса, которая пуще всего будет противиться социальным реформам. И не успело еще остыть впечат-

ление от разгона Думы, как новое трагическое событие еще сильнее подчеркнуло эту связь политической борьбы со жгучими социальными вопросами. 18 июля в Териоках выстрелом из-за угла был убит Герценштейн — депутат, выдвинувшийся в Думе самыми яркими выступлениями против представителей правительства именно по вопросу об аграрной реформе. Времена Гракхов в древнем Риме вставали в памяти при зловещем известии об этом убийстве. Герценштейн вовсе не был революционным агитатором и демагогом. Он был щепетильно добросовестным реальным политиком по своему умунастроению и прекрасным знатоком социально-экономических вопросов по своей научной эрудиции. Но именно этим-то он и был особенно опасен для тех, кто не желал ничем поступиться из своих жизненных преимуществ для умиротворения страны и ради общегосударственных интересов. Жертва была намечена очень обдуманно. Началось судебное расследование убийства. Очень скоро этим расследованием было выяснено, что исполнителями кровавого замысла были агенты «Союза русского народа» — погромно-реакционной организации. Следователи начали уже добираться и до тех лиц, от которых исходил самый замысел. Но тут работа судебных властей была прервана по распоряжению свыше, и тайна убийства так и осталась нераскрытой до конца.

II

Конец лета и начало осени 1906 г. ознаменовались бурными революционными эксцессами и столь же бурным усилением карательных репрессий. В Кронштадте и в Свеаборге разыгрались настоящие военные восстания, сопровождавшиеся зверским убийством солдатами и матросами всех офицеров. Террористические акты беспрерывно следовали один за другим: убийство варшавского генерал-губернатора Вонлярлярского, убийства генералов Мина, Козлова, покушение на Скалона, Каульбарса и проч. и проч. 12 августа террористы проникли на дачу Столыпина на Каменном острове в приемный день и бросили там разрывной снаряд ужасной силы. Столыпин остался жив и невредим, но его дети были искалечены, и большое количество людей, находившихся в тот момент на даче, было убито.

19 августа в порядке 87 ст. был издан закон о военно-полевых судах для местностей, объявляемых на военном положении или на положении чрезвычайной охраны. По этому закону в таких местностях военно-полевому суду мог быть предан человек, учинивший любое преступление, если только совершение его было очевидно и потому не нуждалось в расследовании. Такой суд открывает свои действия немедленно по открытии преступления, и приговор, им вынесенный, немедленно представляется на утверждение ген. — губернатора или командующего войсками и тотчас приводится в исполнение. Сплошь да рядом — в порядке ускоренного судопроизводства, при отсутствии защиты — приговаривались к смертной казни. Военно-полевые суды получили тогда самое усиленное применение, и таким образом весь период времени между роспуском первой и созывом второй Думы был наполнен кровавой борьбой двух терроров — подпольного и правительственного. В такой-то обстановке приходилось готовиться ко второй Думе и вести новую избирательную кампанию.

Я приехал осенью в Москву из-за границы с намерением возобновить свои научные работы и погрузиться в писание второй диссертации. Однако эти мечты тотчас разлетелись прахом, и еще на целый год пришлось мне отложить их осуществление. Вернувшись в Россию, я понял, что в этот напряженнейший момент исторической жизни нечего было и думать отойти от выполнения обязательств, которые вытекали из моей связи с к.д. партией.

В начале августа Столыпин сделал попытку ввести в состав своего кабинета некоторых умеренно-либеральных общественных деятелей. Он вступил в переговоры с Гейденом, Шиповым, кн. Е. Трубецким, Кони, проф. Виноградовым, М.Стаховичем. Эти лица не отвергали предложения принципиально и бесповоротно, но ставили условие, чтобы общественным деятелям в кабинете было предоставлено не менее семи мест, дабы они могли оказывать реальное влияние на политику кабинета. На это условие Столыпин не шел, а общественные деятели, к которым он обращался, не желали взять на себя роль легкой закраски бюрократического кабинета. Так ничего и не вышло из этих переговоров.

К осени выяснилось, что, вопреки пессимистическим предсказаниям многих, правительство решило непременно созвать вторую Думу в начале 1907 года. Итак, предстояло готовиться к новым выборам. Было ясно, что эти выборы будут происходить при гораздо более сложной обстановке, нежели предшествующие. Во-первых, радикальные социалистические партии на этот раз совершенно отбросили тактику бойкота. Надо сказать, что уже и в выборах в первую Думу кавказские с.-д. меньшевики в конце концов приняли участие и провели на них небольшую кучку своих депутатов. Теперь же и с.-р., и н.-с., и с.-д. большевики решили отказаться от бойкота Думы, и возникала мысль — во многих местах и осуществившаяся — о заключении предвыборного блока всех партий левее к.д.; если не ошибаюсь, только твердокаменные большевики от этого блокирования отказались.

В то же самое время и крайне правые гораздо энергичнее готовились теперь к проведению в Думу своих депутатов. Разгон первой Думы они считывали как признак для себя благоприятный и собирались нанести последний удар и радикалам и либералам. Грингмут, Шмаков, Никольский и другие ораторы реакционного направления стали устраивать шумные митинги в провинциальных городах, а затем в Киеве собрался открытый разрешенный властью съезд «Союза русского народа», на котором произносились самые воинственные речи с требованиями восстановления самодержавия.

А в конституционных группах, стоявших правее к.д., обнаружился раскол. Шипов, Гейден, М.Стахович вышли из Союза 17 октября, т.е. откололись от Гучкова и составили партию «Мирного обновления», к которой примкнул и Е.Н.Трубецкой. То была группа, желавшая занять промежуточное положение между октябристами и кадетами, — по отношению к программным положениям склонявшаяся более к к.д., а по отношению к тактике ближе стоявшая к октябристам, причем важнейшее значение имело ее отрицательное отношение к «Выборгскому воззванию».

Было ясно, что ввиду сложности этой политической обстановки положение партии к.д. будет еще более трудным, нежели в предшествующую избирательную кампанию. Ей предстояло выдержать

перекрестный огонь слева и справа. А в то же время власть явно решила сколь возможно сильнее стеснить свободу ее деятельности: «Вырвать кадетское жало» — таким крылатым словечком обозначена была тогда задача администрации в ее попытках воздействовать на предвыборную кампанию. Прежде всего к.-д. партии было отказано в регистрации ее устава. Затем последовало воспрещение созвать IV съезд партии. Между тем съезд был совершенно необходим. Партия должна была установить и выразить свое отношение к деятельности своей фракции в первой Думе и наметить директивы для будущего, а главное — необходимо было вырешить столь всех волновавший и вызвавший большие споры вопрос о «Выборгском воззвании». «Воззвание» кое-где распространялось, и хотя практического последствия отсюда никакого не получалось, но уличенных в распространении арестовывали и привлекали к ответственности.

Так как в разрешении съезда было отказано, — второй и третий съезды собирались в Петербурге открыто, — то было решено собрать съезд в Гельсингфорсе без разрешения. Съезд и состоялся там 24–28 сентября. Все приехавшие туда члены съезда — их набралось довольно много — заняли целую гостиницу. Приятно было провести несколько дней в этой дружной компании. Конечно, гвоздем съезда был вопрос о «Выборгском воззвании». В сущности, не было сомнения в том, что это «Воззвание» утратило всякий смысл, раз только стало известно, что Дума будет созвана и что правительство никакого *coup d'état* не замышляет. В ЦК прошел проект резолюции, смысл которого сводился к тому, что самая идея пассивного сопротивления на случай нарушения властью конституции признается правильной, но при данных обстоятельствах нет основания применять этот прием политической борьбы. Этот проект резолюции и был предложен съезду. Прения длились два дня. Многие в горячих речах представляли дело так, что отказ от применения «Выборгского воззвания» будет равносильен решению идти в Каноссу и нанесет непоправимый удар политическому авторитету партии. Пламенную речь в защиту резолюции, предложенной ЦК, произнес Родичев. Против резолюции и за применение «Выборгского воззвания» горячо говорили Колубакин и Мандельштам. И.И.Петрункевич выступил с энергическим призывом к тому, чтобы все члены съезда прониклись стремлением избежать

раскола и найти согласительное решение. Выступил тут и я и, подвергнув обстоятельной критике соображения противников резолюции, настаивал на том, что успеха в политической борьбе надо искать не в судорожных вспышках, а в планомерном и терпеливо-устойчивом устремлении к своим целям, не смущаясь необходимыми временными остановками. Эта моя речь имела большой успех. За резолюцию говорили Владимир Гессен и Струве, и прения заключились пространным ответом Милюкова всем, кто не соглашался с предложением ЦК. Резолюция ЦК прошла громадным большинством голосов. Этим и был исчерпан эпизод с «Выборгским воззванием», вообще не принадлежащий, по моему мнению, к числу удачных моментов в деятельности к.д. партии.

Преследований за участие в нелегальном Гельсингфорском съезде не было, но заикаться о нем в публичных собраниях строжайше воспрещалось, хотя газеты и печатали сведения о ходе съезда. В октябре к.д. партия открыла в Москве политический клуб в помещении Политехнического музея, и на открытии его блестящую речь произнес Кокошкин, которому, как члену I Думы от города Москвы, были устроены шумные овации. Открылся также ряд маленьких клубов в различных районах Москвы. В середине ноября все эти клубы были закрыты по распоряжению московского градоначальника. А в то же время в Петербурге, в Михайловском манеже, состоялось торжественное парадное освящение знамен «Союза русского народа», и на этом торжестве погромно-реакционной организации присутствовали петербургский градоначальник и митрополит.

Все предвещало скорое наступление выборной кампании. Столыпин спешил до созыва Думы провести по 87 ст. законодательные меры, которые должны были, по его мнению, выкурить из деревни революционный дух, противопоставив ему крепкую группу независимых от общины крестьян — земельных собственников. 9 ноября вышел известный указ о мерах, облегчающих выход из общины и образование крестьянских хуторов. А затем, уже непосредственно в связи с предстоящими выборами, сенат начал целыми пачками издавать «разъяснения» к различным статьям Положения о выборах, и эти «разъяснения» совокупно с циркулярами Министерства внут-

ренных дел все были направлены на существенное стеснение свободы выборов. Наконец в начале декабря был назначен созыв Государственной думы на 20 февраля, и тем самым официально открывался предвыборный период.

Опять пошли бесчисленные митинги. Теперь они были разнообразнее по содержанию дискуссий, ибо, с одной стороны, левые партии, сомкнувшиеся в блок, теперь боролись уже за проведение в Думу своих депутатов и потому посылали на митинги не одних только социал-демократических подростков, но и серьезных ораторов, а с другой стороны, более деятельное участие в предвыборной кампании приняли теперь и те партии, которые стояли правее к.д. Притом же предметом дискуссий служили теперь более определенные, реальные вопросы: ведь пищу для них давало рассмотрение деятельности первой Думы.

Мне опять пришлось чуть ли не ежедневно выступать на митингах. Я был намечен одним из кандидатов во вторую Думу, и, как ни мало эта перспектива привлекала меня, тосковавшего по научным работам, я не видел возможности отклониться от этой гражданской повинности.

Тогда-то я совместно с В.А.Маклаковым составил брошюру «Нападки на партию к.д. и ответы на них», которая могла служить пособием для партийных ораторов при выступлении на митингах. Брошюра была составлена в диалогической форме и потому получила кличку «Кизеветтеровского катехизиса».

Предвыборные дискуссии перед первой Думой носили по преимуществу характер разъяснения и пропаганды программных положений. В сущности, то не была настоящая предвыборная борьба: противниками кадетов на тогдашних митингах выступали представители таких партий, которые сами кандидатов в Думу сознательно не выставляли, а партии, намеревавшиеся конкурировать с кадетами на выборах, от споров с кадетами на митингах уклонялись. Теперь и те, и другие поняли свою ошибку. Левые отказались от идеи бойкота Думы, а октябристы несколько собрались с духом и извлекли из предшествующего опыта то поучение, что таинственные невидимки не имеют никаких шансов на успех в политической борьбе. Итак,

митинги в большей степени приобрели теперь характер борьбы за определенные кандидатуры.

А другая отличительная черта второй избирательной кампании состояла в том, что теперь власть стала проявлять гораздо больше усилий для оказания своего давления на предвыборную борьбу и на возможный исход выборов. Я уже упоминал о ряде распоряжений в форме сенатских «разъяснений» и министерских циркуляров, касавшихся правил выборной процедуры и направленных на то, чтобы охранительные элементы могли получить при выборах те или другие преимущества перед элементами оппозиционными. А сверх того полиции теперь было предписано деятельнее следить за ходом митингов и энергичнее пресекать речи ораторов, неугодных власти. Конечно, и во все времена первой избирательной кампании на всех митингах присутствовали полицейские агенты. Но, по крайней мере в столицах, они вели себя обычно довольно сдержанно, не считая, конечно, отдельных исключений. Приходит мне туг на память один курьезный эпизод. Был первый митинг, устроенный к.д. партией в самом начале избирательной кампании первой Думы. Председательствовал Н.М.Кишкин. Перед началом митинга предстал перед Кишкиным некий субъект в пиджаке и предъявил бумагу о том, что он откомандирован от полиции для наблюдения за ходом митинга. Подавая бумагу, он взглянул на Кишкина и тотчас проявил признаки крайнего смущения, а Кишкин, посмотрев на него, покровительственно усмехнулся и сказал: «Вот вам столик, садитесь и наблюдайте». И сидел этот наблюдатель все время ниже травы и тише воды, с оторопевшим видом. Потом Кишкин, от души смеясь, объяснил нам суть дела. «Ведь это же мой давний пациент, — говорил он, — лечился в моей лечебнице (у Кишкина была невропатологическая лечебница), но он никогда не говорил мне, что служит при полиции; переконфузился-то как, увидев меня за председательским столом!»

Во вторую избирательную кампанию такие эпизоды были уже невозможны.

Теперь на митингах являлись полицейский пристав, или его помощник, или даже оба вместе в форме, и очень часто прерывали ораторов или и совсем закрывали собрания посреди прений. Удиви-

тельно только, как властям не приходило на мысль, что такие меры достигали результата, прямо противоположного тому, на какой они были рассчитаны. Публика возмущалась нарушением свободы прений, а прерванные ораторы пожинали лишь тем больший успех: заманчив ведь плод запретный!

Вмешательства полицейских чинов часто носили характер довольно нелепый и прямо увеселяли публику. Вот одна из характерных сенок. Маклаков выступает на митинге докладчиком и начинает разбирать действия к.д. партии в Думе, употребляя местоимение «мы». «Кто это мы! «— грозно спрашивает пристав, прерывая оратора. «Я и мои единомышленники», — отвечает Маклаков. «Я запрещаю говорить мы, — продолжает пристав, — вы принадлежите к партии к.д., значит, вы говорите о кадетах, а это партия преступная, о ней говорить нельзя». — «Хорошо, вместо мы я буду говорить они». В публике смех, а пристав неожиданно удовлетворяется такой постановкой вопроса.

Такие курьезы объяснялись тем, что пристава — за немногими исключениями — были люди без надлежащего образования и очень плохо разбирались в тонкостях тех вопросов, которые затрагивались в прениях. Всего было хуже, когда появлялся пристав, на мундире которого гордо красовался университетский значок. Это были — самые несносные. Они, видимо, стремились отличиться перед своим начальством умением, что называется, «срезать» патентованного оратора и придирались для этого ко всякому случаю — удобному и неудобному, причем этот самый университетский значок нисколько не предохранял их от сумбурной путаницы в мыслях, но выступали они с этим сумбуром с самоуверенным апломбом. А пристава-«простецы» нередко чувствовали себя довольно растерянными. По-видимому, данные им инструкции не были ясны и определительны для них, и они сплошь да рядом становились в тупик. Как поступить? Проморгашь какое-нибудь преступное слово оратора — под ответ попадешь, ибо по митингам ходили в партикулярных одеждах тайные ревизоры и над самими приставами; а сунешься невпопад с замечанием оратору — и можешь в дураках оказаться, он же тебя на смех поднимет... Положение такого «недреманного ока», которое само

хорошенько не знало, где именно торчит запрещенная крамола, было не из завидных.

Помню, как-то раз я, излагая на митинге свой доклад, уловил краем уха шепот, которым обменивались пристав и его помощник, сидевшие за столиком у самой кафедры. «Что он, не опасно говорит?» — спрашивал пристав своего помощника. «А черт его знает, — шепотом отвечал помощник, — кажется, пока ничего». Однажды нашелся и такой пристав, который, видимо с отчаяния, подошел ко мне перед началом митинга и сказал: «Уж вы, профессор, будьте так добры, если я вас буду останавливать, не подымайте меня на издевку». Это был старик, редкая седая щетина торчала у него на голове, лицо выражало одну мысль: «Черт бы побрал всю политику, вот она где у меня сидит...» Никак не ожидал этот человек, что на старости лет придется ему раскидывать мозгами над такими неслыханными вопросами, в которых сам черт ногу сломает. Мне по человечеству стало его жаль, и я обещался «не поднимать его на издевку».

Наконец можно было вздохнуть свободно: предвыборная кампания кончилась. В Петербурге и Москве опять полная победа досталась кадетам. От города Москвы прошел в Думу и я вместе с Павлом Долгоруковым, Маклаковым и Тесленко. Открытие Думы было назначено на 20 февраля 1907 г.

Политическая физиономия второй Думы сильно отличалась от первой. Центр вместо кадетов заняли теперь «трудовики»: фракция, состоявшая из густой группы крестьянских депутатов, которыми руководили три-четыре интеллигента, в том числе доктора Караваев (потом убитый) и Березин. Впрочем, как увидим, иногда эта крестьянская армия решительно выходила из повиновения своим вождям. Кадеты, сдвинутые с прежних мест «трудовиками», составили во второй Думе левую окраину правого крыла. Правее их шла прослойка из небольшой группы октябристов и умеренных правых, и затем крайне правое крыло составили «истинно русские», т.е. черносотенные депутаты с такими матадорами «Союза русского народа», как Пуришкевич, Келеповский, Крушеван. На правой окраине левого крыла находилась небольшая кучка народных социалистов (во главе их были Волк-Карачевский, умерший при большевиках в тюрьме, и

Демьянов, умерший в эмиграции в Праге), затем следовали социалисты-революционеры и крайне левое крыло было занято социалистами-демократами: меньшевиками и большевиками. Лидерами меньшевиков были грузины Церетели и Джапаридзе, а от большевиков всего чаще выступал Алексинский. Чрезвычайно оригинальное явление представлял собою депутат Наливкин: вице-губернатор одной из среднеазиатских областей и автор дельных научно-географических работ, вошедший в состав большевистской фракции. Когда он защищал с думской трибуны позицию социал-демократов, не упуская случая при этом поставить на вид свое вице-губернаторство, это всегда производило эффект чрезвычайный.

Итак, вторая Дума по своему политическому составу была значительно левее первой, но в то же время в ней была темпераментная и шумная группа крайних правых, которые совсем отсутствовали в первой Думе. Конституционалисты-демократы не могли уже рассчитывать на ту руководящую роль, которая принадлежала им в первой Думе. Тем не менее роль им предстояла довольно значительная. Ни одна фракция не имела в своей среде людей, настолько подготовленных к парламентской деятельности, каких было немало во фракции к.д. И все чувствовали, что без к.д. не удастся наладить думской работы. Вот почему и председатель Думы (Головин), и секретарь Думы (Челноков) были избраны из фракции к.д., хотя от намерения провести своего кандидата и на место одного из товарищей председателя кадетам пришлось отказаться вследствие несогласия на это других фракций и в товарищи председателя были избраны «трудовик» Березин и беспартийный Познанский. Во всех думских комиссиях кадеты играли очень значительную роль, точно так же, как и в общих собраниях Думы в общем направлении дел многое зависело от выступлений кадетских ораторов, среди которых была такая унаследованная от первой Думы ораторская сила, как Родичев, и такой блестящий по ораторским и тактическим дарованиям новый депутат, как Маклаков, и еще ряд других выдающихся юристов и экономистов (Тесленко, Пергамент, два Гессена, Струве, Булгаков и др.). Кузьмин-Караваев не принадлежал к партии к.д., но по духу он, конечно, шел с ней рука об руку во всех основных вопросах. Веская роль принадлежала вступившему в партию к.д. Кутлеру, имевшему большой

служебный опыт и ушедшему из рядов высшего чиновничества после отвержения составленного им проекта аграрной реформы, почти совпадавшего с аграрной программой партии к.д. Был тут и впервые вступавший на парламентское поприще Шингарев, впоследствии уже в третьей и в четвертой Думах выросший в крупного парламентского деятеля, всегда выступавшего одним из главных оппонентов Коквцова при обсуждении бюджета.

Итак, фракция к.д. и во второй Думе располагала достаточными силами. Но теперь ее задача была очень трудна и неблагоприятна. На ее долю выпадали ответственные усилия, направляемые на укрепление авторитета народного представительства, а между тем руль второй Думы находился вовсе не в ее руках, и ей было очень нелегко проводить те постановления, которые ей представлялись необходимыми, среди господствовавшего во второй Думе разброда, вытекавшего из крайней дробности ее политического состава. Было несколько очень критических моментов в жизни второй Думы, когда вообще оказывалось невозможным достигнуть какого-либо определенного большинства по вопросам первостепенной важности, или когда сформирование такого большинства зависело всецело от того, на чью сторону склонится «польское коло», — небольшая группа депутатов от губерний царства Польского.

Перед открытием второй Думы со всех сторон слышались указания на необходимость «беречь Думу», т.е. заботливо воздерживаться от резких демонстраций, которые могли бы вызвать ее временный роспуск. Крестьянские депутаты только и говорили о «бережении Думы» и ссылались на то, что крестьянство, пославшее их в Думу, хочет, чтобы Дума добилась для крестьян земли и достигала бы этой цели настойчиво, но терпеливо и не «лезла бы на рожон» из-за шумных демонстраций. Интеллигентные лидеры тех левых фракций, которые стремились играть роль выразителей желаний и потребностей крестьянских масс, повторяли вслед за крестьянскими депутатами тот же лозунг «беречь Думу». Тогда получило популярность рассуждение, что вместо «штурма власти», которым занималась первая Дума, теперь надо вести «осаду власти» — осмотрительную и терпеливую, не давая правительству вызывать Думу на риско-

ванные шаги, как это произошло с первой Думой в эпизоде с воззванием по аграрному опросу. Могло казаться, что это настроение «бережения Думы» должно было перенести центр тяжести думской деятельности на законодательную работу, что соответствовало тактической линии партии к.д.

Несмотря на все это, требовалось много наивного прекраснодушия, чтобы окрыляться надеждой на то, что вторая Дума счастливо минует опасные подводные камни, которыми был усеян ее фарватер. Опасности, грозившие второй Думе, были многочисленны и многообразны. Во-первых, во второй Думе было два крайних крыла: черносотенцы и социал-демократы, — которые шли в Думу с определенным намерением, прямо противоположным лозунгу «бережения Думы». Те и другие, но по совершенно различным мотивам, стремились не беречь Думу, а вызвать ее разгон, взорвать изнутри и в целом ряде случаев готовы были для этой цели протянуть друг другу руки. Черносотенцы с Пуришкевичем во главе то и дело устраивали для этого неприличнейшие скандалы, дабы дискредитировать Думу, а социал-демократы, с одной стороны, подчеркивали в речах, что они не ставят Думу ни в грош, а с другой стороны, подбрасывали Думе апельсинные корки в виде разных рискованных предложений демонстративного характера вразрез с решениями всех думских фракций¹⁷.

Все это было, однако, еще не так опасно, если бы прочие фракции, за исключением двух крайних крыльев, могли объединиться в плотную около некоторой общей линии, и если бы сама власть обнаружила готовность пойти на существенные уступки в основном вопросе — в земельном.

Крестьянство хотело «беречь Думу» в надежде таким путем получить землю. Но требование земли в правящих сферах как раз и принималось за недопустимое и опаснейшее проявление революци-

17 Самым ярким эпизодом этого рода была оскорбительная для армии выходка с.д. Зурабова при обсуждении вопроса о военном контингенте. Эта выходка создала такое положение, что судьба Думы сразу повисла на волоске.

онного духа. Широкая постановка аграрной реформы в легальной и закономерной форме парламентского законопроекта принималась «наверху» как самая ужасная из голов революционной гидры. Столыпин, старавшийся в противоположность Горемыкину стать в позу конституционного министра, — насколько это было можно при необходимости для него считаться с антиконституционными течениями высших сфер, от которых он зависел, — в вопросе аграрном, в сущности, повторил горемыкинское «недопустимо» по отношению к принципу принудительного отчуждения и сводил земельную проблему к замене общинного землевладения хуторами. К этой основной идее Столыпина можно относиться как угодно, но и те, кто видели в ней для будущего ключ к разрешению социального вопроса, должны были бы понять, что для данного момента необходимость прирезки земли к крестьянским владениям оставалась в полной силе и проведение этой меры в широких размерах законодательным путем могло бы сыграть решающую роль в предотвращении катастрофы, жертвою которой через несколько лет стала Россия.

Однако в этом именно пункте между властью и общественными стремлениями стояла глухая стена, и пробить в ней брешь «бережением Думы» было безнадежно. Наконец, ко всему сказанному надо прибавить еще и то, что лидеры социалистических партий, хотя и собирались «беречь Думу», но не думали для этого поступаться некоторыми, как бы сказать, формами социалистического этикета. Так, когда в Думу был внесен бюджет, социалисты-революционеры вместе с социалистами-демократами настаивали на том, чтобы Дума отвергла бюджет *en bloc* [целиком (фр)], не передавая его в комиссию. Точно так же и при внесении в Думу законопроекта о военном контингенте левое крыло голосовало за отвержение законопроекта. Конечно, все это была вода на мельницу тех партий в правящих сферах, которые только и мечтали что о скорейшем роспуске Думы. Сами левые это понимали и этого не желали, но не считали возможным выйти из пределов социалистического этикета. Перед голосованием законопроекта о призыве новобранцев некоторые члены фракции с.-р. подходили к нам, кадетам, и говорили: «Господа, вся надежда на вас, пожалуйста, голосуйте все дружно за принятие законопроекта, мы-то ведь, как социалисты, за него голосовать не можем, а

если проект провалится, то Думе несдобровать». Мы отвечали: «За проект мы будем голосовать и без ваших просьб, но вот что любопытно — будете ли вы, как социалисты, нас за это ругать в ваших органах?» — «Конечно, будем», — отвечали они.

Итак, несмотря на лозунг «беречь Думу», никак нельзя было рассчитывать на ее долговечность. Крайние правые с самого начала откровенно вопияли: «Долой Думу». Через восемь дней по открытии второй Думы главный совет «Союза русского народа» выпустил циркуляр, в котором говорилось: «Когда в «Русском знамени» (органе «Союза русского народа») на первой странице появится знак креста, начинайте посылать настойчивые телеграммы государю и Столыпину с требованием роспуска Думы и изменения избирательного закона». А страницы «Московских ведомостей» непрерывно пестрели сакраментальными словами: «Долой Думу». В самой Думе крайние правые то устраивали хулиганские скандалы, попирая правила самого элементарного приличия, — особенно усердствовал по этой части Пуришкевич, — то выступали с явно провокационными предложениями, вызывая Думу на рискованные для судьбы Думы шаги. А крайние левые раздваивались между теоретическим признанием необходимости беречь Думу и всегдашней готовностью фактически дать волю революционному темпераменту и ни в чем не отступить от требований партийного этикета.

Все это делало чрезвычайно тягостной работу в Думе. Сознание, что Дума висит на волоске; полное отсутствие определенности в направлении думских работ; впечатление тяжелого сумбура от постоянно меняющегося соотношения многочисленных фракций, на которые Дума была раздроблена; бесконечная тягучесть междуфракционных совещаний и крайняя неустойчивость их решений, — бывало, чуть ли не всю ночь договариваемся мы с «трудовиками», договоримся наконец до общего решения — глядь: наутро все уже пошло насмарку; тяжелая атмосфера междуфракционной грызни на общих собраниях Думы; неприличные скандалы черносотенцев — все это выматывало душу, доводя ее до изнурения.

Предшествующими замечаниями я, в сущности, уже очертил внутреннюю историю второй Думы, и теперь достаточно будет лишь

вкратце напомнить главнейшие моменты внешнего хода ее мимолетного существования.

Вторая Дума открылась 20 февраля 1907 г. При чтении высочайшего указа об открытии Думы вся оппозиция — и к.д. в том числе — осталась сидеть. 2 марта, когда ожидалось прочтение правительственной декларации, перед самым заседанием обрушился потолок в зале заседаний. Совершись этот обвал на полчаса позже, когда депутаты уже заняли бы свои места, — и произошла бы катастрофа с немалым количеством человеческих жертв. Я пошел посмотреть на картину разрушения. Многие места депутатов были завалены грудой обломков, низвергнувшихся сверху. Я увидел Крушевана — знаменитого восхвалите ля еврейских погромов. Он стоял и смотрел на картину обвала. Низкого роста, крепкий и приземистый, с коричневым цветом лица и сверкающими белками больших глаз, он бормотал самодовольно: «Хорошо!» — и лицо его светилось удовлетворенностью. Чему он радовался?

6 марта Столыпин прочел свою декларацию. В противоположность Горемыкину, он заявил о целом ряде законопроектов, изготовленных правительством для внесения в Думу. Он приглашал Думу найти общий язык с правительством и пригрозил приостановкой судейской несменяемости в случае попустительства судов по отношению к политическим преступлениям. К.д., трудовики, н.-с. и с.-р. заранее уговорились встретить декларацию правительства молчанием во избежание острых столкновений. С.-д. к этому уговору не прикнули. Церетели выступил с критикой правительственных репрессий, и Столыпин ответил на это своей известной фразой: «Вы хотите сказать правительству «руки вверх», я отвечаю на это — «не запугаете!»»

Тотчас после этого из Москвы пришло зловещее известие. Выстрелом из-за угла был убит редактор «Русских ведомостей» Иоллос. Это было продолжением дела, начатого убийством Герценштейна. Черносотенный террор выступал на сцену. Еще до моего отъезда из Москвы в Думу Иоллос показывал мне полученные им угрозы с эмблемами «Союза русского народа» и изображением его будущей могилы. «Что же, — сказал он при этом, — может быть, и придется

быть убитым». А у меня самого лежал в кармане адресованный на мое имя конверт, в котором была вложена четвертушка бумаги с изображением моей будущей могилы и подписью: «Вот что ждет тебя, если ты осмелишься принять выбор в Думу». Любопытно, что лишь только я был избран в Думу, я получил письменные предложения от нескольких обществ страхования жизни, которые так прямо и начинались: «Так как вы избраны в члены Думы, то вам необходимо застраховать вашу жизнь». В Думе многие члены к.д. фракции были засыпаны анонимными письменными угрозами кровавой расправой. Мы не придавали им значения. Но весть об убийстве Иоллоса показала, что дело обстоит серьезнее, чем мы думали. Я поехал в Москву на похороны Иоллоса. В моем кабинете меня ожидал конверт с угрозой, что меня убьют, если я осмелюсь явиться на похороны. А затем меня вызвал судебный следователь и показал мне отобранную у убийцы Иоллоса книжку, где рядом с адресом Иоллоса был написан карандашом мой адрес. На похороны я, конечно, пошел, и все обошлось благополучно.

Впоследствии выяснилось, что в Иоллоса стрелял рабочий Федотов по подговору члена «Союза русского народа» Казанцева, причем Казанцев свою принадлежность к черносотенной организации от Федотова скрыл, а прикинулся эсером и сказал Федотову, что на него возлагается поручение убить некоего человека, изменившего партии с.-р. Федотов был в отчаянии, узнав, кого он на самом деле убил.

От 7-го по 13 марта Дума была занята хаотически-тягучими прениями о способах обеспечения продовольственной помощи населению и очень яркими и страстными прениями об отмене военно-полевых судов. О продовольственном вопросе во что бы то ни стало желали высказаться чуть ли не все провинциальные депутаты. И каждый из них выносил на трибуну бесконечные рассказы о всевозможных местных неурядицах, касавшихся всяких дел, хотя бы они имели к обсуждаемому вопросу и очень отдаленное отношение. Чувствовалось, что каждый депутат просто спешит удовлетворить своих избирателей, огласив с думской трибуны ту или другую местную злобу дня. Этому провинциальному словесному потоку

положил конец Родичев, гневно воскликнувший с трибуны: «О чем мы говорим, господа? Обо всем на свете!» Это подействовало, и Дума приняла предложение Родичева о передаче вопроса в специальную комиссию.

Напротив того, прения о военно-полевых судах были сжаты и дышали ударной силой. Эти суды были введены во время междудумья по 87 ст., и, следовательно, их действие могло бы еще продолжаться в течение двух месяцев, если бы правительство не внесло этого закона на одобрение Думы в течение этого срока. Только по истечении двух месяцев этот закон, при невнесении его в Думу, сам собою утратил бы силу. Но Дума не желала допустить еще двухмесячного продолжения действия этого закона и сделала попытку добиться немедленной отмены его чрез особый законопроект. Маклаков и Тесленко произнесли яркие речи, в которых привели ряд случаев ужасных судебных ошибок, вытекавших с неизбежностью из скоропостижности военно-полевой юстиции, и притом ошибок непоправимых, так как смертные приговоры были немедленно приводимы в исполнение. Представитель октябристов Капустин присоединился к кадетам в осуждении военно-полевых судов. Тем не менее Столыпин заявил, что правительство не прекратит немедленно действия этих судов, а что касается предлагаемого законопроекта, то оно воспользуется месячным сроком для решения вопроса о его направлении. Нужна ли была эта отсрочка по соображениям государственной необходимости? Очевидно — нет, ибо Столыпин так и не внес в Думу закона об установлении военно-полевых судов, изданного в междудумье по 87 ст., и потому через два месяца по открытии II Думы эти суды автоматически прекратились. Ясно, таким образом, что Столыпин не пошел навстречу думскому законопроекту по соображениям, вытекающим не из существа дела, а из условий тактического характера.

20 марта началось обсуждение бюджета. 26 марта Дума постановила передать в комиссию все внесенные в Думу проекты аграрной реформы (проекты к.д., «трудовиков», с.-р., существенно отличавшиеся). Казалось бы, вместе с тем должно было прервать общие прения по аграрному вопросу, впредь до окончания работы комиссии. Но

Дума решила, по настоянию «трудовиков» и с.р., тем не менее продолжать и общие прения, которые, приняв очень тягучий и серый характер, протянулись до конца мая, непроизводительно отняв у Думы много времени. 16 и 17 апреля, — перед пасхальными каникулами, — рассматривался законопроект о военном контингенте. Тут-то и разыгрался тяжелый инцидент: с.-д. Зурабов с трибуны задел армию в оскорбительной форме, а председатель Головин не остановил его вовремя, не уловив рокового выражения. Военный министр Редигер заявил протест и требовал удовлетворения. С большим трудом удалось уладить инцидент, обостривший до крайности положение, и без того острое ввиду отказа всех левых фракций голосовать за принятие военного контингента. В пользу законопроекта могло составиться незначительное большинство лишь при том условии, если «польское коло» примкнет к к.д.¹⁸ Между тем отвержение законопроекта означало бы явное вступление Думы на революционный путь и должно было бы вызвать неминуемо немедленный роспуск Думы. О лозунге «беречь Думу» левые не забыли, но предпочитали, чтобы в этом случае лозунг был выполнен без их участия, дабы они могли сохранить в чистоте свои партийные ризы. А «трудовики» почти все шли у них на буксире. «Польское коло» нашло нужным подчеркнуть решающее значение своего вотума, и, когда после длинного перерыва заседание уже было объявлено возобновившимся, коло долго еще не появлялось из своей фракционной комнаты, а председатель не начинал заседания, ожидая коло. Наконец польские депутаты появились и заявили, что подадут голоса за принятие контингента. Он и был принят голосами к.д., казаков, мусульман и коло. Формально положение было спасено. Но по существу весь этот инцидент в совокупности давал сильное орудие тем, кто стремился к гибели Думы. Толки о роспуске Думы становились все настойчивее, и под влиянием этих толков Дума перед самыми пасхальными каникулами сделала еще один демонстративный шаг: в заседании 17 апреля, в последний день перед пасхальным

18 Ибо правые просто ушли, желая, чтобы законопроект провалился и Дума была бы погублена.

перерывом, Дума приняла два не бывшие на повестке законопроекта: об отмене военно-полевых судов и об ассигновании 6 миллионов руб. на помощь голодающим.

Судьба Думы была уже предрешена. У Столыпина имелся подписанный государем указ о роспуске Думы с пробелом для проставления даты. Но Думе было еще дано 1 1/2 месяца жизни. Было ясно, что в Думе и справа и слева имеется много легковоспламеняющихся элементов: стоило еще немного подождать, и эти элементы создадут своими вспышками обстановку, удобную для роспуска. После Пасхи 3 — 10 мая усилиями к.д. фракции чрез Думу был проведен «Наказ», направленный на упорядочение безбрежных прений, не имеющих актуального значения.

7 мая Столыпин сделал в Думе сообщение об открытии заговора на жизнь государя. Дума приняла соответствующую резолюцию, но ни «трудовики», ни все левое крыло при этом не пожелали присутствовать.

10 мая Столыпин счел нужным принять участие в прениях по аграрному вопросу и высказался против принудительного отчуждения как основания аграрной реформы. 15 мая правые потребовали, чтобы Дума приступила к рассмотрению внесенного ими еще в марте предложения об осуждении красного террора. Было ясно, что выдвигается новый подводный камень для Думы. С.-д. и с.-р. вместе с правыми настаивали на обсуждении, и легко было предвидеть, что произойдет сшибка правых с названными левыми фракциями, которая может создать удобные предлога для роспуска Думы. Поэтому к.д. и «трудовики» решили настоять на снятии с очереди этого вопроса. В к.д. фракции были голоса за то, чтобы при этом фракция высказалась против террора как системы политической борьбы, но это принято не было. 15 мая вопрос был спят с очереди. Однако через день он выдвинулся снова при рассмотрении вопроса об истязании арестантов в тюрьмах в Прибалтийском крае. И при этом развернулись во всем объеме те самые прения, которые думское большинство с такими усилиями устранило 15 мая. Прения шли в высшей степени возбужденно и немедленно свелись на общую оценку красного и белого террора. Все фракции изготовили проекты резолюции. В

резолуциях октябристов, к.д. и польского коло были включены фразы с определенным осуждением террористических актов. Всего было поставлено на голосование восемь формул, и ни одна не собрала большинства голосов. Оставалось только констатировать, что Дума оказалась не в состоянии вынести решение по этому вопросу. Уже это было плохо. Но и на этом не остановились. После перерыва — вопреки всем правилам — были возобновлены прения по уже проголосованному вопросу. Центр и правое крыло отказались участвовать в этом нарушении парламентских порядков, и одними левыми принята формула, осуждающая лишь незаконные действия властей, без всякого упоминания о подпольном терроре.

Все это было на руку сторонникам роспуска Думы. Никто уже не сомневался в том, что Дума доживает последние дни.

Фракция к.д. все же решила сделать новые усилия к тому, чтобы отвлечь Думу от острых инцидентов на путь законодательной деятельности. В 20-х числах мая Дума рассмотрела и отклонила несколько законов репрессивного характера, проведенных по 87 ст. в междудумье. Затем в списке ближайших дел стояли вопросу об отмене смертной казни и об амнистии. Было известно, что крайние правые и крайние левые решили воспользоваться этими вопросами для новых агитационных демонстраций, и в то же время нельзя было сомневаться в том, что проведение этих вопросов через Думу при данной ситуации не даст никаких практических результатов.

Тогда к.д. фракция выступила с предложением снять эти вопросы с очереди и заменить их рассмотрением делового вопроса о реформе местного суда. 24 и 28 мая рассматривалось это предложение к.д. фракции. Оно было встречено негодующими протестами и с крайнего правого и с крайнего левого крыла. И так как лидеры «трудовиков» выступали в этом случае рука об руку с левым крылом, то все как будто указывало на то, что предложение к.д. будет отвергнуто. Но произошло нечто неожиданное. При голосовании вся масса крестьянских депутатов, входивших в «трудовую» группу, дружно примкнула к к.д., покинув своих фракционных лидеров.

Итак, Дума приступила к вопросу о местном суде. Но судьба Думы была уже решена. 1 июня Столыпин предъявил Думе от имени

правительства требование удалить из состава Думы 55 членов с.-д. фракции (т.е. всю эту фракцию целиком), привлекаемых к судебной ответственности за организацию преступного заговора и сношения с этой целью с военными частями, и дать согласие на немедленное заключение под стражу 16 лиц из их числа. Столыпин требовал, чтобы Дума тотчас же выполнила все эти требования правительства. Все были ошеломлены. Потребовали перерыва для совещаний по фракциям. Правые, разумеется, высказались за немедленное удовлетворение требований правительства. Левые — за немедленное и полное их отклонение. К.д., беспартийная группа, мусульманская группа и польское коло высказались за предварительное ознакомление со всеми подробностями дела в особой комиссии. В возобновившемся общем заседании Думы до позднего вечера шли горячие прения. В конце концов большинство сложилось за комиссию, причем опять-таки крестьяне-«трудовики» откололись от своих лидеров, примкнувших к левому крылу. На мою долю выпала тяжелая повинность председательствовать в этой комиссии, в которой участвовали, между прочим, такие превосходные юристы, как Макалов, Тесленко и Кузьмин-Караваев. Мы заседали весь день 2 июня до поздней ночи. Дума одновременно рассматривала в общем собрании законопроект о местном суде, и левые фракции то и дело предлагали прервать эти прения и, ввиду несомненного в ближайшие же дни роспуска Думы, принять ряд постановлений с характером противоправительственных демонстраций, отвергнуть en bloc бюджет и все законы по 87 ст. Однако все эти предложения отклонялись. Дума ожидала доклада комиссии, которой был поставлен срок для завершения ее работы: в 7 часов вечера она должна была представить Думе свой доклад. Это оказалось совершенно невозможным. Прокурор судебной палаты Камышанский представил нам такое сложное следственное производство и, главное, в этом производстве оказалось столько неясных и спорных моментов, что мы по совести не могли вынести своего заключения без продолжительного рассмотрения представленных нам документов. В 7 часов вечера пришлось доложить Думе, что работа комиссии может быть закончена не ранее как к следующему дню, т.е. к 3 июня. И мы продолжали затем нашу работу до поздней ночи. Чем более мы знакомились с документами,

предъявленными прокурором, тем яснее становилось, что никакого военного заговора думская с.-д. фракция не организовывала. Так, в Думе Столыпиным было заявлено, что при обыске у с.-д. Озола — члена Думы — найден пакет, адресованный в «военную организацию», а когда Камышанский нам этот пакет предъявил, оказалось, что на пакете было написано просто: «в в.о.», а из бумаг, находившихся в пакете, явствовало, что это «в.о.» означает вовсе не «военную организацию», а «виленское отделение с.-д. партии». Вместо обещанных нам политических резолюций, принятых воинскими частями с участием членов Думы с.-д., нам был предъявлен листок почтовой бумаги с написанными на нем тремя тезисами, без заголовка, без подписей, без всяких указаний, кем, когда и для чего эти тезисы были написаны. Мы разошлись в час ночи с 2 на 3 июня с тем, чтобы на следующий день в 12 часов возобновить и закончить работу.

Но сделать этого нам уже не пришлось. Очевидно, Столыпину было сообщено, какого рода доклад комиссия должна будет представить Думе.

И вот утром 3 июня депутаты, подходя к Таврическому дворцу, нашли его ворота запертыми, и на воротах был прибит отпечатанный Высочайший указ о роспуске Думы и о созыве новой Думы на 1 ноября 1907 года. Но этого мало. Совместно с этим указом было опубликовано новое Положение о выборах в Государственную думу. То был уже настоящий *coup d'état* [Переворот (фр)]. Изменение закона о выборах подлежало ведению думы, тут же помимо думы закон о выборах изменялся в самом своем существе, в самых основах избирательной системы, и все эти изменения были направлены к одной цели: к обеспечению успеха охранительных элементов на выборах.

Правые ликовали, банкетировали и пили шампанское. Вся думская фракция с.-д. была арестована. Потом их судили и отправили на каторгу. А страна, рядовая масса населения, встретила роспуск Думы и изменение избирательного закона совершенно спокойно. Нигде и ниоткуда не появилось ничего похожего на эксцессы, последовавшие за роспуском первой Думы. Это было доказательство того, что волна

революционного настроения, поднявшаяся до кульминационного пункта в 1905 г. и еще державшаяся на значительной высоте в 1906 г., теперь спала совсем. Были люди, полагавшие, что она уже не поднимется вновь, и потому считавшие возможным прийти к заключению, что никаких острых и катастрофических вопросов в составе русской жизни и не имеется, что это не более как призраки, выдуманные смутьянами. Дальнейшие события показали, как жестоко заблуждались люди, так думавшие. Но эти дальнейшие события были еще впереди. А пока наступал — антракт. И Третья Дума явилась выразительницей этого «антракта».

III

После роспуска второй Думы все указывало на то, что момент политического кризиса миновал и предстоят продолжительные политические будни. Это существенно изменяло мое личное отношение к участию в политической деятельности. Я отнюдь не примыкал ко взглядам людей, полагавших, что будничная парламентская работа не имеет значения. Напротив того, я прекрасно понимал, что именно в процессе такой будничной работы парламентаризм может пустить корни в жизни страны, врасти в почву и набраться сил для своего дальнейшего развития. Но я понимал также, что участвовать в такой работе должны люди, чувствующие к ней внутреннее призвание, «политики» по природе. Сам же я по природе вовсе не политик. Я — ученый и писатель. Бывают в жизни страны грозные моменты, когда каждый гражданин обязан, независимо от своего призвания, принять участие в общей политической «страде», если у него имеются к тому хоть какие-нибудь способности. Именно в силу такой обязанности я в 1905–1907 гг. счел своим долгом уйти с головой в дело политической борьбы. Но вихрь улегся. Государственный корабль вступил в тихую воду. И теперь политическую работу можно было предоставить только тем, кто испытывал к ней внутренний вкус и непосредственное влечение. Я вовсе не повернулся спиной к политике. Я по-прежнему участвовал на митингах в третьей избирательной кампании, я ходил на заседания партийных комитетов, наконец, я участвовал в обсуждении политических вопросов как публицист. Но я

наотрез отказался ставить свою кандидатуру в Государственную думу тем более, что к.д. партия имела и провела в III Думу прекрасных депутатов от второй курии по городу Москве — В.А.Маклакова и Ф.А.Головина. Первая курия в силу только что сделанных изменений в избирательном законе была обеспечена для октябристов, которые тут и провели впервые своих кандидатов в Думу от города Москвы.

А я разрешил себе наконец ту роскошь, о которой давно мечтал. На весь 1908 г. я погрузился в работу над окончанием второй своей большой научной монографии, которая составила мою вторую диссертацию, и которая была посвящена истории Городового положения Екатерины II, изученной мною на основании никем не затронутого дотоле архивного материала. Книга была готова в 1909 г., и весною состоялся диспут. Стоял погожий день. Наполнившая большую университетскую аудиторию публика пестрела цветными весенними нарядами. Милые мои ученики и ученицы убрали мою кафедру цветами. Праздничное оживление господствовало в аудитории, а диспут носил характер непринужденной научной беседы между мною и моими коллегами по кафедре Любавским и Готье. Ключевский на этот раз не мог участвовать в диспуте, находясь в отпуску вне Москвы, по болезни, и только это обстоятельство меня огорчало. У меня осталось от этого дня впечатление как от какого-то светлого момента чистой радости.

Тотчас вслед за диспутом Ключевский внес в факультет предложение об избрании меня в профессора Московского университета, и мне более всего приятно вспомнить, что и в факультете, и в Совете это избрание прошло без сучка и задоринки, без малейшего намека на те осложнения и личные препирательства, которыми столь часто сопровождаются академические выборы. Осложнения начались уже в министерстве, но не на академической, а на политической почве, ибо кадетская марка не пользовалась благоволением начальства.

Закончив свои долгие работы по истории городского самоуправления в России в XVIII столетии, я принялся за новые архивные разыскания, поставив себе обширную задачу: изучить служебное и экономическое положение «гостей Московского государства» —

верхнего слоя представителей торгового капитала в XVI–XVII вв. Эта работа занимала меня в течение всех последующих лет до моего изгнания из России. Я собрал громадный и интереснейший архивный материал и уже готовился приступить к его обработке, но революционные события смяли и развеяли мои научные планы. Удастся ли их когда-либо выполнить? Бог весть...

Попутно я занимался еще и другими исследованиями. Московское Купеческое общество вознамерилось выпустить к своему юбилею свою историю на основании документов архива Московской купеческой управы. По приглашению Общества я составил обширный план этой истории, рассчитанный на несколько томов. Лично на себя я взял историю «Гильдии Московского купечества» на рубеже XVIII и XIX столетий. Под этим заглавием я выпустил толстый том, весь основанный на разработанных мною материалах прекрасно устроенного архива Московской купеческой управы. А затем по приглашению нижегородского ярмарочного комитета я составил план обширной, тоже многотомной истории Нижегородской ярмарки и с наслаждением занимался в архиве ярмарочного комитета. До революции успели выпустить только один предварительный том, написанный Мельниковым: общий обзор истории ярмарки, а до более специальных томов, в которых должны были появиться и мои работы, дело так и не дошло, ибо и это обширное научно-историческое предприятие рухнуло в вихре последующих зловещих событий. За время 1910–1915 гг. вышли два тома сборников моих исторических этюдов по различным вопросам внутренней истории России в XVIII и XIX ст.: «Исторические очерки» (1912) и «Исторические отклики» (1915). В первом из этих сборников напечатан, между прочим, мой обширный этюд об отношениях Александра I и Аракчеева. Здесь я высказал несколько положений по догадке, так как, не имея доступа к документам, хранившимся в собственной Е.И.В. библиотеке, не мог подкрепить их вполне документальными данными. И мне было очень приятно найти в вышедшей позднее книге вел. кн. Николая Михайловича об Александре I, занимавшегося в названном архиве, подтверждения моих догадок. Николай Михайлович прямо сослался на меня в своей книге и любезно прислал мне свое произведение. Я слышал потом, что он выражал желание со мной познакомиться и все

раздумывал, как бы это устроить: «К нему мне ехать неловко, а, если пригласить его к себе, — вдруг он уклонится?» — говорил он, опасаясь, что «оппозиционный кадет» не захочет знакомиться с великим князем. Он хотел устроить свидание где-нибудь на нейтральной почве, но так и не собрался. Разумеется, мой «кадетизм» нисколько не помешал бы мне войти в сношения с автором многих почтенных исторических работ.

Параллельно с научными работами расширялась и моя педагогическая деятельность. Я читал лекции в университете и на Высших женских курсах, и там и здесь мне приходилось иметь дело с большим количеством превосходной талантливой молодежи, выделявшей из себя немало лиц, обещавших стать впоследствии даровитыми историками. А затем мой друг П.И.Новгородцев, ставший во главе Коммерческого института и в короткое время сумевший сделать из этого института популярнейшее высшее учебное заведение Москвы, пригласил меня читать там курс русской истории. Приятно было работать там в компании с такими людьми, как Шершеневич, И.А. Покровский, Кокошкин, Анисимов, Цингер и ми. др. Была украшена наша компания и импозантной фигурой председателя первой Думы Муромцева.

Теперь я хочу несколько подробнее сказать еще об одном учебном заведении, возникшем в Москве в те годы, в котором мне пришлось работать очень много с тем увлечением, какое невольно вызывалось необычным складом этого учреждения и важным значением этого учреждения в общественной жизни России. Я разумею Московский городской народный университет имени Шанявского.

Все было в высшей степени своеобразно и незаурядно в истории этого учреждения — и самая личность его основателя, и обстоятельства его возникновения, и последовательный рост его внутренней жизни.

С личности основателя этого университета и позволю себе начать рассказ. Альфонс Леонович Шанявский был поляк по происхождению. При Николае I он, как круглый сирота, попал в число тех польских мальчиков, которые были размещены русским правительством по различным учебным заведениям внутренней России. Ша-

нявскому довелось попасть в кадетский корпус в г. Орле. Россия оказалась для юного Шанявского не мачехой, а истинной матерью, и сам Шанявский полюбил ее настоящей любовью. В корпусе все были расположены к милостивому, добронравному и чрезвычайно способному воспитаннику. Он окончил курс с отличием и был отправлен в Петербург для довершения образования. Там он поступил в академию военного генерального штаба, где также обратил на себя внимание своими блестящими способностями. Он заканчивал курс в знаменательный момент. Начинались шестидесятые годы XIX столетия. Наступала эпоха реформ. И после долгого оцепенения за время николаевской реакции словно электрическая искра пробежала по мыслящей России. Все встрепенулись. Новые веяния, стремление к преобразению всей жизни на новых началах охватывали самые разнообразные круги общества. Немало при этом было увлечений, легкомысленных, порой уродливых. Но под этой поверхностной пеной, неизбежной при всяком процессе брожения, развертывались и более глубокие явления, знаменовавшие собою рост общественного самосознания. Две черты представляются мне наиболее характерными для начавшегося тогда умственного движения. Это, во-первых, вера в науку как в великую социальную силу, как в могучую двигательную пружину общественного прогресса; и во-вторых — глубокое убеждение в том, что истинный и прочный прогресс возможен только на почве свободной общественной самодеятельности.

А.Л. Шанявский глубоко впитал в себя эти идеи и на всю жизнь остался их непоколебимым знаменосцем. В этом смысле он должен быть признан типичным «шестидесятником». Но одно теоретическое признание этих истин его не удовлетворяло, содействовать проведению их на практике, послужить такому делу, которое в одно и то же время было бы связано и с идеей распространения научного просвещения, и с идеей общественной самодеятельности — вот что стало заветною мечтою его жизни.

При окончании Шанявским высшей военной школы профессора возлагали на него надежды как на будущего научного деятеля и предлагали ему остаться при академии для подготовки к профессорскому званию. Первоначально он сам склонялся к принятию такого

именно жизненного плана. Но врачи признали петербургский климат губительным для его слабого здоровья и настойчиво советовали ему направиться куда-нибудь подальше от столичных центров. Уступая этим настояниям, он и взял продолжительную служебную командировку в Восточную Сибирь.

Когда человек глубоко захвачен идеей, которая светит ему как маяк на жизненном пути, тогда на руководящую нить такой идеи легко нанизываются многие впечатления от мимо идущей жизненной действительности. Так было и с Шанявским. Сибирские впечатления еще более укрепили его в его заветных мыслях. Там, в Сибири, ему приходилось в связи с служебными обязанностями совершать продолжительные одинокие поездки верхом и во время этих поездок заночевывать под открытым небом, среди леса, наедине с своим конем. Тут-то, в ночной тишине, лицом к лицу с могучей действительной природой, почти не тронутой рукою человека, Шанявский, — как сам он рассказывал впоследствии, — погружался в свои думы. Сильное впечатление производило на него зрелище этого богатства природных даров, раскинутого кругом и остающегося мертвым капиталом, не обрабатываемого планомерно и целесообразно на удовлетворение потребностей человека. И пред ним неотступно вставал вопрос: что нужно сделать для того, чтобы человек стал в этих суровых краях не рабом, а господином окружающей его природы. Шанявский решал для себя этот вопрос как истинный шестидесятник: надо распространить в населении просвещение, разбросать повсюду семена знания, разбудить дремотствующую мысль. Тут же, в Сибири, Шанявскому пришлось испытать и еще одно впечатление, прямо подтверждающее и другую заветную его идею — о том, что дело распространения просвещения может вестись плодотворно лишь на почве общественной самодеятельности.

Среди забайкальских бурят возникло тогда движение в пользу основания местного учебного заведения для бурятского юношества. Собран был по общественной подписке и нужный для того капитал. Оставалось только получить из центра разрешение на открытие задуманной школы. И вот Министерство народного просвещения, во главе которого тогда уже стоял Дмитрий Толстой, заявило, что

разрешение будет дано лишь в том случае, если буряты согласятся завести у себя классическую гимназию с двумя древними языками. Это отнюдь не входило в планы инициаторов и жертвователей из среды бурятского населения. Они мечтали о школе с такой программой преподавания, которая отвечала бы непосредственно практическим местным потребностям. В таком духе и был составлен первоначальный проект школы, в разработке которой, по-видимому, принимал участие и сам Шанявский. Но чиновники на берегах Невы допускали приобщение забайкальских бурят к просвещению не иначе как в форме погружения бурятских юношей в пучину немецких комментариев к творениям Цицерона и Вергилия. Буряты заявили, что на такое дело они не дадут ни копейки. Министерство тоже осталось при своем, и полезное начинание было погублено в самом зародыше.

Этот характерный эпизод произвел на Шанявского сильное впечатление. Мысль о том, что дело народного просвещения для плодотворного своего развития должно быть вверено не бюрократии, а органам общественного самоуправления, предстала теперь перед ним с полной ясностью. План создания вольного университета уже в то время созрел в его голове, и он покидал Сибирь с горячим желанием приложить свою энергию к осуществлению этого плана.

Вскоре по возвращении в Петербург Шанявский женился на Лидии Алексеевне Родственной, одной из пионерок женского движения в России. Это был брак в одно время и по любви, и по идее. Одни и те же заветные мечты манили их обоих, и, соединив свою судьбу, они принялись рука об руку работать над приближением этих благородных мечтаний к практическому выполнению. Об учреждении вольного университета в то время нельзя еще было и помышлять. Это был идеал неопределенного будущего. Но в ожидании наступления лучших времен супруги Шанявские решали делать все для них возможное для поддержания всякого рода общественных образовательных начинаний. Лидия Алексеевна унаследовала от родителей золотые прииски в Сибири. Шанявский взял на себя ведение всех дел по этим предприятиям и, поселившись с женою в Москве, часто ездил в Сибирь. Жили Шанявские очень скромно, обращая большую

часть своих доходов на дела благотворительности, а главное, на поддержку общественно-образовательных учреждений. Занимаясь текущими делами, Шанявский не отступался от главной мечты своей жизни — о создании вольного университета. Он только терпеливо и неослабно выжидал наступления в условиях русской жизни благоприятного момента для осуществления этой своей мечты в наиболее чистой ее форме.

И вот наступил 1905 год. Россия превращалась в конституционное государство. Было объявлено о предстоящем созыве народных представителей. Шанявский встрепнулся и решил, что настал давно жданный момент для претворения его мечты в дело. К тому же и надвинувшиеся на него недуги побуждали его торопиться с осуществлением давно задуманных планов. В его мыслях давно уже было решено, что вольный университет, на создание которого он даст нужные средства, должен будет находиться в ведении московского городского общественного самоуправления. Готовясь принести Московской городской думе в дар свое недвижимое имущество в Москве с тем, чтобы на доходы с этого имущества или на капитал, вырученный от его продажи, был создан вольный городской университет, Шанявский считал нужным в самом дарственном акте оговорить основные руководящие начала этого будущего учреждения. Надлежало, таким образом, составить первоначальный проект положения о будущем вольном университете. За советом и помощью в этом деле Шанявский обратился к профессору Александру Ивановичу Чупрову. Уже этот выбор показывает, как глубоко обдумывал Шанявский каждый свой шаг при подготовке главного дела своей жизни. Мы уже знаем, что Александр Иванович Чупров в течение десятилетий был популярнейшей личностью в Москве по своей необычайной отзывчивости на каждое общественное дело, могущее способствовать развитию просвещения, поднятию благосостояния народных масс, расширению общественной свободы. И, разумеется, нельзя было сделать лучшего выбора, намечая лицо, которое могло бы указать наиболее верные пути для проведения в жизнь замысла Шанявского. Как и следовало ожидать, Чупров горячо откликнулся на почин Шапявского. Он ответил Шанявскому обширным письмом, в котором изложил свои взгляды на задачи и желательный характер

вольного русского университета. Это письмо, хранившееся в архиве университета, следовало бы целиком напечатать. Мыслей, в нем изложенных, я коснусь ниже в связи с описанием устройства университета имени Шанявского, ибо указания Чупрова во многом были восприняты при организации этого учреждения. Сам Чупров не мог, однако, принять участие в этих организационных работах. Он был в это время очень болен, страдал грудной жабой и жил за границей. Вместо себя он указал Шанявскому на Максима Максимовича Ковалевского, который в Париже руководил основанной им там вольной высшей русской школой. Ковалевский немедленно согласился приехать из Парижа в Москву и стать во главе комиссии, которая должна была выработать проект Положения о вольном университете. В эту комиссию по приглашению Шанявского вошел ряд лиц с высоко авторитетными именами. Тут были профессора Муромцев, Трубецкой, Рот, Мануйлов, Хвостов, Давыдов, Реформатский, Сперанский. Пока комиссия обсуждала основные положения учебного плана, Шанявский вместе с приглашенными им юристами вырабатывал подробности дарственного акта. Вдумчиво и осторожно относился он к задуманному делу. Энтузиаст излюбленной идеи, Шанявский был в то же время испытанным общественным деятелем, хорошо изучившим те условия русской жизни, с которыми необходимо было считаться при всяком общественном начинании. Идеализм убежденного человека сочетался в нем с трезвой деловой практичностью, и эта его особенность сказалась в той предусмотрительности, которую он вложил в дело создания им вольного университета. Он внес в дарственный акт два характерных условия. Первое состояло в том, чтобы Положение об университете непременно было внесено в Государственную думу и утверждено законодательным порядком. Шанявский отлично знал, как переменчивы веяния и настроения в высших административных кругах. Желая обезопасить создаваемое им учреждение от неприятных сюрпризов, порождаемых такой переменчивостью начальственных настроений, Шанявский и считал необходимым сообщить Положению об университете силу закона. Другое условие было не менее характерно. Шанявский обозначил в дарственном акте тот крайний срок (были определенно названы год и день), до которого должны были начаться учебные

занятия в вольном университете: если к этому дню занятия не откроются, все пожертвованные средства отбираются от Московской городской думы и получают иное назначение. Этим Шанявский хотел оберечь свое создание от губительного действия русской волокиты. Он опасался, как бы все дело просто не было положено под сукно и не застряло бы безнадежно в какой-нибудь инстанции.

Между тем здоровье Шанявского быстро расстраивалось. Он так серьезно расхворался, что врачи опасались за его жизнь. Нужно было спешить с окончанием всех подготовительных действий к принятию Московской городской думой дара Шанявского. Дума должна была избрать комиссию для обсуждения вопроса о принятии дара, заслушать доклад комиссии и вынести соответствующее постановление. Московская городская дума отнеслась с горячим сочувствием к планам Шанявского. По вопросу о принятии его дара среди думских гласных не возникало никакого разномыслия, несмотря на полную новизну и необычайность предстоящего дела: города и земства основывали и ранее низшие и средние школы, но еще не было примера открытия университета при органе общественного самоуправления. Однако, несмотря на то, что вопрос проходил в думе совершенно гладко, все же требовалось известное время для выполнения всей необходимой в таких случаях процедуры. А смерть уже стояла с своей косой у изголовья Шанявского. Но Шанявский в конце концов победил смерть. Прежде чем отдаться в ее власть, он успел-таки принять нотариуса и оформить все нужные бумаги. Лишь только он поставил свою подпись под последней бумагой, он впал в глубокий обморок, и через несколько часов его не стало.

Теперь на страже его дела остались его жена Лидия Алексеевна и тот кружок просвещенных общественных деятелей, который стараниями Шанявского тесно сплотился около его идеи. Кроме поименованных выше профессоров, в состав этого кружка входил еще М.В.Сабашников, связанный с Шанявским давнею приязнью. Московская городская дума приняла дар Шанявского и согласилась с теми основными положениями устройства университета, которые были включены Шанявским в условия дара. Но впереди предстояло еще выполнить труднейшую часть задачи. Нужно было провести

Положение об университете через законодательные учреждения. Во главе Министерства народного просвещения стоял тогда Кауфман, а товарищем министра был О.П.Герасимов, оба они отнеслись с полным сочувствием к московскому начинанию и обещали все свое содействие к скорейшему прохождению этого дела законодательным порядком. А мы уже знаем, что нужно было торопиться изо всех сил, чтобы успеть открыть университет к тому предельному сроку, который был обусловлен в дарственном акте Шанявского. Министерство Кауфмана сдержало свое обещание и внесло в ближайшую сессию Государственной думы (это была уже третья Государственная дума) соответствующий законопроект. Проект Положения об университете, представленный Московской городской думой, подвергся в министерском законопроекте немногим легким изменениям, ни одно из которых не затрагивало, однако, условий, выставленных самим жертвователем. Казалось, все шло благополучно и можно было надеяться на благоприятный исход дела. И вдруг стряслась неожиданная беда. Кауфман и Герасимов были отставлены от должностей, и министром народного просвещения был назначен Шварц, заявивший себя еще в бытность его попечителем Московского учебного округа определенным сторонником реакционного направления. Одним из первых действий нового министра было взятие обратно из Государственной думы законопроекта о Московском городском университете для пересмотра и переработки. Можно себе представить, какую тревогу вызвало это известие в кругу тех, кто принимал близко к сердцу начинание Шанявского! Ведь непредвиденная затяжка грозила гибелью всего дела ввиду предельного срока, поставленного жертвователем. Тревога стала еще усиливаться, когда из Петербурга стали приходить вести о тех переменах, которые Шварц решил внести в законопроект своего предшественника. Перемены сводились к усилению зависимости вновь создаваемого университета от органов Министерства народного просвещения в отношении постановки учебного дела: вводилось утверждение преподавателей и программ преподавания попечителем учебного округа, утверждение председателя правления университета министром народного просвещения и т.п. Особенно тяжело было то, что Шварц в своих изменениях посягал и на те условия, которые были заявлены жертвователем в

самом дарственном акте и, следовательно, являлись обязательными для дароприемника, т.е. для Московской городской думы. Так, например, Шварц отвергал возможность чтения курсов на различных языках. Главная же опасность заключалась в том, что переработка законопроекта затягивалась и было неизвестно, когда Шварц внесет в Государственную думу свой законопроект. Друзья Шанявского нажимали все доступные пружины для побуждения министра ускорить дело. Вдова Шанявского, несмотря на свой преклонный возраст и тяжелое болезненное состояние, поехала в Петербург, виделась со Столыпиным и получила от него обещание торопить Шварца. Обещание это Столыпин сдержал, и Шварц наконец внес в Третью Думу свой законопроект. Президиум Думы при первой же возможности поспешил поставить на повестку обсуждение законопроекта. И тут оказалось, что дума приперта министром к стене. Шварц заявил, что он не согласится ни на какие поправки к его законопроекту и в случае каких-либо изменений возьмет весь законопроект обратно. А это было бы равносильно гибели всего дела, потому что срок, поставленный Шанявским, был уже не за горами. Государственная дума была поставлена перед дилеммой — либо принять целиком весь проект Шварца, жертвуя в значительной мере принципами университетской автономии и даже не останавливаясь перед нарушением воли жертвователя в некоторых ее частях, либо — похоронить все начинание Шанявского всецело и бесповоротно. Ввиду такого сплетения обстоятельств Лидия Алексеевна Шанявская, как ближайшая истолковательница воли своего мужа, выразила согласие на требуемые изменения в условиях дара и тем облегчила положение дароприемников. В прениях по законопроекту Шварца члены Государственной думы, говорившие с трибуны, горячо выражали чувство возмущения образом действия Шварца и, критикуя по существу изменения, внесенные министром в первоначальный проект, заявили, что они подадут голос за принятие законопроекта только по невозможности лишить Москву и Россию нового просветительного учреждения, идея которого была с такою любовью взлелеяна и выношена Шанявским и близкими к нему благородными деятелями русского просвещения. Прекрасную речь на эту тему сказал член Государственной думы В.А.Маклаков. Едкую отповедь Шварцу дал и П.Н.Милуков. Громы

и молнии негодования обрушил на голову министра оратор, говоривший от лица большевистской фракции (не помню его фамилии). «Министр, — говорил оратор-большевик, — просто стремился лишить Москву народного университета, и нет слов для того, чтобы заклеить это гнусное преступление против русского народа». Не знаю, высказался бы этот оратор в таком смысле, если бы он предвидел, что Шварц, хотя и с урезками, все-таки допустил возникновение в Москве народного университета, а уничтожен был этот университет в самом расцвете его деятельности теми самими большевиками, от лица которых говорил этот оратор.

По принятии Государственной думой законопроекта Шварца он поступил в Государственный совет, причем и вторая палата приложила все старание к его скорейшему рассмотрению. Там большую и прекрасную речь произнес А.Ф.Кони, всесторонне осветивший общественное значение начинания Шанявского. Наконец законопроект стал законом. До истечения срока, назначенного Шанявским, оставалось около двух или трех месяцев. Теперь московскому кружку друзей Шанявского предстояло развить энергичную деятельность. Предстояло в остающееся до срока короткое время закончить хотя бы первоначальное оборудование университета, найти помещение для канцелярии и чтения лекций, образовать первоначальный состав лекторов, распределить между ними курсы, открыть прием слушателей и проч. и проч. Работа закипела, устроители университета встречали отовсюду полную готовность всячески облегчить им их задачу, все трудности были преодолены, и в самый последний день истекающего срока проф. Алексей Федорович Фортунатов прочел-таки первую лекцию в Московском городском народном университете имени Шанявского.

Я изложил вкратце историю зарождения этого университета. Бросим теперь взгляд на основные черты его устройства и его деятельности.

С именем народного университета у нас большую часть соединяется представление о пониженном уровне преподавания, рассчитанном на аудиторию сравнительно мало подготовленную. Устроители и руководители университета имени Шанявского нико-

гда не становились на эту точку зрения. Они смотрели на руководимое ими учреждение не как на суррогат университета, а как на подлинный университет, отличавшийся от университетов обычного типа не уровнем преподавания, а его целями и задачами. Первоначально и сам Шанявский предполагал назвать создаваемый им университет не народным, во избежание недоразумений, связываемых с этим термином, а вольным. Несомненно, в таком наименовании яснее была бы выражена основная идея Шанявского. Но слово вольный было признано неудобным по цензурным соображениям и только по этой причине было оставлено.

Итак, преподавание в университете имени Шанявского ставилось на истинно университетский уровень. Однако это учреждение отнюдь не являлось дублированием государственного университета по составу преподаваемых предметов и по задачам, которые должны были им обслуживаться. В этом отношении проводилась определенная разделительная черта, намеченная еще в том письме А.И.Чупрова, о котором я упоминал выше. Это различие можно формулировать следующим образом: государственные университеты обслуживают потребности самой науки и потребности государственного аппарата. У науки есть свои особые потребности, являющиеся необходимым условием ее преуспевания и развития, но не имеющие непосредственной, ближайшей связи с интересами широких общественных масс; сюда относится, напр., детальная специализация научных исследований по вопросам, стоящим порою слишком далеко от этих интересов. Представляется правильным, чтобы возможность таких исследований обеспечивалась государством. Потребности государственного аппарата состоят в подготовке образованных людей, пригодных для занятия соответственных должностей, этот аппарат обслуживающих, как-то — судебных деятелей, преподавателей, врачей и т.п. И эта задача, естественно, возлагается на государственные университеты, почему и состав преподаваемых там предметов приспособлен к этого рода потребностям. Что же касается университетов «народных», или «вольных», то перед ними раскрывается иное, весьма обширное поле деятельности вне всякой конкуренции с университетами государственными. Это — обслуживание всех тех потребностей, которые вытекают из ближайшей связи науки с инте-

ресами и задачами общественной жизни. Обслуживание потребностей этого рода отнюдь не требует понижения научного уровня преподавания. Дать истинно научное основание для ориентировки в задачах и потребностях, выдвигаемых общественной жизнью, — вот специальное назначение «вольного», или «народного», университета. Но так поставленная задача влечет за собою гораздо большую подвижность и эластичность в составе преподавания, нежели это наблюдается в государственных университетах. Народный университет должен чутко прислушиваться к биению пульса общественной жизни, улавливать назревающие процессы в жизни страны и идти им навстречу, давая научное освещение соответствующим вопросам, организуя нужную научную подготовку для соответствующих деятелей. Планы и программы преподавания в народном университете не должны поэтому представлять собою неподвижную окаменелость, раз навсегда установленную каноническую схему. Они должны разветвляться и видоизменяться параллельно с рождением новых очередных задач общественного развития.

Именно такой линии держался Московский городской университет имени Шанявского в течение всей своей деятельности. Сообразно с этим он получил довольно сложную структуру. Центральным ядром его являлось так называемое академическое отделение, разделившееся на группу гуманитарных наук и на группу наук естественных. Это академическое отделение сообщало своим слушателям, как бы сказать, основной фонд академических знаний по соответствующим дисциплинам. Затем это академическое отделение постепенно обрастало так называемыми «циклами», т.е. специальными группами курсов, приурочиваемыми к той или иной очередной общественной задаче. Эти «циклы», состав которых подлежал постоянным модификациям и пополнениям, и были теми шупальцами, которые университет протягивал в различные стороны, нащупывая нарождавшиеся в стране образовательные запросы и стремясь своевременно идти им навстречу соответствующей организацией преподавания. Так, например, большим успехом пользовался цикл библиотковедения, руководимый известной деятельницей на этом поприще Хавкиной; когда в стране стала подниматься волна кооперативного движения, университет организовал цикл курсов по кооперации, послуживший

толчком к основанию впоследствии отдельного Кооперативного института в Москве, во главе которого стал С.Н.Прокопович. Не меньшее значение должен был получить и цикл по подготовке деятелей по местному самоуправлению, на разработке которого университет сосредоточивал все большее внимание в последний период своего существования, так же как и цикл школьно-педагогический, руководимый А.Д.Алферовым. В создании и комбинировании этих циклов шла неустанная творческая работа университета, соединявшая университет тесными узами со всей внутренней жизнью страны и быстро завоевавшая ему всероссийскую известность. С самых первых моментов своего существования университет обзавелся и собственной подготовительной средней школой. То был так называемый «маленький Шанявский» — малая лодочка, прицепившаяся к большому кораблю. Мне не приходилось воочию наблюдать, как шло там дело. Знаю только, что все — и учащиеся, и учащие — в этой школе составляли тесную семью, спаянную чувством повышенного патриотизма своей ячейки.

Вскоре после своего возникновения университет имени Шанявского получил блестящий преподавательский персонал. Тут сбылась поговорка: «Не бывать счастьем, да несчастье помогло». В 1911 году произошел исход из Московского университета многих профессоров и приват-доцентов в виде протеста против грубого нарушения университетской автономии со стороны министра Нассо, заместившего Шварца. Весь этот многочисленный контингент университетских преподавателей, внезапно оставшийся не у дел, и вошел в университет имени Шанявского. Цвет московской профессуры получил возможность отдать свои силы делу городского народного университета, и закипела интенсивная учебная работа. Во главе сложившейся там преподавательской коллегии за все время существования этого университета стоял Николай Васильевич Давыдов. Нужно сказать два слова о симпатичной личности этого незаурядного человека. Почти вся его жизнь прошла в судебном ведомстве. Он выступил на это поприще еще в последние годы существования старого дореформенного суда совсем молодым человеком, только что окончившим университетский курс. На его глазах осуществилась судебная реформа 1864 г., и он остался на всю жизнь неуклонным приверженцем

основных начал этой действительно великой реформы. Долгое время он служил в провинции, сначала в прокуратуре, потом в магистратуре, был председателем тульского окружного суда и в периоде этой тульской своей жизни вступил в близкую дружбу с Львом Толстым, которая не прерывалась до самой смерти знаменитого писателя. Эта дружба заслуживает внимания. Ведь Давыдов был убежденным судебным деятелем, а Толстой являлся принципиальным отрицателем суда. И тем не менее Толстой был душевно расположен к Давыдову, уважал и любил его. Из Тулы Давыдов перешел в Москву на пост председателя московского окружного суда, который он занимал в течение довольно долгого времени. Но когда при Щегловитове реакционная ломка судебных уставов Александра II, начатая еще в царствование Александра III, дошла до своего апогея, Давыдов не вынес этой реформы и вышел в отставку. И вот на старости лет он решил вступить в число приват-доцентов Московского университета по кафедре уголовного права и для этого предварительно сдать при юридическом факультете магистерский экзамен. Экзамен он сдал очень легко, потому что всю жизнь прилежно следил за литературой по своей специальности. Пленительные черты его личности скоро выдвинули его на первый план в академической среде.

Он пользовался там общей любовью и нравственным авторитетом. Человек высокой культуры, с разнообразными духовными интересами, тонкий любитель литературы и театра, живой, общительный, остроумный, широко либеральный в лучшем смысле этого слова, обладавший удивительным даром спланировать вокруг себя людей, легко сглаживать возникавшие у них необоснованные трения, предупреждать пустые разговоры и всех легко и свободно направлять к дружной работе ради общего дела, Давыдов как нельзя более подходил к роли руководителя такого учреждения, как университет имени Шанявского, в котором как раз было необходимо объединить людей разнородных направлений на почве академической свободы и терпимости к чужому мнению. Давыдов по всему складу своей природы именно как нельзя лучше умел вызывать в каждом человеке готовность к проявлению не того, что способно разъединять людей, а того, что их соединяет и сплачивает. Это выходило у него как-то само собою, достигалось как-то непроизвольно, силою его общепризнан-

ного нравственного авторитета и прежде всего по той причине, что благородная терпимость лежала в основе его собственной природы. Я уже упомянул о его близости с Львом Толстым, утвердившейся, несмотря на существенное различие в их взглядах по многим вопросам. Он был в такой же степени близок со многими выдающимися людьми различных профессий и специальностей. Кони был его ближайшим другом. Приятельские узы соединяли его с Ключевским, Владимиром Соловьевым, Сергеем Трубецким, Лопатиным, Млодзевским, Гольцевым, артисткой Федотовой, артистами Ленским и Южиным и многими другими. Но эта близость с людьми выдающимися, с носителями громких имен не вызывала в нем пресыщенности и кичливости. Он ощущал неиссякаемую потребность в общении с людьми, и каждый человек с живой душой вызывал в нем неподдельную симпатию. Вот почему так легко и приятно было работать под его руководством. В общественное дело он умел непринужденно вносить прелесть приятельского общения, нисколько не поступаясь серьезностью работы, но в то же время умея окружить эту работу живительной атмосферой взаимного доверия и расположения всех участников. И все мы, преподаватели университета имени Шанявского, работали под руководством Давыдова дружно, бодро и весело. Различие политических направлений в нашей преподавательской сфере нисколько не мешало спаянности нашей работы. Октябристы, кадеты, эсеры, эсдеки действовали там рука об руку, как-то инстинктивно чувствуя, что под кровлею университета Шанявского партийная пикировка явилась бы режущим ухо диссонансом среди общей гармонии. А когда над университетом скоплялись грозовые тучи, когда надвигалась опасность для его самостоятельности со стороны мнительного начальства — таких моментов было немало — и когда иные готовы были ввиду этого отдаться безнадежному унынию, тот же Давыдов умел внушить им бодрость, постоянно повторяя с милой улыбкой: «В России, если идешь в какое-либо общественное дело, заранее надо избрать своим девизом вот ту самую птичку, которая «ходит весело по тропинке бедствий»».

Я уже говорил о том, что в университете имени Шанявского уровень преподавания держался на университетской высоте. Порою — где это было возможно по свойству предмета — до известной

степени упрощалось изложение, но самое содержание преподавания отнюдь не разжижалось в целях популяризации. Прием слушателей не был обусловлен представлением каких-либо дипломов или свидетельств. Но слушатели предвзялись о том, что преподавание будет рассчитано на предварительную подготовку в объеме курса средней школы. Если не имеющие такой подготовки все-таки шли в университет Шанявского, это было их дело. Если преподавание оказывалось для них трудным и непонятным, они должны были пенять на самих себя за то, что не оценили значения сделанного им предупреждения. Преподаватели, во всяком случае, обращались к той части аудитории, которая была в состоянии воспринять университетскую науку. И насколько серьезно ставилось преподавание излагаемых предметов, можно видеть хотя бы из того, что некоторые лабораторные работы слушателей-шанявцев были напечатаны в специальных научных изданиях. При естественном отделении работали очень хорошо оборудованные лаборатории. На гуманитарном отделении, кроме чтения лекций, шли семинарские занятия. Все это показывает, что дух истинной университетской науки реял в аудиториях и лабораториях народного университета. А за всем тем не возбранялось сидеть и слушать лекции желающим из числа тех, кто и не прошел курса средней школы. Если им было по плечу систематическое усвоение преподаваемых предметов и если они довольствовались тем, что ловили на лету некоторые более доступные им элементы читаемых курсов, это предоставлялось на их усмотрение. Ведь университет Шанявского не давал никаких прав, не выдавал никаких аттестатов. Экзамены не были обязательны. И не было оснований стеснять занятия слушателей излишней регламентацией.

Все это влияло, конечно, на состав аудитории. Она отличалась большой пестротой и по возрасту, и по социальному положению слушателей. Как живая встает в моей памяти картина моей аудитории в университете Шанявского. Первоначально университет ютился в различных помещениях; часть лекций читалась в аудиториях Политехнического музея, часть — в здании одного из городских москов-

ских училищ. Но так было лишь в первые два-три года, когда дело находилось в зародыше. Вскоре для университета город выстроил прекрасное здание — целый дворец — на Миусской площади¹⁹.

Я читал там свои курсы в главной большой аудитории. Она вмещала около тысячи человек и была устроена в виде обширного амфитеатра, увешанного высокими хорами. Все скамьи были наполнены слушателями. Какая пестрая картина, какое смешение возрастов, типов, одеяний! Я видел там сидящими рядом офицера генерального штаба и вагоновожатого городского трамвая, университетского приват-доцента и приказчика от Мюра и Мерелиза, барыню с пушистым боа на шее и монаха в затрапезной рясе. Возрастные контрасты были не менее разительны. Часто я видел с кафедры умилительную картину. В аудиторию входил седой как лунь старец, ведомый за руку молоденькой девушкой, по всей вероятности внучкой. Точь-в-точь Эдип со своей Антигоной. Дедушка и внучка усаживались рядом и прилежно слушали. Старик делал записи в тетрадке, а девушка заглядывала в его тетрадку, иногда указывала пальцем на какое-то написанное слово, и они шепотом совещались некоторое время.

Университет Шаняевского был единственным учебным заведением, в котором мне довелось встретиться с любителями экзаменоваться. Оно и попятно. Экзамены здесь не были обязательны, и экзаменоваться шли те, кто сам хотел проверить свои знания. Зато здесь и бывали случаи, что не экзаменующий ждал, когда его отпустит экзаменатор, а наоборот, экзаменатор чувствовал себя во власти экзаменующегося, не желавшего остановиться в своих ответах. Помню такой случай: пришли ко мне экзаменоваться два молодых человека. Это были приказчики из большого магазина. Из их ответов я убедился в том, что они хорошо усвоили курс и, кроме того, вполне

19 Большевики, уничтожив университет Шаняевского, поместили в этом здании «университет имени Свердлова» — школу большевистских агитаторов, а прекрасное это здание показывали иностранцам, как одно из достижений большевистской культуры!

сознательно проштудировали несколько глав из книги Ключевского «Боярская Дума Древней Руси». Я выразил свое удовольствие и хотел отпустить их. Но на их лицах выразилось огорчение: «Что же это, Александр Александрович, — сказали они разочарованно, — мы готовились, готовились, а вы нас не хотите спросить как следует». И мне пришлось-таки продолжить с ними беседу.

Университет имени Шанявского приобрел большую популярность в широких слоях населения. И эта популярность переступила далеко за пределы города Москвы. Можно сказать без преувеличения, что этот университет получил всероссийское значение. Слушатели стекались со всех концов России. Окончание курса там не давало никаких прав. Слушатели могли получать лишь не имевшие никакого юридического значения удостоверения о прослушании ими таких-то курсов и о выполнении таких-то работ. Но эти удостоверения, не имевшие никакой силы при определении на государственную службу, котировались весьма высоко на бирже частного труда в различных общественных учреждениях и частных предприятиях. В некоторых отношениях эта популярность даже помешала правильному ходу дела. Так, на курсах по кооперации, по библиотековедению и т.п. нередко появлялись приезжие из провинции с особою целью. Они ходили на курсы не для того, чтобы слушать лекции, а для того, чтобы повысмотреть среди слушателей таких, кто выдавался своими способностями. И затем таким намеченным лицам поддавалось немедленно отправиться в какое-нибудь провинциальное захолустье и занять там то или другое место при каком-нибудь кооперативном учреждении или библиотеке и т.п. Этими преждевременными предложениями слушатели отрывались от неоконченной еще учебной работы, и руководителям университета приходилось принимать особые меры предосторожности против таких ловцов людей, прибывавших из глубины провинции. Конечно, в этом сказывался страшный недостаток в культурных работниках в глухих провинциальных уголках. Но сказывалось также и другое: чрезвычайно высокая оценка образовательного значения университета Шанявского, простодушное убеждение в том, что достаточно пробыть хотя некоторое время в его стенах, подышать его воздухом, чтобы получить уже

возможность выступать на поприще культурной общественной работы.

Можно сказать без преувеличения, что звание «шанявца» служило по всему лицу русской земли отличной рекомендацией для человека. В широкой популярности университета Шанявского, в каком-то нежно-любовном отношении к нему в широких слоях населения мне пришлось убедиться не так давно, когда самого университета уже не существовало. В 1919 г. в Москве еще существовал — тоже вскоре закрытый — Московский областной союз кооперативных объединений. Я работал в культурно-просветительном отделе этого союза. Союз стал организовывать лекционные поездки по провинции для состоявших при нем учреждений. Ездить по России в железнодорожных вагонах в то время было весьма рискованно: это было верным способом схватить тиф, и вот лекторы союза пустились разезжать по Руси «на долгих». В компании с несколькими лекторами совершил и я две такие поездки на лошадях и в санях, принадлежавших союзу. В первый раз мы проехали таким образом от Москвы до Тулы и обратно. Во вторую поездку мы проделали путь от Москвы до Владимира и обратно. По дороге мы останавливались в уездных городах и больших селах и читали лекции. Союз начал уже подумывать о систематизации таких поездок, об устройстве своих почтовых станций и т.п. Но союз вскоре был закрыт, и все его начинания уничтожены. Я вспоминаю об этих поездках с большим удовольствием. Это был истинный отдых для нервов от тяжких переживаний того времени. Целый день сани-розвальни мерно двигаются по бесконечной пелене снежных полей. Легкий морозец ласкает щеки. Кругом — полная ненарушимая тишина. Мы едем и дремлем или ведем неторопливые приятельские разговоры. И начинает казаться, что куда-то далеко-далеко отодвинулись терзающие душу впечатления от текущих событий. Незаметно приближается вечер. Небо розовеет под лучами заката, и в отдалении начинают уже мелькать огоньки уездного города. Доезжаем до города. Сани подвоят нас к крыльцу того помещения, где назначены лекции. И мы прямо попадаем во взбудораженный человеческий улей. Комнаты набиты битком. Нас давно уже ожидают. Мы наскоро пьем чай и закусываем, и затем начинаются лекции и после них бесконечная

беседа. И вот не проходило почти ни одной такой беседы без того, чтобы несколько человек из числа собеседников не обратилось к нам с вопросом: «Ну а как идут дела в нашем шанявском университете?» — и всегда этот вопрос сопровождался какой-то любовной улыбкой, точно спрашивали о родном и бесконечно милом человеке. И когда мы отвечали, что этого университета более уже не существует, что деятельность его прекращена по распоряжению власти, этому известию просто не хотели верить, качали головами и смотрели на нас с сомнением, предполагая, что мы что-нибудь спутали. Деятельность университета имени Шанявского составляет замечательнейшую страницу в истории русского просвещения и русской общественности. Зачем-то эту страницу насильственно прервали на полуслове? Но мы не сомневаемся в том, что с наступлением эры возрождения разрушенной русской культуры восстановится и это истинное народное учреждение и светоч знания вновь засияет под его кровлей прежним блеском.

Уже под конец моего пребывания в России я стал еще читать лекции по истории России в театральной школе при московском Малом театре. Мои работы по истории русского театра и, в частности, моя книга о Щепкине повели к моему сближению с труппой Малого театра, ревностным поклонником которого я был всегда. С Ермоловой я был знаком уже давно, встречая ее постоянно в доме ее сестры Шереметьевской, как я уже упоминал в одной из предшествующих глав. Несмотря на громкую свою славу гениальной трагической артистки, Ермолова была по натуре в высшей степени скромна и застенчива. В силу своей застенчивости она казалась иным несколько суровой. А между тем ей была свойственна редкая доброта и чистота души. Вся труппа обожала ее. Грязь интриг, которую всегда бывает пропитан закулисный театральный мир, отскакивала от нее, как бы не смея к ней прикоснуться, и влияние благородства и сердечности приносила она с собою в театральный болото. Строй ее души был серьезен и возвышен. «Горе имеем сердца!» — таков был лозунг ее творчества, всегда устремленного к идеальным высотам, таково было ее умонастроение и в частной ее жизни. Любимейшим ее чтением были «Жития святых». Трогательны были отношения двух королев труппы московского Малого театра — Ермоловой и Федото-

вой. Когда-то, в молодости, они соперничали друг с другом. К тому времени, когда я их близко узнал, от этого бывшего соперничества не осталось никаких следов. Самая тесная дружба связывала их. Они постоянно читали друг другу свои новые роли, готовясь к спектаклю. Ермолова не выходила на сцену в новой роли, пока Федотова ее не перекрестит. Федотова показывала мне нежное письмо к ней Ермоловой, где было написано: «Сегодня — спектакль; я в отчаянии, что не могла побывать у вас и благословиться у вас; пришлите мне письменное ваше благословение». Федотова в это время уже не покидала своей квартиры, прикованная к креслу тяжелой болезнью ног.

Я нередко просиживал у нее в это время целые вечера. Что это было за наслаждение слушать ее рассказы! Ей шел уже восьмой десяток. Она очень страдала. Во всем ее организме, кажется, не было частицы, которая бы не болела. Но, мечтая о смерти как о желанной избавительнице от страданий, Федотова была полна интереса к окружающей жизни. Стоило взглянуть на ее глаза, чтобы понять, какал горячая, не стареющая дама жила в этом разрушенном теле. Глаза горели поистине молодым огнем. Глубокий ум, острый и насмешливый, светился в них. Часами сидел я, как очарованный, в ее маленьком кабинетике, все стены которого были увешаны портретами знаменитых артистов всех стран с автографическими надписями. А из уст великой артистки лилась ясная, отчетливая речь, художественная, чеканная, расцвеченная юмором, исполненная умственной силы. Говорила, словно жемчуг низала. Яркие воспоминания о минувших годах переплетались с живым обсуждением всевозможных новостей политических, общественных, литературных, а главное — театральных. Иногда беседа вдруг прерывалась. Федотова откидывала голову на спинку кресла и стонала, но через минуту из ее уст уже вновь лилась одушевленная речь и глаза горели огнем молодости. Один из таких вечеров провел я у Федотовой перед самым своим изгнанием из России за границу. Я пришел с ней проститься. Во время нашей беседы вдруг доложили, что приехал актер В.Н.Давыдов. Он переходил тогда из Александрийского театра в московский Малый театр. Через несколько минут в комнату проворно вошел сухонький старичок. Я взглянул на Давыдова и обомлел. Так рази-

тельно изменилась его наружность за годы революции. От его чрезмерной тучности не осталось и следа. Он исхудал и высох.

Быстро подойдя, почти подбежав к Федотовой, он поклонился ей до земли, и затем они бросились друг другу в объятия. Старики расплакались. Они долго переводили дух и смотрели друг на друга, не спеша начинать разговор. Наконец Давыдов оправился и напал увлекательно рассказывать о своих приключениях. Большевистский переворот застал его во время гастрольной поездки на севере России. Он был в Архангельске, когда туда явились англичане. Верхом на коне он произносил речи русским полкам. Потом англичане ушли. Большевики стали одолевать, и Давыдов очутился перед большевистским комиссаром на допросе. Давыдов говорил смело, даже резко. Но артистическая знаменитость его что-нибудь да значила, и его пропустили в Петроград.

И вдруг среди этого рассказа Федотова на своем кресле вся подалась вперед и сказала шепотом: «Владимир Николаевич, спойте». Известно, как превосходно пел он русские песни и романсы. Он начал отнекиваться, ссылаясь на утрату голоса. Она настаивала. И все еще отнекиваясь, Давыдов вдруг протянул руку и запел: «Камин потух, но искры из-под пепла еще сверкают...» Федотова заливалась слезами. Да, потух камин ее жизни, но душа ее еще сверкала искрами ярко и богато. Голоса у Давыдова действительно уже не было. Но вот так именно Глинка без всякого голоса производил неизгладимое впечатление на слушателей, исполняя романсы. Чарующей прелестью веяло от этой тонкой фразировки, которой Давыдов оттенял каждую фразу меланхолического романса. Замер последний звук, и опять все долго молчали, не желая нарушать очарования. Давыдов заговорил первый, и полились воспоминания. Давыдов вспоминал о триумфах Федотовой, а Федотова о триумфах Давыдова. Живая история русского театра вставала передо мною. Я услышал и о том, как во время первого дебюта Федотовой, когда театр стонал от бурных оваций, старик Щепкин, за кулисами стуча палкой, внушал своей воспитаннице: «Но помни, что тебе еще много работать надо; помни, что ты еще ничего не знаешь». Услышал я и то, как Тургенев восхитился игрою Давыдова в «Холостяке» и сравнивал Давыдова с

Мартыновым. Я смотрел на разговорившихся стариков. Их глаза горели, все телесные недуги словно отлетели от них на этот миг куда-то далеко. Наконец Давыдов спохватился, стал прощаться и, вновь отдав Федотовой земной поклон, выбежал из комнаты. Он спешил на ужин, который труппа Малого театра давала в его честь. На этом ужине он пробыл до семи часов следующего утра, непрерывно рассказывал, декламировал, пел и даже плясал, одушевляя все общество. Только в семь часов утра Южин наконец велел отвезти Давыдова спать, ибо вечером ему предстояло играть Фамусова. И все это на исходе седьмого десятка.

Могучая электризирующая сила творчества стариков заключалась не только в их великом художественном даровании, но и в неиссякаемой свежести их души, которая побуждала их неустанно проявлять это дарование в художественных созданиях и помогала им торжествовать над немощами плоти. В это время я сошелся близко и с Южиным, ставшим во главе Малого театра и пригласившим меня читать русскую историю театральной молодежи. Меня привлекали к этому выдающемуся деятелю русского театра и его яркий, умный и разнородный талант, и его высокая интеллигентность, и та гордая смелость, с которой он в пору стадного суетного увлечения разными побрякушками театрального модернизма провозглашал свою верность заветам и традициям, составившим славу московского Малого театра.

Все эти мои занятия архивными исследованиями, преподаванием, театром все же не потушили во мне живого интереса к вопросам политики. Деятельность парламентария меня не привлекала: ведь она совсем не оставила бы времени для тех других занятий, которые являлись моим призванием. Но помимо науки и преподавания была еще одна область деятельности, которой я отдавал немало времени и сил и которая связывала меня с политикой. То была журналистика и публицистика. Я уже упоминал, что с 1906 г. я сделался постоянным сотрудником «Русских ведомостей». Это сотрудничество все развивалось, принимало все большие размеры. В конце 1907 г. умер Гольцев. С его смертью журнал «Русская мысль» остался без руководителя, и ему грозило уничтожение, так как товарищество «Кушне-

рев и К», которое было собственником журнала, очень было склонно его ликвидировать. Кружок лиц, работавших в журнале и лишившихся с его закрытием своего заработка, начал хлопотать перед директорами названного товарищества, чтобы журнал продолжался. Директора после долгих колебаний заявили, что они журнала не закроют лишь в том случае, если я соглашусь стать его редактором. Эта перспектива нисколько мне не улыбалась, но губить журнал было жалко. Я вызвал из Петербурга П.Б.Струве и предложил ему совместно со мной редактировать «Русскую мысль», но с тем, чтобы фактически все редакторское творчество он взял на себя, а на мою долю осталось бы ведение исторического отдела и наблюдение за выполнением его указаний, что было необходимо, ибо редакция и типография были в Москве, а П.Б.Струве жил в Петербурге. На таких-то началах мы и вели с ним вместе в полном согласии журнал несколько лет, а впоследствии Струве получил возможность взять на себя целиком все редакторские функции, а я остался лишь постоянным сотрудником. С 1912 г. я еще теснее связался с «Русскими ведомостями». Я вошел в состав образовавшегося тогда нового издательского товарищества по изданию этой газеты. Престарелый Соболевский нуждался в отдыхе и ушел на покой. Герценштейн и Иоллос погибли от руки убийц. Умер А.И.Чупров. Для того чтобы газета могла продолжать существование с прежней внушительностью и блеском, нужно было сплотить около нее такой же внутренне спаянный кружок единомышленников, который некогда, в начале 80-х годов, возвел ее на высоту авторитетнейшего органа русской ежедневной прессы. Такой кружок и сложился теперь частью из тех членов старого товарищества, которые находились в полной силе и во всеоружии опыта, частью из лиц, примкнувших к газете уже в период политического кризиса 1904–1905 гг. и обнаруживших в своем сотрудничестве ценные для газеты данные. Компания получалась отличная. Редакторами были избраны А.А.Мануйлов, В.А. Розенберг и И.Н.Игнатов. С этого момента моя публицистическая деятельность целиком сосредоточилась в «Русских ведомостях». И я написал там очень много вплоть до того дня, когда Ленин объявил независимую печать буржуазным предрассудком и посадил обитателей большевистского земного рая на хроническую мозговую диету,

предоставив им наслаждаться патентованными большевистскими «Известиями» и «Правдами».

IV

С observationalного поста журналиста можно было наблюдать процесс постепенного нового полевения общественных настроений за семилетие 1908–1914 гг. После роспуска второй Думы на некоторое время настало нечто вроде штиля. Словно все утомились предшествующим политическим водоворотом. Но затем неспешно, но последовательно начался новый подъем волны политического возбуждения. Бедствия мировой войны дали лишь особенно сильный толчок для полного обострения этого процесса, начавшегося еще до сараевского выстрела.

Отражение этого процесса можно было наблюдать даже и в столь несовершенном зеркале, каким были третья и четвертая Государственные думы.

Изменение избирательного закона, произведенное 3 июня 1907 г., дало свои плоды на выборах в третью Думу. Состав этой Думы резко отличался от двух предшествующих. Кадеты, в первой Думе составлявшие центр, а во второй подвинутые на левую окраину правого крыла, теперь очутились на правой окраине левого крыла, занятого «трудовиками» и социалистическими фракциями. Октябристы, в первых двух Думах составлявшие очень малую группу, теперь заняли центр, а правое крыло было наполнено крайними правыми, явившимися в третью Думу с очень повышенными притязаниями в сознании того, что октябристский центр будет в них нуждаться как в опоре против соединенных действий оппозиционных фракций. Притом же октябристы были связаны с правыми заключенным во многих местах предвыборным блоком.

Третья Дума была единственная из всех четырех Дум, просуществовавшая полное пятилетие и окончившая свое существование естественным порядком. И к концу этого пятилетия (1907–1912) вышеуказанный процесс полевения общественных настроений успел уже достигнуть значительного развития, что отразилось и на тактике

думских фракций. Первые шаги третьей Думы прошли под знаком явной зависимости октябристского центра от правого крыла и острой вражды думского большинства ко всем представителям оппозиции. В председатели Думы был избран октябрист Хомяков голосами центра и правых. А в остальном составе президиума правые получили преобладающую роль. И правые тотчас начали наступление. 13 ноября 1907 г. происходило обсуждение ответного адреса на тронную речь. Правые потребовали, чтобы в адресе государь был назван «самодержавным». К.д., наоборот, настаивали на том, чтобы государственный строй России был назван конституционным.

Октябристы очутились в очень трудном положении. Они не хотели отречься от конституционализма, значившегося в их программе, и не считали возможным порвать с правыми. Они избрали ту неопределенную середину, которая обыкновенно не удовлетворяет никого. Октябристские лидеры произнесли речи с конституционными заявлениями, но внести в адрес слово конституция октябристы отказались под тем шитым слишком белыми нитками предлогом, что русский язык достаточно могуч, чтобы не пользоваться иностранными словами.

А вслед за тем Столыпин, восторженно приветствуемый октябристами, прочел свою декларацию, в которой как бы присоединился к двусмысленной позиции думского большинства, бросив несколько красивых, но чрезвычайно туманных фраз о том, что к «русскому стволу нельзя прививать иностранных цветков».

Конец 1907 г. и начало 1908 г. были обильны проявлениями ликвидации пережитого политического кризиса. 12–18 декабря состоялся суд над 169 членами первой Думы, подписавшими «Выборгское воззвание», которые и были приговорены к трехмесячному тюремному заключению. В декабре были произведены многочисленные обыски в Москве у членов партии к.д. В земских собраниях явный перевес брали реакционные течения. Дворянские собрания исключали из состава своих обществ выборжцев, и московское дворянское собрание, исключив Кокошкина, вместе с тем 198 голосами против 122 приняло адрес государю с таким текстом, который

был равносильным призыву к восстановлению самодержавия во всей полноте и нераздельности.

13 февраля 1908 года триста членов Думы были приняты государем, и в своей речи государь подчеркнул, что главной задачей он считает улучшение поземельного устройства, но с тем, чтобы при этом отнюдь не было затронуто чье-либо право собственности. Иначе говоря, налагалось вето на принцип принудительного отчуждения. В Думе между тем думское большинство всячески подчеркивало свое отталкивание от всех групп, стоявших левее октябристов, и при появлении на трибуне лидера к.д. Милокова раздавались шиканье, свист и оскорбительные выкрики.

Тем не менее уже к концу первой сессии III Думы во взаимоотношениях и в настроениях думских групп стали обозначаться новые знаменательные явления. На правом крыле правые крестьянские депутаты начали выходить из полного повиновения «господам» и с трибуны из крестьянских уст стали уже раздаваться речи, выражавшие негодование на то, что «господа» их обманывают и вопреки обещаниям, данным на выборах, откладывают в долгий ящик вопросы, связанные с крестьянскими интересами, и — главное — вопрос о земле.

А вместе с тем и в составе октябристского центра обнаружился свои «бунтовщики». В самом «центре» обозначились крылья — правое и левое: правые октябристы, такие, как Гололобов, Половцов и т.п., компрометировали свою фракцию, ибо слишком уже разило от них черносотенным духом, а на левой окраине октябристского центра выделялись такие фигуры, как Петрово-Соловово или Мейендорф, в ряде вопросов решительно расходившиеся со своей фракцией, не желавшие прикрывать стыдливой вуалью своих конституционных убеждений и произносившие подчас чисто «кадетские» речи.

В особенности поспособствовало поднятию политической температуры в третьей Думе рассмотрение бюджета. Обсуждение бюджета министром народного просвещения и военно-морского ведомства в первую же сессию сопровождалось такими выступлениями октябристских лидеров, которые показывали, что и октябристский центр

не будет при случае останавливаться перед весьма едкой критикой правительственных действий.

1 января 1908 г. Кауфман был отставлен от поста министра народного просвещения и заменен Шварцем, который в противоположность своему предшественнику тотчас взял резко реакционное направление во всех частях своего ведомства. И при обсуждении бюджета этого министерства против политики Шварца горячо восстали не только с.д. и к.д., но и октябрист Анреп обрушился на Шварца с энергичной и запальчивой критикой. И еще более высокую оппозиционную ноту взял А.И.Гучков, когда дело дошло до сметы военного и военно-морского ведомства. Критикуя деятельность безответственных лиц в кругу этого ведомства, Гучков прямо называл имена нескольких великих князей как виновников неурядков и злоупотреблений, что произвело тогда очень сильную сенсацию.

Вторая сессия третьей Думы (1908–1909) ознаменовалась утверждением Указа 9 ноября 1906 г., проведенного в свое время Столыпиным по 87 ст. и устанавливавшего свободный выход желающих крестьян из общины вместе с их участками общинной земли. Тут думское большинство было вполне согласно с Столыпиным и даже пошло еще дальше текста Указа 9 ноября по пути разложения земельной общины. Зато в эту же сессию разыгралась тяжелая для Столыпина история, вызвавшая большое волнение и в обществе, и во всех группах Думы. То было дело с разоблачением провокаторской службы Азефа при департаменте полиции. Левое крыло внесло запрос об этом деле председателю Совета министров. Запрос обсуждался в заседании 13 февраля 1909 г. Столыпин дал объяснения очень неудовлетворительные. Он взялся доказывать, что Азефа нельзя признать провокатором, развил при этом очень странную теорию, что провокатором является лишь тот, кто берег на себя инициативу преступления, тогда как Азеф только поддерживал преступления, начинаемые другими, и устранял препятствия для их совершения. Маклакову ничего не стоило показать неосновательность этой теории. Развернулись страстные прения, в которых принимали участие представители всех фракций. И хотя октябристы, связанные со Столыпиным, поддерживали и провели формулу, предложенную

умеренно правыми, в которой запрос отклонялся и объяснения правительства признавались удовлетворительными, тем не менее в прениях ряд октябристских ораторов подобно представителям оппозиции, порицал провокаторские приемы департамента полиции.

В эту же сессию Дума приняла либеральный законопроект, облегчающий положение старообрядцев и дающий свободу перехода из православия в другие исповедания. В этом случае октябристы уже отошли от правую крыла и действовали заодно с левым крылом. И эта трещина в отношениях центра с правыми стала постепенно углубляться. Влияние предвыборных блоков утратило прежнюю силу. Оппозицию уже невозможно было трактовать как кучку безответственных агитаторов, которой надо просто зажать рот. Оппозиция приобретала более авторитетную роль в думской работе, и уже никак нельзя было не считаться с вескими выступлениями Милюкова по вопросам внешней политики, Шингарева по бюджету, Маклакова по юридическим вопросам и т.д. Выходили даже и такие случаи, когда формулы, предлагавшиеся оппозицией, получали большинство. А с другой стороны, вес труднее становилось октябристам поддерживать связь с крайними правыми, не компрометируя себя в глазах общественного мнения. Ибо черносотенная агитация принимала все более резкие и возмутительные формы. Черносотенцы разнуздались. Они чувствовали за собою какую-то опору, которая давала им возможность игнорировать самого Столыпина, формально возглавлявшего правительство. Появились привилегированные градоначальники, державшие себя в своих градоначальствах как независимые паши и доводившие до анекдотических нелепостей свой дикий произвол. Думбадзе в Ялте, Толмачев в Одессе стали в этом отношении прямо «притчей во языцех». В Царицыне неистовый иеромонах Иллиодор открыто вел черносотенно-крамольную агитацию в нафантазированной им пастве, и синод был бессилен по отношению к нему так же, как Столыпин был бессилен по отношению к Думбадзе и Толмачеву.

«Союз русского народа» с Дубровиным во главе открыто устраивал съезды и принимал погромные резолюции.

12 мая 1909 г. левое крыло Думы внесло запрос о боевых дружинах «Союза русского народа» и об участии в этих дружинах

агентов «охранки». Пуришкевич, Клеповский, Новицкий и другие депутаты крайнего правого крыла произнесли с трибуны панегирики «Союзу русского народа». Но октябристы отгородились в этом случае от правых и совместно с оппозицией составили большинство за принятие запроса.

Открывшаяся осенью 1909 г. третья сессия Думы началась относительно спокойно. До Рождества был рассмотрен законопроект о местном суде, за ним последовал ряд законов о Финляндии, урезывавших финляндскую автономию, законопроект о неприкосновенности личности, о степени либеральности которого можно судить уже по тому, что его пестуном явился самый правый октябристский депутат Гололобов, по существу долженствовавший заседать на правом крыле. Обсуждение всех этих вопросов опять сблизило центр с правым крылом и подчеркнуло его расхождение с оппозицией. И правое крыло учло это обстоятельство. После рождественских каникул с началом 1910 г. крайние правые начали целую кампанию думских скандалов, их бесцеремонность доходила до крайних пределов, как будто решено было дискредитировать Думу неприличными выходками и сценами, а октябристский центр не давал этому надлежащего отпора. В Думе установилась невыносимая атмосфера какого-то преднамеренного хулиганства. Наконец 3 марта 1910 г. разыгрался колоссальный скандал. Пуришкевич дошел до того, что выкрикнул на всю Думу площадное ругательство по адресу почтеннейшей общественной деятельницы А.П.Философовой. Председатель Хомяков не остановил Пуришкевича, а, напротив того, стал предлагать к исключению тех депутатов, которые возмущенно протестовали против выходки Пуришкевича и требовали лишения его слова. Все это вызвало такое возбуждение, что Хомяков отказался от председательствования и председателем был избран А.И.Гучков. Вступая в должность председателя, А.И.Гучков произнес речь, в которой уже прямо обозначил государственный строй как «конституционную монархию», подчеркивая этим, что октябристы уже отрешились от той зависимости от правого крыла, которая при открытии третьей Думы заставляла их избегать этого сакраментального термина. Он сказал далее, что будет утверждать «культурные парламентские нравы», бросая тем упрек правому крылу за чинимые им скандалы.

Наконец, он сделал определенный намек, выражавший неодобрение по адресу Государственного совета, который уже начинал играть роль «пробки» по отношению к тем законопроектам, принятым Думой, которые носили либеральный отпечаток, как, например, законопроекты по вероисповедным вопросам.

Симптоматическое значение этой речи заключалось именно в подчеркивании грани, отделявшей центр от крайних правых. Весною 1910 г. в думском центре всплыло наружу течение, показавшее, что в центре имеются элементы, расположенные идти по пути полевения еще дальше, нежели это было намечено в речи А.И.Гучкова.

В мае 1910 г. Столыпин внес в Думу законопроект о земских учреждениях в шести губерниях западного края. Согласно этому проекту, там для выборов в земство устанавливались национальные курии с целью сильно ограничить участие в местном самоуправлении польского элемента. Октябристы поддерживали этот проект Столыпина, но 16 человек октябристской фракции, в числе которых находились Хомяков, Мейендорф, Беннигсен, голосовали против перехода к постатейному чтению законопроекта и один из них — Клименко — заявил с трибуны, что проект прямо противоречит программе Союза 17-го октября, где говорится о широком развитии местного самоуправления «без различия вероисповедания и национальностей». «Три года, — воскликнул он, — все приходится поступаться своими принципами! В будущем я буду руководиться только своею совестью».

Законопроект большинством Думы был принят, но ему еще предстояло в дальнейшем послужить поводом для любопытных политических осложнений.

С осени 1910 г. стало ощутительно заметно какое-то оживление в общественных настроениях. Оно выразилось, между прочим, в двух грандиозных манифестациях. В начале октября скоропостижно скончался председатель первой Государственной думы Муромцев. 7 октября состоялись в Москве его похороны. Москва всколыхнулась. М.М.Ковалевский говорил, что с грандиозностью этих похорон могли сравниться разве только похороны Тьера в Париже. Панихиды на дому были так многолюдны, что нечего было и думать впустить в

квартиру всех проходящих, и каждая панихида повторялась затем под открытым небом, на обширном дворе дома. Лес венков и громадная толпа окружили дом перед выносом тела, и, когда мы шли в похоронной процессии к университетской церкви, толпа все росла. Дошли до Театральной площади и увидели, что она запружена новой громадной толпой. После отпевания процессия двинулась к Донскому монастырю, где совершалось погребение. Уже сгустились вечерние тени, когда у могилы начались речи. При свете факелов говорились эти речи, перед толпой, наполнившей обширную еще пустую тогда поляну вновь разбитого кладбища. Говорили Мануйлов, как ректор университета, Кокошкин, Родичев, Милюков, я, Щепкин — как товарищи Муромцева по партии, говорили представители учащейся молодежи и адвокатуры. Полицеймейстер ужасно волновался и нервничал, прерывал речи и нарушал торжественную чинность общего настроения. Распоряжался похоронами А.Р.Ледницкий, и много забот выпало в этот день на его долю.

15 октября фракция народной свободы предложила Думе почтить память председателя первой Думы вставанием. Все фракции готовы были принять это предложение. Но правые запротестовали. Председательствовал в этом заседании товарищ председателя кн. Волконский, принадлежавший к правому крылу. Вообще он отправлял свои обязанности вполне беспристрастно, но тут отказался предложить Думе почтить память Муромцева, ссылаясь на возникшее разногласие.

В ноябре того же года скончался Лев Толстой. В день его похорон масса народа устремилась в Ясную Поляну. Вокзал и поезда были переполнены. Общество любителей словесности в этот день устроило публичное заседание о Толстом, на котором говорили я, Сакулли и Айхенвальд. Председатель Общества Грузинский уехал на похороны в Ясную Поляну, и мне в качестве товарища председателя пришлось распоряжаться заседанием. И весь день до самого начала заседания звонок не умолкал в моей квартире; все спешили обеспечить себе билет для входа в здание.

Смерть Толстого вызвала ряд демонстраций с лозунгом «Отменить смертную казнь!». Недавняя статья Толстого «Не могу молчать»

— пламенный протест против казней — была у всех в памяти. Студенчество пришло в движение, стали устраиваться сходки, в обществе собирались подписи под декларацией против казней, в Думе левое крыло внесло предложение о постановке на очередь давно внесенного законопроекта об отмене смертной казни, но Дума отложила это предложение 161 голосом против 131.

Начало 1911 г. принесло новые поводы для общественного возбуждения. Назначенный вместо Шварца министром народного просвещения Кассо начал самым грубым образом нарушать утвержденные законом права университетских советов. Совет Московского университета протестовал против этих мероприятий. Кассо ответил на это увольнением ректора Мануйлова, его помощника Мензбира и проректора Минакова. Тогда большая группа профессоров и доцентов демонстративно покинула университет ввиду того, что уволенные члены президиума Совета лишь выполняли постановления Совета и, следовательно, все профессора были связаны с ними полной солидарностью и нравственно были обязаны их поддержать. Тогда и я покинул университет и вернулся в него вместе с товарищами уже при Временном правительстве, когда министром нар. просвещения стал Мануйлов. Много шума вызвала тогда вся эта история. И надо сказать, что Кассо своей противозаконной расправой с университетской автономией (кто-то остроумно сравнил его натиск на университеты с автомобилем, вторгшимся в лавку фарфоровых изделий) много поспособствовал расшатанности правительственного престижа.

В Думе тоже произошли события, взволновавшие общество. Государственный совет 4 марта отверг национальные курии для земства в западных губерниях. Тогда Столыпин исходатайствовал у государя роспуск Государственного совета и Государственной думы на три дня только для того, чтобы в это трехдневное междудумье провести закон о земстве в западном крае по 87 ст.! Это было такое извращение смысла 87 ст., которое являлось издевательством над законодательными учреждениями. Теперь даже многие сторонники закона о земстве в Западном крае были возмущены. 15 марта в Думе происходили горячие прения по этому вопросу. Только Шульгин и

Марков 2-й пытались оправдывать меру Столыпина. Больше защитников не было. Октябрист Шидловский назвал действия правительства вызовом. Октябрист Хомяков сказал, что председатель Совета министров подал пример нарушения Основных законов. Дума приняла все четыре запроса, предложенные по этому делу разными фракциями. Даже запрос, предложенный социал-демократами, встретил поддержку со стороны большинства третьей Думы и был принят, и уже одно — это обстоятельство красноречиво свидетельствовало о степени общего возбуждения. Тогда Гучков сложил с себя обязанности председателя Думы, и на его место был избран Родзянко.

Полевение Думы выразилось после того, между прочим, и в том, что Дума в конце этой сессии рассмотрела и приняла законопроект о расширении бюджетных прав Думы, давным-давно внесенный фракцией к.д., но отложенный в долгий ящик.

Осенью 1911 г. началась последняя, пятая сессия третьей Думы. Она начиналась при еще более сгущенной напряженности общего положения. 1 сентября был убит в Киеве Столыпин. Убийца Богров был связан с «охранным отделением». Таинственность убийства волновала умы. Дума приняла все три запроса об этом событии, в том числе и запрос, внесенный крайними левыми фракциями. Новый министр внутренних дел Макаров дал по этим запросам очень бледные и малосодержательные объяснения, никого не удовлетворившие. Вскоре за тем разыгралось событие, давшее новый сильный толчок общественному возбуждению. То был расстрел рабочих на Ленских приисках. Обстоятельства этого дела вызвали большое возмущение в разнообразных кругах. А неосторожная фраза Макарова при даче объяснений в Думе об этом событии (он сказал, между прочим: «Так было — так будет») была подхвачена как своего рода крылатое слово, характеризующее косность правительственной власти.

В повышенных тонах прошло в Думе и обсуждение пятого бюджета. Маклаков обрушился с резкой критикой на всю деятельность Щегловитова по управлению Министерством юстиции, и вся Дума, за исключением правых, рукоплескала оратору. А.Гучков развернул яркую картину злоупотреблений в военном ведомстве, и его разоблачения вызвали дуэль между ним и Мясоедовым. Толки о

непригодности военного министра Сухомлинова и больших беспорядках в артиллерийском ведомстве широко обращались в обществе, а Гучков говорил с трибуны Думы: «В течение пяти лет мы старались внутренними средствами (т.е. в комиссии) подвинуть ведомство на быструю работу и теперь обращаемся с криком отчаяния и говорим, что без резкого и властного вмешательства Думы, без вашего негодующего протеста зло никогда не будет устранено».

В мае третья Государственная дума закончила свое существование. За пять лет своей работы она пережила значительную эволюцию. Поддаваясь на рост оппозиционного настроения в стране, Дума полевела. Но это полевание касалось только ее политических настроений. Напротив того, в области социальных вопросов большинство третьей Думы, избранной по закону 3 июня 1907 г., неподвижно стояло на своей противodemократической позиции, и подвинуть это большинство на сколько-нибудь решительные меры, направленные на удовлетворение интересов широких народных масс, не было никакой надежды. Это приводило к результатам в высшей степени вредным и опасным для будущего. Народная масса утратила доверие и сочувствие к Думе. Она признала Думу исключительно «господским» делом и прониклась к ней полным равнодушием как к учреждению, от которого нечего ждать облегчения своей жизненной доли. И насколько это было вредно и опасно — в этом пришлось удостовериться в 1917 г., когда вызванное политическим кризисом народное движение пошло мимо Думы и Дума не смогла конкурировать с влиянием большевистских демагогов.

В ноябре 1912 г. состоялись выборы в IV Думу. По своему партийному составу четвертая Дума очень мало отличалась от третьей. Только едва заметно усилилось правое крыло. Но господствующее в новой Думе настроение сразу же показало крен налево.

Избранный в председатели Думы октябрист Родзянко в своей речи прямо и определенно заявил себя убежденным сторонником представительного строя, основанного на строго конституционных началах. Укрепление этого строя он признал главной задачей народного представительства и прибавил, что русский народ ждет устранения недопустимого произвола.

Эта речь произвела внушительное впечатление и вызвала неодобрительные замечания в официозной печати.

При обсуждении бюджета этот крен налево сказался очень явно. Дума приняла формулы неодобрения двум министрам — внутренних дел (Н.А.Маклаков), народного просвещения (Кассо). И это особенно знаменательно — большинство за принятие этих формул составилось без участия крайнего левого крыла, которое имело свои более резкие формулы. Но и формулы, принятые умеренными группами с октябристами во главе, отличались такой решительностью в критике правительственных действий, до которой никогда не доходило большинство третьей Думы. Так формула октябристов по адресу Министерства внутренних дел, принятая 164 голосами против 47, выражала порицание министерству за уклонение от внесения в законодательные учреждения назревших реформ, чем создается препятствие водворению в стране правового порядка и убивается чувство уважения к законности, и за разъединение русских граждан неодинаковым применением закона по отношению к отдельным национальностям.

Это проникновение оппозиционного духа в среду умеренных элементов общества составляло наиболее характерную черту общественной жизни накануне мировой войны. Не было, таким образом, неожиданностью, что в четвертой Думе постепенно образовался так называемый прогрессивный блок, т.е. соглашение между центром и умеренными группами левого и правого крыла на известной платформе неотложнейших прогрессивных реформ. Это было естественное завершение того постепенного полевения умеренных общественных кругов, которое началось еще в период третьей Думы, и, усиливаясь с каждым годом, достигло в четвертой Думе определенно оформленного результата. Уже осенью 1913 г. можно было отметить ряд симптомов в этом направлении. В сентябре 1913 г. в Киеве происходило открытие памятника Столыпину. К этому моменту был приурочен ряд съездов, как, например, съезд городских деятелей и всероссийский сельскохозяйственный съезд. На этих съездах были представлены как раз именно умеренные общественные круги, а не радикальная интеллигенция. А между тем там происходили сцены,

которые могли напомнить драматические моменты съездов 1904–1905 гг.

На съезде городских деятелей участвовали исключительно гласные городских дум. Программа съезда была посвящена финансовому положению городов, и сначала доклады и прения вращались в кругу вопросов, касавшихся интересов владельцев городских недвижимостей. Но по мере хода съезда вся ярче стало выдвигаться оппозиционно-политическое настроение. При восторженных рукоплесканиях принята была общая резолюция съезда, в которой говорилось, что «основное препятствие к подъему благосостояния городов состоит в тяжелом застое законодательного творчества, в глубоком расстройстве управления и в ненормальном отношении власти к органам самоуправления». Резолюция заключалась указанием на то, что «уклонение от начал манифеста 17-го октября грозит стране тяжкими потрясениями и гибельными последствиями».

А.И.Гучков в заключительной речи развил вложенные в резолюцию мысли в таких энергичных выражениях, что представитель полиции объявил предостережение. Тогда Гучков напомнил о началах манифеста 17 октября, и представитель полиции закрыл съезд, не дав оратору закончить речи.

Явно оппозиционный характер носил и съезд сельскохозяйственный. Здесь раздавалась резкая критика бюрократии и были заявлены требования уравнивания крестьян с другими сословиями, реформы избирательного права в земстве, введения всесословной волости.

Эти киевские съезды невольно переносили наблюдателя в ту атмосферу, которая предшествовала политическому кризису 1905 г.

Такие симптомы в среде умеренной части общества должны были открыть глаза носителям власти на то, что «антракт» приходит к концу и что от более радикально настроенных элементов населения можно ожидать еще более бурного возбуждения. Ради успокоения пора было приняться за смелые и серьезные реформы.

Но власть предпочитала руководствоваться афоризмом «Сначала успокоение, а затем реформы», или, иначе говоря, — «сначала выздоровление, а потом лекарство».

Вместо составления плана неотложных мероприятий, вместо вступления на путь обдуманного и решительного государственного творчества власть, по старой привычке, гипнотизировала сама себя уверенностью в том, что все недовольство просто-напросто выдуманно либеральными смутьянами, и все придет в норму.

И это зажимание рта делалось в высшей степени неловко, бестактно и не к месту, как будто с сознательной целью еще сильнее раздуть общественное раздражение.

Зачем было в 1911 г. запрещать ряду вполне лояльных обществ устройство чествования пятидесятилетия крестьянской реформы? Что тут было крамольного? Или зачем было в 1913 г. устраивать неприличный полицейский скандал на торжественном чествовании юбилея «Русских ведомостей»? Чествование было организовано грандиозно, соответственно тому исключительному значению, которое имела эта газета в общественной жизни России в течение полувека. Многочисленный комитет из выдающихся представителей русской общественности, литературы и науки заблаговременно подготовил это празднество.

Утром назначено было торжественное заседание, вечером — юбилейный обед. Участниками чествования были в громадном большинстве люди пожилые, убежденные седиными, с именами, составляющими украшение русской культуры. Конечно, «Русские ведомости» была газета оппозиционная, решительно критиковавшая правительственную систему. Но ведь за то именно газету и чествовали, что она делала свое дело с большим тактом и авторитетом, с глубоким знанием русской действительности, с выдержкой и самообладанием, чуждаясь сенсаций. Можно ли было предполагать, что праздник такой газеты примет характер буйного митинга, требующего полицейского вмешательства?

Все и сошло бы, конечно, чинно и благородно. Поручкою в том служили и те, кого чествовали, и те, кто чествовал. А вышло вот что.

Утреннее заседание в переполненной зале началось чтением адреса от почитателей газеты, за которым последовали речи М.М. Ковалевского, Милюкова, Мануилова; затем должны были по программе последовать еще несколько речей столь же авторитетных

ораторов, окруженных глубоким уважением общества. Но... поднялся полицейский пристав — развязный молодой человек с университетским значком на полицейском мундире — и заявил, что он закрывает собрание, находя произносимые речи неблагонадежными. Публика разошлась в состоянии крайнего раздражения.

Через несколько часов начался юбилейный обед в обширной зале одной из главных гостиниц. Председателем банкета был избран кн. Павел Дм. Долгоруков. Лишь только Ковалевский произнес первый застольный спич, откуда ни возьмись тот же самый пристав. Он подошел к председателю и заявил, что речи допущены быть не могут, иначе полиция принудит собравшихся разойтись и очистить залу. Читатель может себе представить, какой начался негодующий переполох. Долгоруков пошел звонить по телефону к градоначальнику Адрианову и указал ему на всю нелепость поведения пристава. Но градоначальник ответил, что он нарочно прислал пристава с университетским образованием, который может разбираться в таких делах.

Долгорукову пришлось только заявить, что на немом обеде председателя не нужно и он свои обязанности с себя слагает, уступая место метрдотелю. Так мальчишка в полицейском мундире с университетским значком разогнал почтенных седовласых людей с громкими именами, съехавшихся из разных городов на серьезный культурный праздник. Зачем все это было сделано? Для укрепления авторитета правительственной власти? Для успокоения общественного недовольства? Для истребления подпольной крамолы? Стоит только поставить эти вопросы, чтобы безрассудность линии правительственного поведения стала ясна как день. Не подлежит сомнению, что в речах на этом обеде по адресу правительства было бы сказано немало неодобрительного. Но ведь в России в то время были конституция и народное представительство...

Поспешно думающие люди, быть может, скажут: «Как можно бестактность какого-то глупого пристава ставить на счет всего правительства?» Но в том-то и дело, что это была вовсе не бестактность. Это была служебная расторопность, в которой проявилось действие определенной системы.

В подтверждение того, что это было действительно так, я скажу в заключение два слова о другом московском приставе, который пострадал за свою тактичность.

В феврале 1912 г. умер фельдмаршал Дмитрий Алексеевич Милютин, либеральный военный министр при Александре II, ушедший в отставку при воцарении Александра III. Юридическое общество (закрытое, как мы уже знаем, в 1900 г. и возобновившееся в 1910 г.) пригласило меня в публичном годичном собрании произнести речь о Милютине, и я согласился.

Вечером накануне собрания я сидел дома и обдумывал план речи. Раздался телефонный звонок. «С вами говорит, — услышал я в телефонную трубку, — полицейский пристав. Завтра вы произносите речь о Милютине и меня командируют наблюдать за собранием. Скажите мне откровенно, будет в вашей речи что-нибудь такое, за что я должен буду остановить вас? В таком случае я скажусь больным, пусть пошлют другого, мне не хотелось бы выступать в такой роли». Я мог с полной искренностью успокоить его, что никаких политических вопросов я затрагивать не собираюсь. На следующий день я произнес свою речь, она понравилась, публика много аплодировала, и я имел удовольствие заметить, что и мой пристав тоже мне похлопал. Я подумал: верно, он был благодарен за то, что я его не надул и сдержал обещание. Через несколько месяцев я встретил этого пристава на улице, он подошел ко мне и сказал: «А ведь я, профессор, из-за вас пострадал». — «Как так?» — «Да речь ваша о Милютине мне понравилась; я вам похлопал. А меня за это градоначальник перевел в худший участок: как смеешь кадету хлопать?» — «Да как же градоначальник узнал, что вы мне хлопали?» — «Да ведь и над нами наблюдатели есть, в партикулярных одеждах». — «Ну, незавидна ваша должность».

Конечно, все это мелочь. Но ведь эти мелочи показательны, и они бросают свет и на более важные элементы тогдашнего положения. Власть и общество — это «мы и они», и моста между тем и другим быть не должно; вот — исходная точка так называемой «охранительной» системы, которая на самом деле ни от чего никого

не охраняла, а наоборот, только содействовала обострению положения.

Накануне мировой войны внутреннее политическое положение становилось все напряженнее. Правые мечтали взорвать Думу и восстановить самодержавие. Конституционалисты не чувствовали никакого удовлетворения от «призрачного конституционализма», не устранявшего произвола. Революционеры стремились к перевороту. Народные массы не приобрели никакого доверия к народному представительству и не чаяли от него проку.

Никто не подозревал в то же время, что мир находится накануне величайшей из войн. Правда, Балканы кипели, как накаленный котел, из которого горячий пар валит клубами. Но как-то никому не думалось, что это только прелюдия к всеветному пожару. И объявление войны налетело как внезапный смерч.

Летом 1914 г. я с семьей жил на даче в имении близ Можайска. Однажды после обеда мы все сидели на балконе за чаепитием. С балкона была видна река, вдаль берега которой шла дорога. По дороге протрусил всадник. Мы взгляделись: это был урядник. Он подъехал к даче хозяина имения. Пробыл там не особенно долго и протрусил обратно. Через несколько минут мы уже знали, что троих сыновей нашего хозяина берут на войну. Я пошел в березовую рощицу и стал смотреть на аллею, по которой так любил гулять с книжкой в руках. И вдруг мне представилось так ясно и отчетливо, что на всех нас, русских людей, надвинулось что-то страшное, зловещее и гигантское и что это «что-то» коснется своим ужасным лезвием каждого из нас, и этой рощицы, и этой аллейки, и всего, что нас окружает.

И предчувствие сбылось сполна. Ужасное пришло. Судьба каждого из нас перевернута вверх дном, и в душе горят незалечимые раны. И этой березовой рощицы не стало. И она сметена с лица земли вихрем событий.

Стряслась война, и нагрянула революция. Но для описания того, что пришлось пережить за время войны и революции, потребовалась бы книга много больше той, которую я решаюсь предложить теперь вниманию читателя. Тяжело бередить незакрывшиеся раны.